
МАГИЯ
И ЛЮБОВЬ



МАГИЯ И ЛЮБОВЬ



Москва
Издательство «Т-Око»
1992

Сборник

Вс. С. Соловьев

ВЕЛИКИЙ РОЗЕНКРЕЙЦЕР

Роман

Е. П. КАРНОВИЧ

КАЛИОСТРО В ПЕТЕРБУРГЕ

Очерк

Редактор В. А. Гаркуша
Художник А. Е. Жданов

Совместное издание Издательско-торговой фирмы «Т-Око» и «Информрекламы» Центросоюза.

ISBN 5—86282—027—2

Иллюстрации взяты из книги «Масонство в его прошлом и настоящем», издание «Задруги» и К. Ф. Некрасова, 1914 г.

Вс. С. Соловьев

ВЕЛИКИЙ РОЗЕНКРЕЙЦЕР



Исторический авантюрный роман

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока... и, падши, поклонились Ему, и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан, смирну.»

(Евангелие от Матфея, гл. 2, 1, 2, 11)

«Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,— то я ничто.»

(Первое послание к Коринфянам Апостола Павла, гл. 13, 2)

часть первая

I

Императрица была очень огорчена мгновенной и таинственной смертью молодой графини Зонненфельд. Впечатление было тем более сильным, что эта смерть случилась так близко от нее — в здании дворца, в помещении камер-фрейлины Каменевой.

Царица чувствовала большую симпатию к покойной; узнав об ее безвременной смерти, она даже не удержалась от слез — а она редко поддавалась такой слабости. Ей представилось юное, прелестное лицо бывшей княжны Калатаровой таким, каким она видела его в первый раз — несколько лет тому назад, когда молодая девушка, почти ребенок, была ей представлена. Ей вспомнился слишком внезапный и необдуманный брак княжны с немецким дипломатом, потом скандал развода и последнее свидание с графиней Еленой. Недаром царице было как-то особенно тяжело после этого свидания: ведь уже тогда преображенное, более чем когда-либо прекрасное, исполненное страдания лицо молодой женщины ясно говорило о приближавшейся катастрофе. Ведь и тогда, если бы только царица захотела разобраться в своих впечатлениях, она должна была увидеть, что такие страдания не могут пройти, не могут кончиться ничем иным, кроме смерти.

Да, она могла бы все увидеть и понять, могла бы знать, что это свидание ее с несчастной красавицей — последнее. Только ведь человек все понимает и обо всем догадывается слишком поздно, когда уже нечем помочь, когда судьба свершилась. Да и чем бы она могла помочь? Перед судьбою

все могущество, вся власть человеческая — ничтожны...

И вот графиня Зонненфельд умерла, умерла от страданий, которых нельзя было пережить. Но в чем заключались эти страдания, это безысходное горе ее жизни — царица не знала. И ей захотелось узнать эту тайну.

Великая Екатерина обладала свойством весьма немногих людей, являющимся в большинстве случаев одним из признаков гениальности и объясняющим необычайную плодотворность деятельности царицы: она умела заключить в себе целый мир самых противоположных интересов, не имеющих ровно никакого между собою отношения. Она умела отдаваться каждому из этих интересов всецело и с необыкновенной легкостью переходила от одного к другому, в течение нескольких часов сменяя самые разнородные занятия.

Каждый день ее проходил так: один час — кипучая законодательная работа, другой час — обсуждение различных текущих государственных дел, третий — творческое вдохновение, изображение жизни в форме литературных произведений, по преимуществу комедий — этой самой сжатой и живой литературной форме. Затем, не чувствуя никакого утомления и забывая все только что покинутые ею занятия, как будто их никогда и не было, царица призывала к себе внука, великого князя Александра, и давала ему урок — вела с ним строго обдуманную беседу, которая всегда прибавляла что-нибудь к развитию будущего наследника русского престола.

Но вот и этот час прошел, и великий князь удаляется. Теперь перед государыней целая груда запечатанных пакетов. Ее корреспонденты из разных мест России, а также заграничные друзья, главным образом барон Гримм, сообщают ей о всевозможных событиях и предметах. И она не пропускает ничего, заинтересована всем, начиная от вопросов большой важности и кончая самыми мелочами. На каждое письмо готов ее ответ, принято новое решение, созревает новый план...

Затем наступает время решения текущих вопросов, и царица, свежая и свободная от всяких забот, от всяких тревог и посторонних мыслей, будто только что проснувшаяся после крепкого, освежающего сна, отдается этой злобе дня. Ее невероятная память хранит в себе бесконечную вереницу впечатлений, она никого и ничего не забывает, знает подробно все относящееся не только к окружающим ее людям, но даже и к тем, о которых она имеет сведения лишь понаслышке: что раз вошло в мозг или в чувство

этой удивительной женщины, то уж не исчезает, а живет в них, незаметно переходя из настоящего в прошедшее и навсегда затем сохраняясь в складах всеобъемлющей памяти. Внутренний мир Екатерины — это самая удивительная лаборатория, и заглядывать в эту лабораторию всегда интересно для наблюдателя жизни...

Так и теперь: под впечатлением смерти графини Зонненфельд царица на известное время всецело отдалась смутившим ее впечатлениям. Она вообще не любила думать о смерти и гнала от себя мысль о ней; эта же безвременная смерть существа юного, прекрасного, исполненного всяких талантов, рожденного, казалось, для долгой и счастливой жизни, глубоко возмутила ее. Один миг — и нет человека, и вместе с человеком рушится, уничтожается целый разнообразный мир, в нем заключавшийся...

Время!.. Она оглядывалась назад и видела, как невероятно быстро мчится это время, с какой ужасающей торопливостью уходят годы один за другим. Так недавно сама она была молода и жизнь казалась ей какою-то бесконечностью, а теперь вот уже давно ушла молодость... Кто знает, быть может, скоро придет смерть, внезапно, нежданно-негаданно, и оборвет все разнообразные, вечно трепещущие нити, связывающие царицу с окружающей ее жизнью и мощно влияющие на эту жизнь.

Екатерина чувствовала, что она не может умереть, не должна умереть, что ей необходимо жить долго — и для себя, и для других. А между тем она не могла справиться с поднимавшимися в ее душе сомнениями, не могла отогнать от себя в известные минуты призрака смерти — и мучилась этим.

Она всем говорила, что проживет долго. В одном полушутливом-полусерьезном разговоре со своим приятелем Дидро, или, как его называли при дворе, господином Дидеротом, она несколько лет тому назад, рассуждая о Петре Великом, сказала:

— О, я еще не скоро с ним увижусь, хотя мне и очень хочется с ним побеседовать. Раньше как в восемьдесят лет я не сделаю ему визита...

А между тем, говоря это, она с ужасом размышляла о том, что этот визит может произойти и гораздо раньше.

Как бы то ни было, теперь снова мучительно и почти болезненно она думала о смерти. И в то же время ей хотелось, страстно хотелось разглядеть и узнать то тайное горе, которое безжалостно свело в могилу красавицу-графиню. Конечно, ей нетрудно было догадаться, что это горе

было любовь. Да, это ясно! Екатерина из слов несчастной молодой женщины во время их последнего свидания поняла это. Но любовь к кому? Кого так безнадежно, так смертельно могла любить красавица? Кто мог нанести такой удар сердцу этой пленительной женщины? И какое отношение может иметь к ее нежданной смерти другая красавица — Зина Каменева? Ведь они не знали друг друга, между ними не было и не могло быть ничего общего. Зина совсем ребенок — что же общего? А между тем ведь не может быть никакого сомнения в связи между смертью графини и Зиной! Именно к ней явилась несчастная, у них было какое-то объяснение — об этом знает Марья Саввична Перекусихина, которая все знает,— и во время этого объяснения графиня упала мертвой.

Царице было известно, что Зина Каменева не отходила от гроба покойницы и выражала все признаки особенно тяжкого горя, как будто умерла ее самая дорогая, самая близкая подруга. Царица ездила поклониться праху усопшей и видела Зину у гроба — похудевшую, измученную.

Графиню похоронили. Зина вернулась к себе и целую неделю пролежала. Роджерсон по приказанию царицы несколько раз в день навещал ее и каждое утро докладывал Екатерине о состоянии больной.

Роджерсон не видел ровно ничего особенного в этой болезни: молодая девушка очень впечатлительна и чувствительна; нежданная смерть хоть и совсем посторонней для нее женщины, но у нее на глазах, во время разговора с нею, не могла не потрясти ее. В первые дни Зина была возбуждена, проявляла усиленную деятельность, ну а затем неизбежно произошла реакция, ослабление.

Однако юность и хорошее здоровье в соединении с лекарствами, по уверению Роджерсона, действовали быстро. Прошло несколько дней, и лейб-медик объявил императрице, что камер-фрейлина Каменева совсем здорова, совсем поправилась, что даже вредно держать ее в комнатах и она должна приступить к исполнению своих обязанностей. И вообще, смена впечатлений, развлечения и доброта государыни окончательно изгладят в ней все следы пережитого потрясения.

В тот же день Зина была призвана к царице. Внимательно взглянув на молодую девушку, Екатерина увидела, что Роджерсон прав, Зина действительно выздоровела — на ее щеки вернулась здоровая краска. Но все же окончательно, видимо, еще не успокоилась: в ней заметна какая-то особен-

ная задумчивость, какой прежде не было. Это понятно, иначе и быть не может.

И Екатерина решилась осторожно выведать интересовавшую ее тайну.

II

— Дитя мое,— сказала царица, в то время как Зина, склонясь, целовала ее руку,— я очень рада, что ты здорова и что розы по-прежнему цветут на твоих щечках.

При этом она нежно погладила Зину по щеке своей маленькой мягкой рукою.

— Но дело в том, что ты у меня в долгу, ты пропустила не одно дежурство, а посему изволь-ка подежурить и сегодня, и завтра. Мне нынче как-то не по себе; вечером у меня не будет никакого приема, и я не двинусь с места. В восемь часов я позову тебя, и ты будешь мне читать.

Зина даже вспыхнула от удовольствия. За все время своего пребывания во дворце у нее выдался один только такой счастливый вечер — месяца два тому назад: в течение трех часов она была наедине с государыней и читала ей. Екатерина несколько раз прерывала чтение и беседовала с Зиной о прочитанном. Эти три часа пролетели для смолянки как сон, и, вернувшись к себе, она даже всплакнула от радости и спросила себя: за что ей такое счастье? Великая, мудрая, обожаемая царица была так близка к ней, так задушевно говорила с нею, с такой несказанной добротою и ласковостью поучала ее, открывала перед ней сокровищницу своей мудрости! Теперь, когда, несмотря на вернувшееся здоровье, в ее душе было очень смутно, тоскливо и даже страшно, что лучше могло бы ее упокоить и дать отдых, как не близость к царице, не эти часы чтения, интимная беседа с ней? Зина чувствовала себя теперь особенно одинокой, ближе царицы у нее никого не было. Никого не любила она так, с таким детским обожанием, как царицу.

Зина весь день ждала этих заветных восьми часов. Наконец, они пробили; она у государыни, в ее рабочем кабинете, где никого нет, где все погружено в тихий полумрак, озаряемый только четырьмя восковыми свечами, поставленными на письменном столе и прикрытыми абажуром.

Царица с видом как бы некоторого утомления полулежит на своем любимом мягком и низком кресле, прислонясь к его покатой спинке. Волосы ее уже расчесаны на

ночь и спрятаны под белым чепчиком. Она запахнулась в свой серый атласный халат, мягкие складки которого обрисовывают ее полную фигуру. Маленькие ноги в теплых туфлях вытянуты и лежат на большой подушке, и тут же, возле этих ног, свернувшись, спит любимая белая собачка царицы — Лэди.

Царица указала Зине на стул возле письменного стола, ближе к свечам, и на раскрытую книгу, лежавшую на столе.

Девушка с несколько робкой, но в то же время радостной улыбкой присела на стул и подвинула к себе книгу.

— Боюсь, что ты будешь пенять на меня,— сказала царица,— чтение на сей раз вряд ли займет тебя. Это очень серьезная книга — сочинение великого Монтескье. Она написана не для таких юных голов, как твоя, но что делать! Мне непременно надо сегодня побеседовать с Монтескье, а у самой что-то глаза болят... Однако,— прибавила она,— быть может, я и не права: ты умна, ты хорошо училась, ты серьезна, а великий писатель излагает свои мысли так ясно, что, пожалуй, он и тебя заинтересует. Постарайся читать внимательно, и если чего не поймешь, остановись и спроси меня: это будет и для меня полезно — разъяснить глубокую мысль.

Зина приступила к чтению. Она старалась заинтересоваться мыслями Монтескье, но, к ужасу своему, заметила, что это ей никак не удается. Она просто отдавалась сначала приятному ощущению тишины этой комнаты, близости к обожаемой царице; потом эти приятные ощущения переходили в тревожные — ей вспоминались все последние мучительные дни, все, что пережила, все, что она узнала,— и трепет наполнял ее, она спешила уйти от своего страха снова в тишину этой комнаты и в близость любимой царицы.

Уже несколько страниц книги прочитано, но она не помнит ни одного слова из текста, будто не она это читала. А царица сейчас остановит ее, сейчас спросит. Что же она скажет? Ведь ей придется признаться, что мыслями была далеко и что ни одно, как есть ни одно слово не осталось в ее памяти.

Царица действительно ее остановила.

— Ну и что же,— сказала она,— не правда ли, ведь это все так ясно и просто сказано? Простота и ясность — признак гения. Гений умеет облечь самую глубокую, самую тонкую, почти неуловимую мысль в простую и ясную форму...

Но вдруг она остановилась и пристально взглянула на Зину.

— Ты меня не слышишь! Ты читала, но сама не знаешь, что такое прочла,— я вижу это по твоим глазам. Или я ошибаюсь?

Зина готова была расплакаться.

— Нет, ваше величество, вы не ошибаетесь,— прошептала она,— я...

Она не могла докончить фразы; в груди ее как бы поднялось что-то, сдавило ей горло и, наконец, вырвалось неудержимым, громким рыданием.

Екатерина повернулась в кресле, потом встала с него, подошла к Зине и обняла ее.

— Дитя, ты еще не совсем здорова,— сказала она,— успокойся. Это я виновата: твой свежий и цветущий вид обманул меня.

Говоря так, она уже отлично понимала, что успокоить Зину можно одним только способом — дать ей выплакаться и затем заставить высказать все, что накопилось на душе. Теперь незачем ее даже ни о чем спрашивать, надо быть только ласковой с нею — и она сама все скажет. В расчете на это Екатерина и устроила чтение, и теперь, глядя на рыдавшую Зину, она видела верность своего расчета.

Все, что девушка пережила и узнала, давило ее невыносимо. Под этой тяжестью она не могла жить, но не умела сама разобраться в себе, не умела ответить на самые важные вопросы. Был один только человек, который мог бы помочь ей в этом,— это добрый священник, молившийся тогда рядом с нею у гроба графини и сказавший ей слова, навеки запечатлевшиеся в памяти. Но этого доброго священника нет, и она не знает, где искать его, не знает, когда он придет к ней; а кроме него единственное существо, к защите которого она могла прибегнуть и которому могла открыть свою душу,— это царица.

В Зинином возрасте, да еще при хаосе мучительных ощущений, нахлынувших с такою силой, одиночество невыносимо — от такого одиночества можно сойти с ума. И вот инстинктивное чувство самосохранения заставляет Зину довериться царице и рассказать ей как на духу все. Екатерине достаточно было всего одним словом ободрить ее — и, конечно, она сказала это ободрительное слово.

— Успокойся,— произнесла она, ласково и в то же время властно глядя в глаза Зины.— Успокойся и расскажи мне все, что с тобой было за это последнее время. Открой мне, что было общего между тобой и графиней Зоннен-

фельд? Почему она очутилась у тебя и у тебя умерла? Я знаю, как тебе все это тяжело, как тебе, может быть, трудно говорить об этом, но уверяю тебя, дитя мое: если все мне расскажешь откровенно — тебе станет легче. Не смущайся ничем, главное — не скрывай ничего. Ты сама должна понимать, что никто не даст тебе лучшего совета, чем я, что только мне и можешь ты открыть свою душу, как матери,— ведь я для тебя заменяю мать.

Всей душой Зина так и кинулась навстречу словам этим. Она припала головою к руке царицы и, покрывая эту руку поцелуями и своими слезами, начала исповедь. Зина ничего не скрыла, она передала царице не только всю сцену свидания своего с обезумевшей от горя графиней Зонненфельд, но и все свои собственные ощущения: свою встречу с таинственным и ужасным человеком во время праздника в Смольном монастыре, действие на нее его непостижимого взгляда, от которого она потеряла сознание тогда, на эстраде, во время исполнения роли весталки.

Императрица внимательно и с всевозраставшим изумлением ее слушала. Она видела, что на рассказ Зины можно положиться, что перед нею совсем раскрыта душа этой чистой девушки и она может читать в ней все, до самой глубины. Тайна, интересовавшая ее, была теперь ей известна, предположение оказалось верно: графиня Зонненфельд умерла от безнадежной любви и от ревности к Зине. А между тем разъяснения все же нет.

III

Напрасно ясный, спокойный и могучий разум царицы старался уяснить себе всю эту таинственную историю, напрасно силился он разделить исповедь Зины на две части: на действительность, естественную, очевидную и на фантазию экзальтированной девичьей души. Никак не удавалось царице совершить это разделение. И к тому же она ясно видела, что воображения в Зине гораздо меньше, чем можно было это предположить,— в ней только большая чувствительность, восприимчивость к впечатлениям.

А событие все же остается непостижимым, таинственным, все же приходится произнести слова, над которыми так часто смеялась царица: колдовство, чары...

Какой вздор! Да, это вздор, а между тем без этого вздора все становится еще непонятнее, еще невозможнее, и ко всему этому непонятному и невозможному присоединяет-

ся еще одно обстоятельство: каким образом сама она, Екатерина, ничего и никого не забывавшая, все помнившая и всегда действовавшая в ясной, насквозь пронизанной светом благости, каким образом она забыла о существовании человека, играющего такую фатальную роль во всей этой истории? Каким образом в течение долгих месяцев она не вспоминала об этом новом князе, Захарьеве-Овинове, который так заинтересовал ее, которого она хотела непременно разглядеть, расспросить, изучить?..

Он появился перед нею, остановил на себе ее внимание — и вдруг исчез, как будто его никогда не было. Проходили месяцы, и она ни разу о нем не вспомнила, а между тем ведь должна была вспомнить и должна была его видеть — он все время был, очевидно, здесь, вблизи от нее. Ей стоило только позвать его — и он бы явился, но она о нем забыла, как ни разу в жизни ни о ком не забывала. А вот теперь он является героем таинственной, так опечалившей ее истории, он — причина смерти прекрасной женщины, в судьбе которой она была заинтересована; он же смутил покой этой младенческой души, которая теперь рассказывает ей свою непонятную тайну!

«Колдун! Чародей!» — мелькнуло в мыслях Екатерины, но при этих двух словах ей вспомнился другой колдун, чародей, мнимый граф Феникс, делавший, но не сделавший золота в лаборатории князя Потемкина. Ей припомнилась прелестная итальянка, чуть не смутившая покоя ее собственного сердца.

«Колдун! Чародей!» — повторяла себе Екатерина и прибавляла: — «Однако нет такого колдуна и чародея, которого нельзя было бы разоблачить, удалить, обессилить. Это даже гораздо легче сделать с колдуном, чем с самым обыкновенным человеком, ибо всякий колдун или чародей непременно боится таких вещей, каких не боится обыкновенный человек: боится правосудия, боится закона, так как знает за собою чересчур много больших и малых грешков.

Каким чародеем являлся этот мнимый граф Феникс, как одурачил он многое множество людей, вовсе даже не глупых и достойных лучшей участи, чем быть одураченными приезжим авантюристом? А между тем одно ее желание, одно ее слово — и где теперь этот человек? И где теперь эта хорошенькая итальянка?..»

Так думала царица, но перед нею вместе с этими мыслями восставал во всех малейших подробностях вспомнившийся ей образ Захарьева-Овинова — и она не могла, не хотела глядеть на него теми же глазами, какими глядела

на графа Феникса. Неужели и он такой же шарлатан и обманщик? Нет, этого быть не может.

Что-то в глубине ее мысли, в глубине сознания говорило, что теперь она имеет дело с человеком совсем иного сорта, а между тем... а между тем что же все это значит? К чему вся эта непостижимая путаница таинственностей... и за что будет страдать этот прелестный ребенок? За что этот, так невероятно забытый ею человек губит живые души? Что же теперь делать? Конечно, прежде всего надо призвать этого человека и разглядеть его. Если он погубил прекрасную графиню, если он силился зачаровать Зину, то ведь ее-то, царицу, не зачарует!

И у царицы явилось страстное желание как можно скорее увидеть Захарьева-Овинова. Появится он перед нею — и всякая таинственность исчезнет. Ведь всякая таинственность существует только издали, пока не видишь предмета. Стоит прийти в соприкосновение с ним — и таинственности конец, вступает в права действительность, и неизменные, точные, ясные законы природы начинают действовать.

Остановясь на этой мысли, императрица сразу успокоилась и решила, не откладывая, как и вообще она не откладывала своих решений, увидеть Захарьева-Овинова.

Только эта мысль созрела в голове ее, только хотела она обратиться к Зине, чтобы окончательно ее успокоить, преподать ей здравые советы и внушить уверенность, что ничего нет таинственного на свете, что все объясняется легко и просто — стоит только приложить к этому объяснению здравый рассудок, как занавес тихой комнаты шевельнулся и перед царицей в слабом полусвете обрисовалась спокойная, бледная и прекрасная фигура Захарьева-Овинова.

Слабый крик вырвался из груди Екатерины, а бедная Зина прижалась к ней, пряча свою голову в ее коленях. Миг — и царица невольным движением протерла себе глаза, изумляясь своей галлюцинации. Вот она откроет глаза — и, конечно, никого нет! А между тем она открыла их и... Захарьев-Овинов по-прежнему был перед нею.

Он сделал несколько шагов вперед, почтительно, низко поклонился и произнес своим бесстрастным голосом:

— Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда.

Он еще раз церемонно поклонился, в то же время глядя прямо и спокойно в глаза царицы.

Она хотела говорить — и не могла, хотела встать — и не в силах была шевельнуть ни одним членом.

IV

Однако так не могло продолжаться: еще несколько мгновений — и Екатерина, конечно, очнулась бы от неожиданности. Она, наверно, поборола бы в себе невольный трепет и растерянность, вызванные этим совершенно невероятным появлением. Ее сильный, холодный ум признал бы в этом появлении только очень оригинальную и редкую случайность, а затем Захарьеву-Овинову пришлось бы отдать государыне подробный и ясный отчет в своих действиях.

Он должен был бы объяснить, каким это образом, не нарушая законов природы и законов приличий, он проник сюда, во внутренние царские покои? Каким образом он знал, что найдет здесь царицу? Как его не остановили по дороге? И, наконец, что означают его слова: «Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда»?

Ведь царица очень хорошо знала, что не отдавала и не могла отдать такого приказания, что она сейчас только еще намеревалась пригласить его и, может быть, даже сюда, в эту самую комнату. Значит, в этих словах его заключалась ложь.

Он, этот мнимый чародей, этот губитель сердец и жизней, осмелился солгать ей, царице, мистифицировать ее, шутить с ней, когда она не подала ему никакого повода для подобных шуток. Иной раз она очень любила шутки, иной раз и совсем не против была мистификации, но вовсе не в таких обстоятельствах. Да, Захарьеву-Овинову пришлось бы очень серьезно ответить за свои странные поступки.

Он отлично знал и понимал это, и хотя вовсе не боялся никакой ответственности, но подобное объяснение с царицей совсем не входило в его планы. Он не желал особенно изумлять ее, а ужо тем более не желал открываться перед нею. Не желал он также терять времени и любоваться произведенным им впечатлением.

Еще несколько мгновений — и царица овладеет собою; тогда ему предстоит нелегкая борьба, на которую во всяком случае потребуется значительная затрата его жизненной силы. Такая затрата была излишней, не вызывалась крайней, неотвратимой потребностью, а потому и нравственном отношении была для него преступной.

И он не стал терять времени.

Его блестящий взгляд изменил свое выражение, сделался пронзительным, почти страшным. Екатерина не выдержала этого взгляда. Она мгновенно как бы потеряла созна-

ние, оставаясь неподвижной, с застывшим лицом, с широко раскрытыми глазами, зрачки которых внезапно расширились.

Но ведь царица была не одна. Спрятавшись головою в ее колени, трепетала Зина. Захарьев-Овинов склонился, прикоснулся рукою к голове девушки, и ее трепет исчез; при первых звуках его голоса, говорившего ей: «Встань!», она послушно приподняла голову с колен Екатерины, потом поднялась и, сделав несколько шагов, опустилась в кресло.

Захарьев-Овинов глядел на нее, совсем забыв об императрице. Лицо его помертвело, он даже схватился рукою за сердце — так оно усиленно и непривычно забилось, но тотчас же подавил в себе волнение. Он снова спокойно подошел к Зине и взял ее за руку.

— Можешь ли ты отвечать мне? — спросил он и услышал тихий ответ:

— Могу.

— Знаешь ли ты, что судьба приводит нас друг к другу и что мы не должны бороться против этой судьбы?

— Знаю.

Он остановился на мгновение.

«И она это знает!» — пронеслось в его мыслях.

— Ты боишься меня,— сказал он,— зачем же ты меня боишься? Неужели мы для того встретились и для того родилась невидимая, но чувствуемая и мной и тобою связь между нами, чтобы я тебя погубил? Разве я могу погубить тебя?

И шепот Зины ему ответил:

— Можешь!

— Да, конечно, могу! — вскрикнул он,— но я не сделаю этого. Нет, ты не знаешь, ты не достаточно ясно читаешь в той туманной дали, которая отверзается теперь перед тобою; я читаю в ней яснее тебя, я давно привык читать в ней, и я говорю тебе: не на погибель сводит нас судьба, а на спасение.

Он сам не знал, что скажет это, а между тем сказал, сказал помимо себя, по вдохновению, и эти слова вырвались из самой глубины его души, из той глубины, в которую, может быть, он и не заглядывал.

— Но твой страх, твой ужас предо мною для тебя слишком мучительны,— продолжал он, все крепче и крепче сжимая руку Зины,— а ты не должна меня бояться. Ты должна доверять мне, ибо я — друг твой, ибо ближе меня никого у тебя не было, нет и не будет. Я не искал тебя, а нашел — и мы с тобой связаны таким узлом, который ни

ты, ни я развязать не можем, а разорвать его было бы гибельно. Я не звал тебя, а вот уже немало времени ты вблизи меня, и я не раз тебя чувствовал. Ты врывалась в жизнь мою, а я отстранял тебя, не глядел на тебя, я думал, что мне тебя не надо. Я забывал тебя, но не мог забыть с первой нашей встречи, и ты снова и снова мелькала передо мною. Я очень страдаю, я очень несчастлив, и ты — первое существо, которому я признаюсь в этом... Да, я признаюсь в моем тайном, для меня самого непонятном страдании твоей душе, с которой говорю теперь, и душа твоя, освобождаясь от материи, должна помнить о моем страдании. В это последнее время я узнал, что и ты страдаешь, и мне тяжко стало от твоего страдания, я почувствовал, что между нами завязан крепкий узел. Ты не должна страдать, ибо, боюсь, не вынесешь таких мучений. И вот я пришел, чтобы освободить тебя от страданий. За этим я здесь, за этим, не теряя ни одной минуты, забыв все и всех, я спешил к тебе и нашел тебя. Перестань же страдать! Будь спокойна! Моя душа приказывает тебе это — слышишь ли ты меня?

— Слышу.

Тогда Захарьев-Овинов отошел от нее и приблизился к царице. Ее он тоже взял за руку, говоря при этом:

— Царица, поручаю тебе эту юную душу, не отвращай от нее своего сердца. Слышишь ли меня? Исполнишь ли это?

— Исполню,— прошептала Екатерина.

— А теперь я разбужу тебя, но ты забудешь все, забудешь свое изумление при моем появлении, мое присутствие здесь не покажется тебе странным. Я пришел не для тебя, а для нее; но и к тебе, к твоей силе, к твоему великому разуму влечет меня. Мне ничего не надо от твоего могущества — ты царствуешь в одной сфере, а я царствую в другой; твою же сферу, со всем твоим могуществом, я вижу с моей высоты, и она кажется мне ничтожной. Но ты царица, истинная царица, и, когда придет время, ты поднимешься в иные сферы — и в них скажется твоя царственная мощь. Только не скоро еще настанет для тебя это время: ни приблизить его, ни отдалить я не могу — я не хочу вмешиваться в жизнь твою! Мы можем только обмениваться мыслями, но мы чужды друг другу, ибо между нами пока — разверзнутая пропасть.

Он замолчал, еще раз остановил взгляд свой на Зине, потом приказал:

— Проснитесь!

Легкое движение его руки — и царица, а за нею и Зина

вышли из своего оцепенения. Странное выражение их лиц исчезло, обе они очнулись.

Захарьев-Овинов сидел перед Екатериной, а она глядела на него с благосклонной улыбкой, и ничто в ее лице не показывало ни изумления, ни неудовольствия: перед нею был человек, которого она пожелала видеть, с которым намерена была иметь небезынтересную для себя беседу.

V

Прошло всякое изумление, а вместе с ним забылись за несколько минут перед тем интересовавшие и смущавшие ее вопросы. Как в течение долгих месяцев не помышляла царица о князе Захарьеве-Овинове, так теперь вдруг забыла о судьбе несчастной Елены Зонненфельд и о влиянии на эту судьбу сидевшего перед нею человека. Больше того: она забыла, что этот человек покушается на спокойствие Зины Каменевой. Она помнила только то, что он «разрешал» ей помнить.

В какое негодование пришла бы она, если б могла понять это, каким бы могучим порывом воли постаралась сбросить с себя чужое, непрошенное влияние! И, может быть, ей бы и удалось вернуть себе всю свою внутреннюю свободу, а Захарьеву-Овинову пришлось бы признать себя побежденным и убедиться, что существует не одна его сила и что с ним можно бороться. Но ведь его истинная сила и заключалась в том, что он не давал возможности одумываться, захватывая человека врасплох и все время держа его как бы в тумане, из-за которого было видно лишь то, что он «разрешал» видеть.

Таким образом, начавшись самым необычным образом, эта беседа свелась на самую обыкновенную. Царица расспрашивала Захарьева-Овинова о настроении умов в Западной Европе и с глубоким интересом следила за его ответами и разъяснениями. Скоро она убедилась, что перед нею человек, действительно много знающий, много думавший. Отсутствие в нем какой-либо увлеченности, критический анализ, приправленный несколько насмешливым скептицизмом,— все это ей нравилось.

— Теперь вы здесь огляделись,— внезапно прервала она его,— дела ваши устроены, от Европы вы взяли все, что она могла вам дать,— и всем этим вы должны послужить России. Это ваша прямая обязанность перед родиной.

— Каждый человек непременно кому-нибудь и чему-нибудь служит...— начал было Захарьев-Овинов.

Но она его перебила.

— Я говорю не о такой службе, и вы хорошо меня понимаете. Мне нужны просвещенные, разумные люди для государственной работы...

— У вас их достаточно, ваше величество, и вы обладаете драгоценнейшим даром государей — находить нужных людей в нужные минуты. Только на сей раз, останавливая на мне ваш выбор, вы обращаетесь к недостойному: я совсем неспособен к практической деятельности, мои познания и занятия такого рода, что я могу только принести вред, а не пользу.

В лице Екатерины мелькнуло раздражение.

— Вы отказываетесь?.. Что же руководит вашим отказом? Не просто ли лень кабинетного ученого?

— Нет, не лень,— ответил он.— Всякое дело только тогда может развиваться и приносить благотворные результаты, когда человек отдает ему все свои силы, проникнут сознанием пользы своей деятельности, заинтересован ею. А я — осмеливаюсь прямо это высказать вашему величеству, ибо иначе говорить с вами не могу и не смею,— я неспособен заинтересоваться ни одним из дел, какие вы мне поручите...

— Почему же?

— Потому что мое мировоззрение, мои занятия и приобретенные познания увлекли меня слишком далеко от практических и государственных интересов.

— И эти интересы кажутся вам недостойными того, чтобы обратить на них внимание,— с добродушной насмешливостью перебила Екатерина.

— Далеко не так, ваше величество, и я не в такой мере заслуживаю насмешку. Я признаю большое значение за предметами даже несоизмеримо более мелкими, чем государственная деятельность. Мир — большая, стройная машина, и каждый винт и винтик в ней весьма важен, ибо без него вся машина может прийти в негодность. Машина эта правильно действует лишь в том случае, когда в ней все до мельчайших винтиков на своем месте. Зная это, я и не могу становиться не на свое место.

— Если вам угодно ограничиться общими фразами,— заметила царица,— то, конечно, мы ни до чего не договоримся. Я сама очень люблю отвлеченные рассуждения, сама не прочь пофилософствовать, только наполнить всю

жизнь одними мыслями, без дела — это и холодно, и скучно...

Она пристально на него посмотрела, так пристально, что ему на мгновение стало даже неловко.

— И я вам скажу,— продолжала она,— мне жаль вас: со всей вашей ученостью, со всем вашим пренебрежением к обычным людским интересам вам иногда, и даже очень часто, бывает невыносимо скучно, невыносимо холодно.

— Невыносимо скучно, невыносимо холодно?..— както неопределенно, полувопросительно повторил он ее слова.

— А мне вот и тяжко, может быть, порою и тревожно, и жутко, но ни скучно, ни холодно никогда не бывает. Вы ушли от живой жизни и думаете, что стали выше ее, но это неправда! Слышите ли, это заблуждение! Жизнь и то, что может она дать человеку, сильнее всего... да, сильнее всего! Если вы считаете себя выше ее радостей, то это единственно оттого, что вы не знаете этих радостей, не испытали их. Вы находите, что быть философом и ни в чем не чувствовать потребности — выше, чем быть владыкой. Но это вам кажется только оттого, что вы никогда не были владыкой и никогда им не будете...

Екатерина начинала говорить с увлечением и не заметила, как при последних словах ее лицо Захарьева-Овинова стало вдруг мрачным.

«Она вызывает меня,— подумал он,— хочет доказать мне мое ничтожество. Я играю в ее глазах очень жалкую роль... Такая роль меня не смущает... но зачем же вдруг показалось мне что-то особенное в словах ее?.. Неужели какая-нибудь земная власть, какое-нибудь земное величие может иметь для меня хоть что-либо притягательное и хоть на миг избавить мою душу от невыносимой тоски и скуки? Какое противоречие!»

И уже не слыша того, что говорила теперь Екатерина, он опустил голову, и в его застывшем лице, в его неподвижной позе сказывалось глубокое страдание. Зина, все время сидевшая молча, совсем притихнув, и почти не спускавшая с него глаз, сразу же заметила происшедшую в нем перемену, прочла в его глазах страдание. Чувство жалости и тревоги охватило ее.

— Государыня! — трепетно и страстно вскричала она,— убедите его, что он неправ во всем, во всем... Посмотрите, как он страдает, как он несчастен!..

При звуках этого голоса Захарьев-Овинов очнулся от своих мыслей. Не мог он допустить такого оборота разговора. Он явился сюда, воспользовавшись своими знаниями

и умением проникать всюду, оставаясь совсем незаметным для людей, которые не должны были его видеть, только с целью освободить Зину от ее страданий. И остался здесь, потому что устал, потому что давно, давно ему хотелось отдохнуть, бессознательно почувствовав себя отдыхающим в одной атмосфере с Зиной, в ощущении ее близости. Только поэтому он и теперь еще не хотел уйти.

Он взглянул на Зину, и она мгновенно замолкла, позабыв свою тревогу. Взглянул на царицу — и она не обратила внимания на слова Зины. Разговор продолжался и с личной почвы перешел в сферу общих интересов.

Раздражение Екатерины прошло, теперь она снова внимательно слушала Захарьева-Овинова, и он снова вырастал в глазах ее. Он говорил о том, что в Западной Европе готовятся такие общественные бури и грозы, каких не помнит человечество.

— Вы, пожалуй, скажете, что во многом виноваты мои друзья философы с Вольтером во главе? — заметила Екатерина.— Впрочем, я не буду очень стоять за них... Я сама в них разочаровалась.

— Да, они немало работают в деле разрушения всего строя европейской жизни,— сказал Захарьев-Овинов.— Но они все же не что иное, как орудие судьбы, слагающейся из длинного ряда причин и следствий.

Скоро Захарьев-Овинов совсем увлек внимание царицы. Он кончил тем, что стал говорить как пророк и рисовал ужасающую картину бедствий, грозящих Западной Европе. Екатерина, вообще недоверчиво относившаяся ко всяким пророчествам, на этот раз невольно верила его словам.

— Надеюсь, однако, что все эти бедствия не коснутся России? — спросила она, даже с некоторой робостью ожидая ответа.

— Нет, не коснутся, ваше величество! — решительно сказал Захарьев-Овинов.— Вы слишком ясно видите, и велика ваша сила. Вы не способны на непоправимые ошибки и всегда вовремя умеете остановиться.

Екатерина благодарно взглянула на своего собеседника. Почему-то сдержанная похвала была ей особенно приятна.

Но время шло. Царица посмотрела на часы и протянула Захарьеву-Овинову руку. Он ушел, безмолвно простясь с Зиной, которая по приказанию царицы проводила его за несколько комнат. Теперь уж ничего таинственного не было в его присутствии в этих апартаментах — не он первый, не он последний выходил так от царицы.

VI

«Вы находите, что быть философом — выше, чем быть владыкой, только потому, что никогда не были владыкой и никогда им не будете!» Эти слова Екатерины запечатлелись в памяти Захарьева-Овинова. Они преследовали его и теперь, в тишине рабочего кабинета. Тоска, не покидавшая его со времени смерти графини Зонненфельд, с каждым днем становилась все невыносимее, и к тоске этой все яснее и настойчивее примешивалось чувство недовольства собою, сомнения в себе.

Это было совсем новое чувство для великого розенкрейцера, до сих пор никогда им не испытываемое. Он всю жизнь только шел вперед, упорно поднимался по лестнице познаний и всегда хранил в себе, хоть и бессознательно, глубокую уверенность в том, что идет по истинному пути, делает именно то, что ему следует делать. Быстрый и необычайный успех шел за ним по пятам, возносил его все выше; и он, сам того не замечая, начинал считать себя центром Вселенной, могучим властелином природы, ее победителем и все, что видел вокруг себя, почитал своим законным владением.

Но вот, выйдя из своего уединения, он столкнулся с людскою толпой, которая представлялась ему толпой пигмеев,— и сразу эта толпа дохнула на него горем и страстью, тоской и смертью. И он услышал, что горе и страсть, тоска и смерть исходят от него; почувствовал, несмотря на все доводы рассудка, почувствовал всем своим существом, что это так. Разве это — его задача?

Он страшно одинок, ему холодно, он задыхается... Ему говорят, что он несчастлив... И брат Николай, и Калиостро, и Зина, и царица — все сразу видят его страдание, его несчастье... Да разве он даром получил власть над природой, разве он не великий носитель знака Креста и Розы, разве он может быть недостойным своего имени? Происходит нечто непонятное и ужасное... И великий старец молчит... и насмешливые слова царицы все повторяются в памяти. Так неужели действительно его победа над природой не полна, неужели в нем остались задатки тления и его может еще, когда он отрешился от всего земного, увлечь снова этот жалкий мир преходящих форм? Но ведь царица не знала, кому она говорила о невозможности стать владыкой. Ведь он не владыка только оттого, что никакое земное владычество не может удовлетворить и хоть на мгновение увлечь владыку высшей области, истинного владыку в царстве духа...

Зачем же все повторяются и повторяются в памяти слова ее? Быть может, в них указание? Да, указание... Необходимо проверить свои силы...

Захарьев-Овинов остановился на этом решении.

Когда-то великий старец, отец розенкрейцеров, говорил ему, тогда еще готовившемуся к высшим посвящениям: «Вся жизнь, во всех своих проявлениях и формах, создана Божественною Волей. Человек как существо, созданное по образу и подобию своего Творца, заключает в себе великие задатки творческой силы, и в том случае, если его воля не противоречит Божественной Воле и гармонирует с нею, он может развить ее до громадных размеров. В таких условиях человек может создавать формы жизни. Истинный адепт обладает такою волей, которая способна создания воображения наделить объективной, действительной жизнью — насколько действительна жизнь всяких видимых форм в области материи...»

Тогда эти слова старца показались розенкрейцеру необычайными. Но с тех пор он уже убедился, что в них заключается истина. И вот теперь, для того чтобы испытать себя и проверить, он решился воспользоваться своею силою и призвать к жизни целый мир, полный земных обольщений, действительный мир, которого он будет единственным владыкой...

Порывистым движением отпер он один из ящиков своего бюро и вынул из него маленькую шкатулку. Под давлением его пальца щелкнула невидимая пружина, крышка шкатулки быстро отскочила. В глубине оказался небольшой граненый флакон. Великий розенкрейцер осторожно его откупорил и влил себе в рот несколько капель темной жидкости. Потом снова закупорил флакон и поместил его в шкатулку. Опять щелкнула пружина — шкатулка захлопнулась. Он поставил ее в ящик, запер бюро. По всей комнате от откупоренной жидкости разлилось сильное и пряное благоухание, и в то же время в самом Захарьеве-Овинове стали происходить быстрые изменения...

Теперь глаза его метали искры, румянец залил бледные щеки, он весь будто вырос, будто новая, могучая сила наполнила его. Еще миг — и он побледнел, пошатнулся и упал в кресло.

Если бы кто-нибудь из домашних теперь его увидел, то по всем признакам почел бы за мертвого. Но был уже поздний час ночи — двери стояли на запоре, никто не мог войти к нему...

Он очнулся как бы от легкого забытья, открыл глаза — и улыбка скользнула по лицу его. Вокруг все изменилось: он находился не в уединенной комнате петербургского дома, а на обширной открытой веранде, украшенной дивными мраморными изваяниями и увешанной гирляндами невиданно прекрасных цветов, источающих неведомо сладостное благоухание. Перед ним из-за громадной арки открывалась волшебная панорама сада, залитого теплым солнечным светом; вдали с одной стороны рисовались голубые очертания дальних гор, с другой — синело и золотилось море, сливавшееся с горизонтом.

Он приподнялся с шелковых, расшитых причудливыми золотыми узорами подушек, взглянул на себя и увидел, что и сам преобразился: вместо его обычного платья на нем была мягкая, шелковистая и легкая как пух, одежда, сотканная из невиданной ткани, красиво и широко драпировавшая фигуру, на ногах — легкие золотые сандалии. Он сделал несколько шагов, чувствуя небывалую бодрость в теле, прилив жизни, энергии, веселья.

Это был не сон. Он отлично сознавал, что за минуту перед тем упал в свое кресло и закрыл глаза именно затем, чтобы т а к проснуться. Да, но зачем помнить то, что он оставил за собою? Эти воспоминания будут мешать настоящему. Он захотел забыть — и забыл все.

Он остановился посреди веранды и три раза медленно хлопнул в ладоши. Через мгновение перед ним стоял человек мужественного и привлекательного вида, одетый в такую же широкую одежду, как и он. Человек этот склонился перед ним с приятной и веселой улыбкой и проговорил:

— Мой повелитель, я счастлив, что вижу тебя здоровым и бодрым; надеюсь, нездоровье твое прошло?

— Друг мой, Сатор,— произнес великий розенкрейцер,— я действительно чувствую избыток сил и большую легкость во всех членах. Сон подкрепил меня.

Говоря это, он уже окончательно отрешился от той действительности, которая окружала его за несколько минут перед этим и представлялась единственно существующей. Теперь же он всецело был в иной действительности и знал только ее. Человек, названный им Сатором, оказывался как бы давно ему известным — он будто провел с ним долгие годы, любил его и считал самым близким и преданным своим другом.

— Сегодня светлый праздничный день,— между тем говорил Сатор,— а потому надо отложить все работы и заботы. Весь твой счастливый народ предается сегодня

веселью, все для пиршества готово в твоих чертогах. Мой повелитель, позволь проводить тебя в термы. Целебная ванна еще более освежит тебя, и ты предстанешь перед двором своим во всем присущем тебе царственном блеске и величии.

И вот великий розенкрейцер в роскошных термах. Толпа молчаливых, расторопных служителей его окружает. Он в мгновение раздет и погружается в теплую благоуханную влагу, которая бурлит и пенится вокруг его тела, с каждой новой секундой усиливая в нем самые сладостные, неизъяснимые ощущения. Но пора выйти из этой чудной ванны... Десяток проворных рук растирает его бархатистыми тканями, возбуждая во всех членах живительную теплоту и бодрость, потом облекает в новые одежды, и служители удаляются с глубокими поклонами.

Он один — и на мгновение остается недвижимым, наслаждаясь доселе неизведанной свежестью и бодростью духа и тела. Жизнь бьет в нем ключом, стремление к радостям и веселью его охватывает. Едва касаясь мозаичного пола подошвами золотых сандалий, он стремительно проходит через анфиладу позолоченных солнцем чертогов и оказывается перед громадной террасой, наполненной бесчисленной толпой народа.

При его появлении вся эта толпа как бы замирает, но миг — и неудержимые восторженные крики приветствуют владыку. Неведомо откуда раздаются звуки сладостной музыки, гармонично выражающей его душевное настроение. Он величественно и благосклонно кланяется на все стороны, не различая, не видя отдельных лиц; все эти лица сливаются для него в одно громадное существо, которым он владеет и которое боготворит его.

Сатор подводит к нему некоторых избранных, и он небрежно прислушивается к словам робкого восторженного почтения.

Звуки музыки все сладостнее, и теперь к ним примешивается стройное пение. Благоуханное тепло разлито в воздухе; вокруг жужжание толпы, впереди, за беломраморной колоннадой, из-за тропической растительности сада мелькают горы, синеет море.

Но теперь великого розенкрейцера манит новое наслаждение: он замечает сверкающие золотом и хрусталем столы, полные удивительных яств и напитков. Он подает рукою знак — и вот он за столом, и все, что только воображение человеческое могло придумать для удовлетворения вкуса, предложено ему расторопными слугами. Однако аппетит

его удовлетворен, кубок живительной влаги огнем пробежал по жилам, и он бросает взор по сторонам.

Рядом с ним Сатор, но кто же с другой его стороны, чье присутствие он вдруг почувствовал всем существом своим? Рядом с ним женщина — воплощение юности и грации, и он видит, что вся красота этих чертогов, этой лучезарной природы — ничто в сравнении с ее красотою. И ее красота не прячется, не скрывается за ревнивые ткани нарядов — наряд прост и не скрывает ее прелестей.

Неудержимое влечение к этому прекрасному созданию, кипучая страсть наполняют великого розенкрейцера. Он сознает, что готов сейчас отдать все, весь мир за нее одну и что с нею самая мрачная темница станет раем, а без нее даже и блеск солнца померкнет. И он жадно отдается своим ощущениям. Где-то в глубине его сознания бледно мелькает другой образ, напоминающий ему, что это страсть неудовлетворенная, побеждаемая, подавленная. Теперь же она торжествует.

Он не отрываясь глядел на свою соседку. Ее глаза полуопущены, но из-под длинных ресниц он чувствует мерцание ее взгляда. Вот она обернулась к нему и мелодичным голосом произнесла:

— Мой повелитель, за что ты сердит на меня, так сердит, что до сих пор не сказал мне ни слова!

— Я любуюсь, Сильвия,— ответил он,— мой взгляд должен и без слов сказать тебе очень многое.

Она улыбнулась. О, эта улыбка! Он почувствовал ее прикосновение, легкое, мгновенное пожатие руки — и едва удержался, чтобы не обнять, чтобы не покрыть ее всю ненасытными поцелуями, забывая, что они не одни, что взгляды тысячной толпы устремлены на них...

Потом, после пира, когда солнце зашло за горы, когда на потемневшем небе высыпали звезды и благоуханная прохлада разлилась повсюду, в таинственных, волшебных аллеях был праздник. Великий розенкрейцер не покидал Сильвию, а она шептала ему речи страсти, безумные клятвы, наивные признания. И он был счастлив. А потом наступила ночь, еще более таинственная, еще более волшебная...

VII

Время проходило, и прошло его немало. Да, немало, ибо истинное исчисление времени в человеческой жизни — не минутами, часами и днями, а получаемыми впечатления-

ми. Недаром говорится о человеке, сразу пережившем внутреннюю грозу и бурю, огромное горе или счастье, что он в день один пережил многие годы. В этом выражении нет ничего фантастического и преувеличенного. Взгляните на подобного человека повнимательнее, и вы увидите в нем такую внешнюю и внутреннюю перемену, которая может быть результатом только очень долгого времени.

Так и великий розенкрейцер, находясь вне времени, исчисляемого часовой стрелкой, прожил много... Сначала он был как в чаду, жадно воспринимая неведомые доселе впечатления, опьяняясь ими и даже не имея возможности хоть на мгновение заглянуть в глубь себя и сказать себе: «Я счастлив!» Но уже эта самая невозможность самоуглубления, отсутствие внутренних вопросов и стремлений показывали, что он весь — в настоящем и это настоящее его удовлетворяет. А такое состояние и есть естественное земное счастье.

Однако оно было непродолжительно. Оно стало исчезать незаметно, но быстро. Началось с того, что притупилось чувство удивления перед всеми этими неслыханными красотами природы и искусства, перед сказочным блеском и роскошью, перед поклонением толпы и сознанием своего могущества, появилась привычка ко всему этому. Еще шаг — и вследствие привычки созрело равнодушие: изумительный праздник красоты, блеска и могущества превратился в будни, в самые монотонные будни.

Великий розенкрейцер уже не замечал теперь сказочного великолепия своих чертогов и даже позабыл свои первоначальные впечатления. Он подолгу работал с Сатором и другими своими приближенными, но мало-помалу, сам того не замечая, отказывался от собственной инициативы в этой работе. Дела, касающиеся блага бесчисленного народа, которым управлял он, находили лишь слабый отголосок в его сердце. Он доволен был, слыша уверения Сатора, что люди благоденствуют, что все благополучно, и удалял от себя тех, кого Сатор находил недостойными высокого положения и доверия властелина. Он пребывал в твердой уверенности, что Сатор — надежный и верный друг, человек большой мудрости и опытный в делах управления, неспособный ошибаться ни в решениях дел, ни в людях. Поэтому ему даже в голову не приходило искать новых людей и подвергнуть действия и решения Сатора критике и проверке.

Когда занятия утомляли и в то же время не удовлетворяли — так как эта деятельность не была его призванием,—

он искал телесного отдыха и наслаждений. Он спешил в термы и погружался в клокочущую влагу целебного источника. Эта ванна хоть и освежала его, но ее действие было почти неощутимо — он уже не мог вызвать в себе прежних, необычайно сладостных впечатлений...

Долее всего прожила его страсть к Сильвии. Но вот даже и чувство его к красавице притупилось. То, что давало ему блаженство, тоже обратилось в привычку и уже не удовлетворяло его жажды новых, неизведанных впечатлений.

Он познал, что такое неудовлетворенность, скука. И в то же время в нем начал пробуждаться иной человек, или, вернее, к нему возвращались все прежние свойства, знания и силы. Туман спадал с его глаз. Он снова ощутил за собою и перед собою В е ч н о с т ь. Его мудрость наконец вернулась и показала ему истину.

И он увидел, что окружен обманом и фальшью, увидел, что его друг, всесильный Сатор, вовсе не мудрец, а опытный царедворец, бессовестно пользующийся своим положением, отстраняющий всеми способами, даже и грубой клеветою, всякого свежего и самостоятельного человека и поэтому творящий ряд несправедливостей и ошибок. И все эти несправедливости, и все эти ошибки падают на властителя.

Вслед за разочарованием в Саторе и других приближенных его ждало разочарование в красавице Сильвии...

Была дивная душистая ночь, и аллеи волшебного сада озарялись полной луною. Эта ночь манила к счастью, к поэтическим мечтам, к возвышенным и плодотворным мыслям. Но мрачно и тоскливо было на душе великого розенкрейцера. Он покинул свое ложе и, будто бледный призрак, прошел ряд безмолвных чертогов. Его тень скользила по широким мраморным ступеням террасы. И вот в саду, среди благоуханной тишины, под густыми ветвями могучих померанцев он сидит неподвижно, склонив голову и будто прислушиваясь к голосу души, который тоскливо и страстно ему плачется: «Не держи меня в неволе, выпусти из темницы, дай расправить ослабевшие крылья!»

Внезапно другой тихий голос достигает его слуха. Он вздрогнул, затаил дыхание, прислушивается...

— К чему твои сомнения,— шепчет знакомый нежный голос, близко шепчет, в душистой беседке, со всех сторон закрытой невиданными причудливыми цветами.— К чему твои сомнения — они только портят и сокращают эти быстротечные минуты счастья!

— Но я не могу избавиться от этих сомнений,— отве-

чает другой, незнакомый, голос,— я жадно, с мучением слежу за тобою, за каждым твоим шагом, движением, взглядом... И когда я вижу, что ты улыбаешься властелину и нежно на него смотришь, мое сердце разрывается, я едва в силах удерживать крик отчаяния и ненависти к этому человеку... Страшное сомнение закрадывается мне в душу и шепчет: она его любит!..

— Если бы я любила его, разве ты мог бы ко мне приблизиться, разве ты был бы со мною теперь в этой беседке? Если я здесь — значит, люблю тебя...

— Но ведь ты любила его?

— Никогда я не любила его... Отказываться от его любви было бы безумием, да и невозможно это: он властелин, одно его слово — и о сопротивлении нечего думать... Или исполнение его воли, или погибель. Сатор сказал мне это, а Сатор беспощаден...

— Да, но взгляни хорошенько в свое сердце... Ведь он — властелин, в нем власть и сила, несокрушимое могущество, и все это — его обаяние. Женское сердце склоняется перед силой и боготворит ее.

— Может быть, может быть, и я полюбила бы его за могущество и преклонилась бы перед ним, только для этого надо было одно — чтобы он не полюбил меня. Да, тогда бы, если бы он не замечал меня, а, заметив, остался бы ко мне равнодушен, может быть, я и увлеклась бы им, может быть, и добивалась бы его любви и в этой борьбе сама опалила бы свое сердце. Но он полюбил меня, и я сразу увидела, как он трепещет и млеет от моего взгляда, от моего прикосновения... Где же его сила? Где же его могущество? Он не властелин для меня, а раб мой... А я раба любить не могу... Я презираю его, он мне жалок, смешон... Я должна выносить любовь его... Но и в его объятиях я все же всегда с тобою, мой милый, мой ненаглядный, и от него я спешу к тебе, чтобы ты скорее согрел меня, чтобы стер своими сладкими поцелуями его ненавистные поцелуи...

Властелин не хотел больше слушать. На мгновение больно забилось его сердце, он растерялся от неожиданности и грубости этого обмана, но сейчас же и понял, что обман этот возбуждает в нем не горе, не обиду, а только глубокое отвращение. Да разве сам он любил ее? Разве сам он не начал отрезвляться от своей животной страсти, от грубого поклонения материальной красоте? Любовь! Разве это любовь? Он не знает, что такое любовь, не знает, где искать и где найти ее... Стыд поднялся в нем, и пусто и тоскливо стало в его сердце.

Медленно приблизившись к беседке, он уже хотел распахнуть благоухающие ветви и сказать: «Прочь, скорее прочь с глаз моих, прочь из моего волшебного сада!» Но не коснулся душистых ветвей, не произнес ни слова и неслышно удалился. Снова тень его мелькнула на широких мраморных ступенях террасы.

Он оглядел этот сад, утопавший в лунном блеске, эти далекие бледные горы, море, колоннады и портики своих чертогов и перенес взгляд выше, к темному небу, усеянному мириадами звезд, трепетавших в загадочном мерцании. И беспредельность охватила его.

«Зачем их гнать отсюда,— думал он,— они у себя, они — такая же часть этой земли, как цветы и деревья, как вода и камни... Они у себя, а я — пришелец в этом мире временных форм, на мгновение остановившихся призраков. Я искал здесь то, чего не мог найти,— и должен уйти отсюда!»

Все выше и выше поднимался взгляд его. Душа напрягала последние усилия...

Он открыл глаза, поднялся с кресла, и глубокий вздох, вздох освобождения вырвался из груди его. Свечи догорали на столе, бледное зимнее утро заглядывало в окна...

VIII

Рано утром во двор дома Захарьева-Овинова въехало несколько нагруженных подвод. В этом обстоятельстве не было ровно ничего удивительного, так как время от времени именно такие подводы приходили то из одной, то из другой княжеской вотчины и привозили всевозможные сельские продукты, как для домашнего потребления, так и на продажу. Но на этот раз оказалось нечто не совсем обыкновенное: на одной из подвод между огромными кулями, прикрытая со всех сторон ими, оказалась женщина.

Мужики-возчики, остановясь во дворе на своем обычном месте, окружили эту подводу, стащили с нее куль и таким образом дали женщине возможность слезть.

На первый взгляд это была крестьянка, но, очевидно, из очень зажиточных. Она была закутана в длинный суконный шушун, яркий персидский платок обвязывал ее голову так, что из всего лица были видны лишь глаза. Во всех ее движениях совсем не оказалось робости, присущей крестьянкам, приезжавшим из деревенской глуши в петербургский княжеский дом. Она спустила с лица платок, освобо-

дила рот и довольно повелительно крикнула одному из мужиков:

— Пахомка! Ступай-ка ты да оповести кого след о том, что я приехала. Куда идти — не знаю, а не на дворе же мне стоять, и так за ночь вся как есть перезябла. Коли поп тут, так ты его тащи с собою.

— Сейчас, матушка, сейчас! — отозвался весьма охотно и с некоторым подобострастием Пахомка.— Вестимо, чего тебе среди двора оставаться, мигом батюшку отца Николая доставлю.

Пахомка, передернув плечами, мелкой рысцою побежал в своих огромных лаптях к одной из домовых пристроек.

Теперь можно было поближе разглядеть приехавшую женщину. Большая, плотная, еще молодая, лет тридцати с небольшим, она производила очень выгодное впечатление. У нее были бойкие черные глаза, крупный, неопределенной формы, но вовсе недурной русский нос и сочные, полные губы, из-за которых при каждом ее слове так и сверкали белые крепкие зубы. Очевидно, это лицо в хорошие минуты могло быть и очень веселым, и очень приятным, но теперь матушка, видимо, находилась в раздражении, что, конечно, объяснялось долгим путем и значительной усталостью.

Мужики возились вокруг подвод. Но вот из домового строения показалось несколько дворовых, просторный двор княжеского дома оживился.

Через несколько минут в доме уже знали, кто такая приезжая. К ней с любопытством подходили и почтительно кланялись.

— А батюшки-то дома нету! — вдруг сказал кто-то.

— Как — нету? — воскликнула приехавшая.— Куда же это он в такую рань?

Несколько человек усмехнулись.

— Что за рань! Для батюшки отца Николая рани не бывает: что день, что ночь — для него едино. Коли не у службы Божией, так по больным ходит. Больных-то ныне с самого лета ох как много по Питеру. Ну вот его и зовут.

— Он-то тут при чем? — недоумевала женщина.— Что ж это, в Питере своих попов нет, что ли?

Тот из дворовых, к которому она обратилась с этими словами, почесал у себя в затылке и недоуменно поглядел на нее.

— Своих-то попов, питерских, немало, и у каждого из них свои дела есть, на всех треб хватит. А батюшка-то отец Николай, разве он...

— Что?.. Разве он — что?

— Он не для треб, а для целения души и тела. Сколько народу за него теперича молится! Не человек он — ангел! Угодник Божий.

— Это кто же такой угодник Божий? — насмешливо спросила матушка, но тут же и замолчала, увидя произведенное этими ее словами полное недоумение.

В это время перед ней появился княжеский дворецкий — важного вида человек. Матушка даже смутилась, его увидя и не зная, за кого принять его: вид царственный, на плечах накинута шуба лисья, а из-под шубы кафтан выглядывает, весь золотом расшитый. Матушка почтительно, по-русски, по-деревенски, поклонилась. Дворецкий ответил ей таким же почтительным поклоном и густым басом произнес:

— Так это ты, матушка, отца Николая супруга?

— Я, а то кем же мне быть? — несколько оторопев, произнесла молодая женщина.

— А в таком разе пожалуй, сударыня-матушка, я тебя в покойчик батюшки и проведу. Самого его нету, да у заутрени я его видел, и он мне сказал, что скоро будет; к одному только больному, тут недалече, хотел зайти. Он беспременно скоро будет; пожалуй, матушка, за мною.

Приезжая, очевидно, подавляемая совсем неожиданными и новыми мыслями, последовала за дворецким.

Он проводил ее в княжеский дом с заднего хода. И вот она в чистой и по-барски убранной комнате. На полу разостлан мягкий ковер, всюду наставлены большие кресла; в правом углу богатый киот с образами.

Она остановилась, смущенная.

«Неужто это моего попа тут так ублажают? — невольно мелькнуло у нее в голове.— То-то он и застрял! Как не сбежать в такие палаты! Да не может того быть!..»

Но последнее сомнение тотчас же исчезло: из растворенной двери в следующую комнату она увидела брошенную на кресло знакомую ей деревенскую рясу отца Николая; притом и в этой богатой комнате, где она стояла, на нее так и пахнуло тем неуловимым запахом — да и не запахом, а чем-то совсем неосязаемым, но хорошо знакомым ей — указывавшим яснее всего, что здесь именно, в этих богатых покоях, живет не кто иной, как отец Николай.

— Чай, иззябли в дороге, матушка, да и проголодались? Я сейчас сбитню горяченького прикажу приготовить и пришлю тебе закусить.

Проговорив это, дворецкий с поклоном вышел.

Приезжая, совсем растерявшаяся и как-то притихшая, продолжала стоять посреди комнаты, медленно развязывая

платок на голове. Вот она сняла платок, потом свой длинный шушун из грубого сукна на заячьем меху и долгое время не знала, куда все это девать: ей казалось неподходящим положить свои деревенские вещи на крытые бархатом барские кресла. Наконец она решилась и осторожно сложила все на самое дальнее кресло, в углу; сложила, да и присела тут же, опустив руки вдоль колен, как это всегда делают женщины из простонародья, погруженные в задумчивость, и невольно сравнивала свои обычные, еще так недавно покинутые впечатления с тем, что ее теперь окружало.

Она выросла в глухой деревне, в среде, почти ничем не отличавшейся от крестьянской. Домик ее отца, в котором она и теперь жила с мужем, немногим отличался от крестьянской избы. Но она хорошо знала, что есть люди, которые живут совсем иначе, т. к. с детства, время от времени пользуясь каждой возможностью, забиралась в давно покинутый барский дом, где тщательно сохранялась княжеская обстановка времен царицы Анны.

Робко, с замирающим сердцем бродила она по барским покоям, казавшимся ей особенно обширными после домашней деревенской тесноты, разглядывала каждую вещь, иной раз вовсе не имевшую в себе ровно ничего замечательного, сделанную грубо, аляповато, но казавшуюся ей чудодейственной,— и бессознательная тоска и зависть наполняли ее; и каждый раз, возвращаясь из барского дома к себе, она вздыхала.

Это стремление к той жизни, для которой она не была предназначена, было в ней врожденным, инстинктивным. Но время шло, и детские мечтания исчезали, жизнь вступала в свои права. Бродить по барскому дому, отдаваться чувству тоски и зависти было теперь некогда: мать померла, отец дряхлел, все хозяйство было на ее руках. На подмогу ей оставался всего один работник, тоже старик, совсем почти глухой и плохо видевший одним глазом.

Покойная ее мать была отличной хозяйкой, держала поповский домик с огородом в большой исправности, и дочка вышла хорошей хозяйкой и работницей. Время шло быстро, она уже заневестилась, а тут из Киева явился Николай.

Когда ей старик-отец объявил, что это ее жених, она ничего не возразила, вышла замуж без всяких рассуждений, без всякой борьбы с собою. Все это было в порядке вещей, иначе и не могло с ней случиться; слава Богу, что жених-то не противен, а, напротив, даже заинтересовал ее. В конце

концов, как бы то ни было, он не деревенщина, рос с княжеским сыном, потом учился в Киеве, немало навидался; иной раз станет рассказывать — интересно выходит. Правда, есть в нем что-то странное, не такой он, как другие люди молодые, каких она встречала; да и то сказать — встречала-то она немногих, так что судить точно не могла. Но с первых же дней семейной жизни между нею и мужем что-то не совсем заладилось: до свадьбы были чужими, а после свадьбы еще больше чужими стали, ровно и не понимают друг друга. Что же — он так умен, а она так глупа? Ничуть себя она глупой не считает, и хотя и выросла в деревне, а не такова совсем, как деревенские бабы,— и читать и писать умеет, отец всему выучил. Книг немало прочла, да и от природы Бог разумом не обидел...

Неведомо куда привели бы теперь матушку ее мысли, да думать-то оказалось некогда: проворный и ласковый человек с поклонами и поздравлениями со счастливым приездом внес в комнату сбитень медовый в большом медном сосуде с ручкой наподобие чайника. Он накрыл стол чистою белою скатертью, потом уставил его всяким съестным, весьма заманчивым, особенно после дальней дороги и недостаточной, грубой пищи.

Приезжая сразу покончила со всеми своими мыслями, со всеми волновавшими ее чувствами и принялась кушать и пить с большим аппетитом, даже с наслаждением.

Во время этого ее занятия снова отворилась дверь и в комнату вошел сам отец Николай. Он, вероятно, прошел по двору, как всегда это делал, очень быстро; во всяком случае, его прихода никто не заметил и никто не успел сообщить ему о приезде жены. При виде ее среди комнаты за завтраком он в первое мгновение вздрогнул. Светлое его лицо как бы омрачилось, но это только на один миг — и снова ясное спокойствие разлилось по всем его чертам.

— Настасья Селиверстовна! Приехала! Вот нежданно-негаданно! — вскричал он, подходя к жене.— Все ли благополучно? В добром ли здравии? Ну, мать, с приездом! Облобызаемся!

Все это он проговорил так быстро, его движения были так порывисты, что матушка едва успела проглотить положенный в рот кусок и сама не заметила, как трижды, по обычаю, облобызалась с мужем, или, вернее, трижды его губы беззвучно приложились к ее круглым горячим щекам.

Затем отец Николай придвинул себе стул и сел рядом, глядя на нее светлым, почти радостным взглядом. Глаза его, как прозрачные голубые камни, в которых отражалось

солнце, так и светились, так и искрились. Но именно это сияющее выражение его лица, именно этот поразительно ясный свет, изливавшийся из глаз, произвели самое раздражающее действие на матушку.

То, что она подавила было в себе, о чем перестала думать в тепле, богатстве и новизне этой обстановки, но с чем ехала сюда и чем была полна, въезжая на княжеский двор, теперь сразу заполнило ее.

— Что же ты ухмыляешься, поп! — вскричала она. Рад, вишь, что жена приехала? Лебези перед кем хочешь, обманывай кого знаешь, а меня не обманешь. Чай, у тебя кошки на сердце скребутся? Не ждал, думал: где ей, глупой бабе,— не надумается. А вот и надумалась — взяла, да тут! И ни коим манером ты меня отсюда не выживешь: ты тут — и я тут, потому как ты мне муж, а я тебе жена.

— Матушка, да я вовсе и не желаю выживать тебя, Бог с тобой. Здорова ты — ну, вот и я доволен, а что приехала, так это напрасно.

— Ну вот! Ну вот! Совсем небось от меня хотел избавиться? Ан нет, ан вот же тебе!.. Ты здесь — и я здесь! — с деревенской ухваткой, сверкнув глазами и раздувая ноздри, крикнула матушка.

Отец Николай качнул головою и чуть слышно вздохнул, а она между тем продолжала:

— А ты вот что мне скажи, поп: кто ты таков теперь стал? Как величать надо? Был ты знаменский поп Микола — ну а нынче-то кто же? В бояре, что ли, попал? Или архиереем при живой жене сделался? Кто ты таков? Чего так барствуешь? Покажись-ка, покажись! Батюшки мои, ряса-то, ряса!

Она оглядывала и ощупывала его шелковую синюю рясу, которую недавно ему подарил старый князь.

— И тебе это не совестно — в таких шелках-то? Ведь это что ж такое? Жена вон, деревенщина, в затрапезье ходит, а он, поди ты, в шелках каких!

Отец Николай тоже осматривал теперь свою рясу.

— Красиво,— сказал он,— и на ощупь приятно. Это мне наш болящий князь намедни подарил и приказал носить; так мне как же не носить-то?

— А ты бы ему, князю-то болящему,— перебила матушка,— и сказал бы: на что мне, мол, князь — али там сиятельство ваше — такая ряса. Не пристало мне, деревенскому попу, в шелках ходить, а вот коли милость ваша будет, этот самый шелк жене бы на платье для праздника.

— Вот это точно. Не догадался, матушка, прости, не

догадался,— разводя руками, сказал отец Николай.— А и то сказать, кабы и догадался, так не стал бы таких слов говорить князю — не мое это совсем дело.

Матушка махнула рукою, поднялась из-за стола и прошлась по комнате.

— Да что тут с тобой толковать,— мрачно произнесла она.— А вот ты мне скажи: домой-то, в деревню-то, ты думаешь когда быть? Али совсем здесь уж останешься? Ведь ты подумай только, сколько времени прошло, как ты сбежал-то тогда! Тебя так многие, чай, по нашим местам в бегах считают!

Отец Николай задумался.

— Да ведь Семен Петрович священствует? — наконец спросил он.— Ведь прихожанам никакого от моего отсутствия нет убытка?..

Матушка, очевидно, не могла равнодушно выносить ни слов его, ни его спокойного тона.

— Ну что же такое, что поп Семен! Он знаменской церкви иереем поставленный или ты? При деле ты или без дела? Жена я тебе или нет? Вот ты мне на что ответь. Два раза наши подводы сюда ходили, писала я тебе, что же ты мне не отвечал?

— Как, матушка, не отвечал? — изумленно перебил ее отец Николай.— Оба раза я тебе ответствовал.

— Да что ты мне ответствовал-то? Жив, мол, и здоров, чего и тебе желаю,— вот и весь ответ твой был.

— А ответ был таков потому, что другого было мне нечего сказать тебе. Коли было бы что, я бы и сказал; коли бы знал, когда вернусь, я бы и отписал; но как тогда, так и теперь не знаю срока, ничего не знаю — все во власти Божией! Есть у меня здесь дело, я и живу, не будет дела — домой поеду, там, может, тоже дело найдется. А пока не могу я отсюда выехать.

— Да почему же не можешь? Упрямая ты, несуразная голова!

Но отец Николай молчал; да она и знала, что он так ей ничего и не ответит, и уже привыкла к этому его особенному в иные минуты молчанию. Но это-то молчание всего более и раздражало ее, и теперь она каким-то почти шипящим голосом продолжала:

— Да и я-то дура, что хочу от тебя чего-нибудь добиться! Аспид ты, мучитель мой, и ничего больше! Ну и молчи! Мне слов твоих не надо. Дойду до самого князя. Нынче дойду, беспременно, затем и приехала. Расскажу ему все, как на духу, скажу ему, каков ты есть, изверг... Он небось

тебя за святого считает, обошел ты его своими лисьими речами; а вот увидим еще, как князь на твои настоящие поступки посмотрит — что ты с женой делаешь, как ты ее одну оставляешь! Хоть с голоду помирай, тебе нет дела... Да и не к князю, к владыке пойду... ко всем вельможам пойду, не могу больше терпеть от тебя, довольно! Натерпелась... не один год... Всю молодость мою ты загубил!

Сначала отец Николай при каждом ее слове вздрагивал, когда слова эти больно в нем отзывались, но вот сделал над собою усилие, губы его зашептали что-то, и мгновенно он перестал слышать жену, ушел всецело в иной мир, в иную область мыслей и ощущений.

Матушка волновалась все больше и больше. Она была в таком состоянии, что ей, очевидно, необходимо было наговориться досыта, излить всю свою душу, высказать перед мужем все, что кипело в ней за эти месяцы его отсутствия. Она осыпала его целым градом упреков и насмешек, не задумываясь над словами, но он ничего не слышал.

Отец Николай спокойно глядел перед собою светлыми сияющими глазами и не видел ни ее, ни этой комнаты, видел совсем иное, и она, наконец, взглянув на него, поняла это. Поняла, что все ее красноречие пропало даром. Отчаяние, злоба и раздражение охватили ее; еще миг — и, кажется, кинулась бы на мужа с кулаками, но ей, по счастью, пришло в голову, что все же она в княжеском доме; она выбежала в соседнюю комнату и там громко разрыдалась.

IX

Отец Николай услышал эти рыдания. Он встал, быстро направился к жене, увидал ее сидящей в кресле, с лицом, закрытым руками, и склонился над нею.

— Настя! Настя! — тихо и ласково произнес он, гладя рукою ее голову.— Ну, чего ты, чего? Зачем плачешь?

Она уже ощутила это прикосновение, от которого повеяло на нее чем-то теплым, успокоительным, отрадным. Ей стоило только отдаться этому первому ощущению — и тишина и спокойствие наполнили бы ее душу, она внутренне прозрела бы и увидала бы все совсем в ином свете; но никогда, ни разу в подобные минуты не могла она отдаться этому спасительному ощущению — сила противления была в ней велика. Каждый раз вся ее душа возмущалась против мужа. Она и теперь порывисто подняла голову и отстранила от себя его ласкающую руку.

— Ну, чего ты? Что я тебе далась, малый ребенок, что ли, или дура? — гневно сверкнув глазами, крикнула она.— Чего ты меня по голове гладишь, ровно кошку или собаку какую?! Сам истерзал человека, жизнь погубил всю и думает, что скажет: «Настя, Настя», а я так хвостом и завиляю. Я тебе не зверь, а человек, жена твоя законная, так ты меня уважать должен, заботиться обо мне, а не губить.

— Настя, Христа ради, не говори ты таких напрасных слов, ведь ими ничему не поможешь, от них тебе только станет хуже. Возьми лучше в толк да разум, коли можешь, и скажи мне, чего тебе от меня надо? В чем я перед тобою повинен? Бог видит: все, что могу, я готов сделать, скажи только...

— О, душегубец! — простонала Настасья Селиверстовна, заламывая руки.— Ну есть ли какой способ выслушивать эти льстивые слова от такого человека! Ведь знает, знает, что меня-то уж своим лживым смирением провести не может — и все ж-таки донимает... Да закричи ты на меня! Бей ты меня! Покажись ты как есть — все же легче тогда будет, поговорю я с тобой как следует. Ну, чего ты тянешь всю душу? Чего ты юродивым представляешься? Чего, вишь, я хочу! В чем он, вишь, виноват! Да вот скажи ты мне, коли есть в тебе душа человеческая, скажи мне правду наконец, зачем ты на мне женился? Зачем тебе понадобилось всю жизнь терзать меня? Ну, говори! Только не молчи — говори, хоть раз в жизни говори мне правду.

Он опустил голову.

— Жена, я никогда не лгал тебе, только во многих случаях молчу, ибо молчание лучше слов напрасных.

— Знаю я твое молчание! Ну, теперь уж не молчи, говори, говори мне: зачем ты на мне женился?

— На иной вопрос нелегко сразу ответить, Настя. Вот ты мне и теперь такой вопрос задаешь... Я сам себе его никогда не задавал, и он для меня внове, но, коли хочешь, отвечу тебе на него, да и себе сразу отвечу. Зачем, говоришь, я на тебе женился? Видно, так нужно было. Сама знаешь, отец был иереем, и дед тоже; сам я с детских лет любил пуще всего в мире молитву, храм Божий, да и потом, возрастая, учился Писанию, истории церковной, богословским наукам и знал я, тогда же знал, что нет и не может у меня быть иного призвания. Так вот я и готовился, по примеру отца и деда, в священнослужители. Только было у меня время сомнений, разбирался я в себе — достоин ли такого высокого служения... проверял себя... Ах, Настя, ты напрасно думаешь, что легко быть священником, что легко

принять на себя такую обязанность! Ведь ежели человек недостоин, ежели с нечистым сердцем совершает великие Господни таинства, то ведь эти таинства сожгут его невидимым огнем, сожгут — и навеки! Ведь ежели он в душе своей не верит в те слова, какие произносит в церкви, если хоть на малое мгновение усомнится в том, что совершает,— он погубит свою душу, ибо ложь перед алтарем Господним — такой грех, после которого человеку не подняться! Вот когда я все это понял, я и усомнился. Долго молился, долго разбирался в душе своей и наконец решился, с трепетом, но с надеждой на Бога, на Его милосердие, на Его поддержку... А когда я решился, то многое понял. Я понял, что мне нужно для того, чтобы быть священником.

Настасья Селиверстовна сидела теперь молча, с широко раскрытыми глазами, вслушиваясь в слова мужа. Так с нею он доселе еще никогда не говорил; и вообще, на этот раз сам он ей казался как-то странен. Слова его были до того необычны, что на короткое время улеглось в ней раздражение и она слушала. Тем временем он продолжал:

— Кончив одним из лучших в училище, я был призван начальством, и было мне предложено место священника в Киеве.

— Ну да, я знаю это,— перебила Настасья Селиверстовна,— отчего же ты не взял этого места? Был бы, поди, уж протопопом, да и для меня нашелся бы другой человек, с которым, быть может, жилось бы лучше.

— Я поначалу от места-то не отказывался,— продолжал отец Николай,— да только вдруг потянуло меня на родину. Меж товарищами моими был один человек хороший, и ему сильно хотелось занять то место, которое мне предлагали. Он давно уже на то место рассчитывал, да я про то не знал. А вот как было оно мне назначено да стало это известно между товарищами, он мне и сказал, а я и обрадовался. Пришел, да и говорю начальству: «В село родное хочется». И князю о том написал. Князь прислал свое согласие, а начальство было меня отговаривать стало: «Пропадешь ты там, говорят, в глуши. Пусть, говорят, по деревням те идут, кто ни аза не знает, а ты не на то учился». Я смолчал, потому что нас так приучили — молчать перед начальством, а сказать хотелось: мол, куда же идти тому, кто что-нибудь смыслит, как не в народ темный? Да не в том дело. Вот я и решил, да и поехал; ну, а потом: как же я мог на тебе не жениться — ведь иначе меня в иереи не посвятили бы, да и прихода знаменского не мог бы я получить, потому как твой отец священствовал и только твой

муж мог быть на этом месте — сама же все знаешь!

— Да я-то тут причем? Я-то тут в чем виновата? — снова приходя в раздражение и наступая на мужа, заговорила матушка.— Коли я тебе была так ненавистна, ты бы и ушел; ну, я не знаю... ну, поехал бы в Москву. Князь тебе бы все устроил — ты ведь хоть и не с той стороны, а родней ему приходишься... свой... Я-то тут причем? За что ты меня погубил, вот что скажи?

— Ах, опять ты эти слова! — сказал, вздыхая, отец Николай.— Конечно, коли бы я знал, что в этом чья-нибудь погибель, я бы и не показывался в нашу деревню, да разве мог я тогда знать это? Разве я тогда знал,— возвысил он вдруг голос и блеснул своими светлыми глазами,— когда и теперь этого не знаю! Когда я и теперь... и теперь, более чем когда-либо, думаю, что не погибель наша была в этом браке, а скорее, спасение!

Настасья Селиверстовна злобно засмеялась.

— Ну, поп, опять блаженным прикидываешься либо и впрямь спятил! Хорошо нашел спасение! Я не по тебе, ты не по мне — чего уж тут! Да только вот от меня ты дурного никогда ничего не видывал. Я баба работящая. Кабы не я, так ты бы в деревне голодным сидел. Во всю жизнь никакого непотребства у меня и в голове не было, а ты... ты?

— Ну, что же я? — спокойно сказал отец Николай.

Но она не могла договорить. Ее кулаки сжимались, бешенство душило ее, снова из глаз так и брызнули слезы — слезы злобы и бессильного бешенства.

— Успокойся, Настя! Это ты с дороги, что ли, так расстроилась? Эх, горе ты мое, горе! Как подумаешь, что так легко было бы тебе стать и спокойной, и довольной, и счастливой... Уж молюсь я об этом Богу, молюсь, да, видно, еще рано.

— Не замасливай, не замасливай! — вырвалось вдруг у матушки.— Ведь не скрылось от меня, как тебя ошеломило при моем виде. Тебе любо было позабыть, что я есть на свете!

— Нет, я не забывал о тебе. А это правду ты сказала, что я в первую минуту, как увидал тебя, смутился; смутился потому, что, сдается мне, тебе вовсе приезжать не следовало.

— А почему это?

— Да потому, видишь ли, что ты здесь себя только больше расстраиваешь, только больше себя мучаешь, вредишь себе. Там, в деревне, такому человеку, как ты, гораздо, не в пример легче: там ты в работе, спокойна. Работа —

все леченье твое душевное, в работе тебе не приходит никаких мыслей, а тут вот... они уже и пришли. Там, в деревне, тебе некому завидовать, а тут ты каждому завидовать станешь, и ропот в тебе явится, и ох много грехов всяких! Поэтому я и смутился. Но уж раз ты приехала — что тут делать! Мое смущение прошло, я возрадовался, что вижу тебя здоровой, хотел расспросить и о том, и о другом, о всех соседях и прихожанах, а ты меня сразу же встретила разными упреками. Ну что мне с тобой делать — нет, видно, тебе исцеления!

— А, так мне нет исцеления! Тут вот не успела в дом я войти, а уж о разных твоих делах наслушалась изрядно. Видишь ли, ты тут святым угодником стал, целителем недугов... разные болезни лучше всякого дохтура излечиваешь! Ну, батюшка отец Николай, ты меня болящею считаешь, вот и излечи, чтобы я стала здоровой, чтобы сердце у меня не закипало каждый раз, как гляжу на тебя да слушаю все твои речи... Ну, если ты такой великий целитель и сила тебе такая Богом дана — вот и излечи меня!

Отец Николай опустил глаза, и по его светлому лицу мелькнула тень печали.

— Какой я целитель! — со вздохом сказал он.— Что славу про меня такую пустили, в том я непричастен — я ее не искал, не желал, о ней не думаю. Я только делаю то, что должен делать по своему призванию и по обязанности моего сана. Какой я целитель? Люди сами исцеляются своею верою, а я только молюсь с ними. Кабы мог я с тобой молиться, Настя, и твоя душа была бы исцелена. Да ты сама не хочешь этой молитвы. Захочешь, сможешь молиться вместе со мною, так и воспрянешь здоровой для новой жизни, а пока не можешь, я насильно не властен тебе открыть глаза.

— Уйди ты,— вдруг рассвирепела Настасья Селиверстовна, подбоченясь и становясь в вызывающую позу,— лучше уйди! Уйди, потому как моего терпенья с тобой, наконец, не хватит. Уйди ты от греха, комедиант, не то, право, я за себя не отвечаю... А что к князю я пойду на тебя жаловаться — это вот как Бог свят! Затем и приехала сюда.

Он хотел сказать что-то, но она наступала на него, глаза ее метали искры, ноздри так и ходили, зубы так и сверкали.

Отец Николай наклонил голову и, подавив вздох, тихо вышел и запер за собой двери.

X

В подобные минуты, которых немало было за всю супружескую жизнь отца Николая, когда после безумных речей, грубых упреков, рыданий, брани и даже иной раз побоев рассвирепевшая матушка прогоняла от себя мужа, а он, видя, что бессилен перед нею, покорно уходил — ему было куда уйти! Зимою он спешил за околицу, по большой дороге, летом — в лес, в поле, и тишина деревенской природы его скоро успокаивала; и в миг один при взгляде на торжественность Божьего мира, при первых словах молитвы в его душе стихал невольный ропот, стихали тоска и томленье. Он хорошо понимал, что ему послан крест, что его жена — это испытание для него; ему только тяжело было видеть ее такою, и он только молился о том, чтобы Господь простил ее и снял наконец слепоту с ее очей. О себе, о несправедливостях и обидах, ему наносимых, об этой грубой, оскверняющей человека брани, об этих полученных им побоях — им, мужчиной, от женщины — он, конечно, не думал. В миг один Божие солнце, ветер или дождик снимали с него всю эту паутину, всю эту грязь и пыль, он снова дышал правильно и спокойно, снова всеобъемлющее чувство любви наполняло его душу, и он, увидя себя в уединении, падал на колени и поклонялся Творцу своему и благодарил за все — за великое душевное счастье, ему данное, и за эти мгновения, казавшиеся теперь такими ничтожными испытаниями. Он с жаром, со всею силою, на какую был способен, молился о том, чтобы Творец и впредь не покидал его, чтобы он всегда, во все дни и часы своей жизни чувствовал в себе связь с Богом, могучее трепетание невидимой нити, протянутой от Творца ко всякому творению...

Теперь же ему некуда было идти — простор и тишина полей, лесов и большой дороги были от него далеко. Едва он успел запереть за собой двери, как к нему подбежал один из дворовых.

— Батюшка! Пожалуй сюда, давно тебя поджидают!

— Где? Кто? — еще весь полный только что испытанных ощущений, растерянно спросил отец Николай.

— А тут вон, на крыльце у людских, две женщины пришли. Христом Богом просят, в ноги кланяются, чтобы повидать тебя.

— Иду, иду.

И отец Николай, второпях захватив шапку и на ходу порывисто надевая шубу, поспешил туда, где его ждали.

У крыльца в людской флигель он увидел две женские

фигуры, из которых одна так и кинулась ему навстречу, подбежала и упала в ноги. Это была женщина уже немолодых лет, судя по одежде — не из простых, с лицом, носившим на себе следы былой красоты и некоторого изящества.

— Батюшка, благослови! — прошептала она.

Отец Николай склонился над ней, благословил, а она схватила его за руку и долго не выпускала, покрывая поцелуями.

— Дочь моя, встань! Что ты мне кланяешься... Нехорошо! Не след!

Но женщина не вставала с колен, будто застыла в своем молитвенном положении, и все продолжала покрывать руку отца Николая поцелуями.

Он совсем растерялся и вдруг тоже упал на колени и поклонился ей.

— Поднимись, дочь моя,— шептал он,— а то что же мы с тобой так друг перед другом на коленях стоять будем. Негоже, совсем негоже.

Тут только женщина очнулась, встала, а за нею встал и отец Николай.

— Чем могу служить тебе? — спросил он, но в тот же самый миг уже знал, в чем дело.— Твой муж... твоя дочь...— неожиданно для самого себя говорил он,— ведь горе и испытания слабых людей часто ведут к греху. Да, грех... но Бог милостив... Я приду молиться с вами, приду, приду... не бойся, не обману тебя. Приду сейчас, дай только спросить эту...

Женщина, для которой в словах отца Николая все было ясно и которая убедилась, что этот человек знает все, о чем она собиралась рассказать ему, замерла, потрясенная. И в то же время надежда, приведшая ее к этому священнику, о котором только несколько дней назад она узнала, все росла и росла в ее сердце: «Да, он таков, как о нем говорили, он все знает, все видит, он спасет нас».

Между тем отец Николай подошел к другой женщине, стоявшей у крыльца. Эта была моложе, лет под сорок, с лицом бледным и спокойным, по виду и одежде — зажиточная мещанка либо купчиха. У нее на руках, закутанный в теплое одеяло, покоился ребенок, но ребенок не маленький, не грудной, а, по росту судя, этак лет трех или четырех.

Взглянув на ребенка, отец Николай даже вздрогнул — такое у него было ужасное и в то же время жалкое лицо: младенческого, благообразного в нем ничего не оказывалось. Это было несчастное уродливое существо с блуждаю-

щим, бессмысленным взглядом, с открытым и беспрерывно жующим ртом.

Губы отца Николая зашептали молитву, он благословил ребенка, потом мать.

— Бедный, бедный! — прошептал он.— Сколько ему лет? С рождения он у тебя болен?

— С рождения, батюшка,— тихо ответила женщина.— Давно это, ему ведь шестнадцать лет.

— Шестнадцать?!

— Да, на вешнего Миколу семнадцать будет. Сначала, как родился, рос было, даже шибко рос, а потом вдруг перестал и так вот и остался.

— Ну, мать, пойдем в горницу, расскажи мне свою нужду, пойдем.

Они взошли на крыльцо; столпившиеся слуги расступились перед ними и поспешили отпереть двери в довольно просторную и чистую горницу, в которой через несколько мгновений отец Николай остался наедине с женщиной и ее сыном. Он сел на лавку и жестом пригласил ее поместиться рядом с собой.

— Что же у тебя, мать? — внезапно совсем успокаиваясь и глядя своими светлыми глазами то на женщину, то на мальчика, спросил священник.

Та опустила глаза, потом подняла их на него — тихие, спокойные, грустные глаза, в которых выражались большая прямота и большая покорность, безропотность.

— Да вот, батюшка,— сказала женщина,— я ведь издалека — вологодская; у мужа моего торговля в Вологде, живем в достатке: всего вволю, дом свой, большой... Надо сказать, почти что по-барски живем, и что ни задумает мой хозяин, Митрий Степанович, то ему и удается.

— Человек-то он, твой хозяин, какой? Хороший?

— Хороший он человек, батюшка, ничего дурного про него сказать нельзя. Ну там, может, в своем торговом деле чем когда и покривил душою, не знаю я про то... А для меня всегда был добр и ласков. Почитай с малолетства я его и знала — соседи мы, старее он меня годов на семь.

— По доброй воле вы поженились?

— По доброй, батюшка, по доброй. Крепко мы с ним слюбились: вот живем без малого лет девятнадцать, и ничего такого промеж нас до сей поры не выходило.

— За что же это вам такое Господь наказание послал? Детей-то других у тебя нет, что ли?

— Есть, батюшка, как не быть: две, уже большие, де-

вочки, сынок старшенький, разумный такой, почтительный паренек вышел, а вот этот второй родился.

— Наказание Божие!

— Это ты, батюшка, святое слово сказал: да, наказание мне... мне, окаянной! Одна я в том виною. Как была я тяжела вот этим Николушкой, болезнь на меня напала — чаяла, не доношу, да и сама не встану; вот тут я и взмолилась Богу да обеты дала: первое дело — пешком сходить на Москву, поклониться угодникам, а второе дело — три года работать, каждую свободную минуту работать... Я, видишь ты, батюшка, золотом шить мастерица; так вот и обещалась покров в собор вышить — это раз, а другое — остальные мои работы продать, а на вырученные деньги променять образ в золоченой ризе в собор приделу св. Николая угодника и на неугасимую лампаду. Вот дала я эти все обеты, и полегчало мне, и хворость мою всю как рукой сняло: доносила я дитя совсем здоровая, да и от бремени разрешилась благополучно. Ребеночек, Николаем мы его назвали, тоже здоров был, и позабыла я, грешная, окаянная, мои обеты; работать-то работала, да с ленцою: не то что в три, а в четыре года только и вышила одну пелену, а о том, чтоб в Москву идти пешком к святым угодникам да образ в золоченой ризе с неугасимой лампадкой в собор поставить — об этом совсем забыла. И года не прошло с рождения Николушки, как примечать мы стали в нем что-то неладное; а потом все хуже да хуже, и к четырем годам и расти совсем перестал, так несмышленочком и остался. Все дети здоровые, все дети красивые, а этот — вишь ты, какой! Всякий от него отвернется, только материнское сердце на него и глядеть-то может. И будто у меня память кто отнял, не думаю я о своем окаянстве, о том, что обманула Господа Бога, о том, что не сдержала обетов своих, только ропот во мне иной раз, большой ропот: за что, мол, Господь наказал, за что, мол, и мы, родители, страдать должны, глядя на наше детище, да и оно, ни в чем неповинное,— не то человек, не то зверь. Да какое там, хуже зверя!

— Ну, ну и что же? — весь превратясь во внимание, нетерпеливо спрашивал отец Николай.

— Вот так оно и было до этого лета; летом стою я в соборе перед иконою Николая угодника, вдруг будто голос надо мной: «А где твои обеты? Где же твоя работа? Где неугасимая лампада? Была ли ты у московских угодников? От Бога получила, а Богу не дала — и дитя свое погубила». Ровно ножом пырнуло мне прямо в сердце, так оно все кровью и облилось, упала я тогда: молиться хочу, да и не

могу; побежала я к батюшке духовнику, рассказываю ему, а он мне и говорит: «Да, очень велико твое прегрешение, должна ты теперь замолить грех свой. Иди по обету». Вот мне от этих слов и стало легче. Через три дня вышла я с моим Николушкой, пришла на Москву, поклонилась св. угодникам, а теперь иду на Валаам и в Соловки.

— Мать, так ты пешком все ходишь? И сына носишь? — воскликнул отец Николай.

— А то как же, батюшка? Обет такой был: пешком чтобы!

— Ведь мальчик вон какой большой, тяжел, чай?

— Сначала-то, это точно, куда как тяжел был. Иной раз иду, иду и невтерпеж станет: сяду и заплачу; ну, а теперь тяжести никакой не чувствую, так что порой даже забываю, что он у меня на руках.

— А муж-то, когда ты ему сказала, что пойдешь одна... с сыном, пешком на Москву, а потом в Соловки... Он что же? Он так и отпустил тебя?

Женщина подняла на священника изумленный взгляд.

— А то как же, батюшка? Как же ему меня не отпустить было? Горько-то оно горько, ух как горько было расставаться! И его жаль, и детишек жаль — слезами они заливаются, да и у хозяина слеза прошибла. А чтобы не отпустить — как же он мог? Себе он что ли враг! Ведь знает, что надо.

И все это она сказала так просто, так убедительно.

Лицо отца Николая осветилось каким-то особенным светом, вскочил он с лавки и порывисто, неровною походкою, в очевидном волнении, весь сияющий, так и заходил по комнате.

— Ах, ты счастливая! — воскликнул он вдруг, почти подбегая к изумленной женщине.— Да и сын твой счастливый. Дай мне его... дай!

И он взял дрожащими руками у матери это уродливое создание, бессмысленно на него глядевшее, и с несказанной нежностью стал осенять его крестным знамением, поцеловал в страшное лицо, целовал его руки и ноги.

— Батюшка, что же ты меня-то не благословил на мое хождение?

— Чего мне тебя благословлять, мать! Бог тебя благословил; сам Бог, слышишь, благословил тебя! Милости Его над тобою и над твоим сыном!

— Батюшка, батюшка! Так неужто Николушка мой несчастненький здоров будет? Неужто Бог простит мне мое окаянство?

— Простит! Простит! Он уже давно простил тебя! А Николушка твой... зачем ему быть здоровым... зачем? Ему и так хорошо... хорошо у твоей груди, тепло ему у нее... Он счастливый! И ты, и он — вы оба счастливее вельмож и царей земных... счастливее меня, грешного! Вы убогие... У Бога вы, значит, под Его покровом. Его сила над вами и в вас! Его святою силою идешь ты, мать, не чувствуя тяжести своего детища... Широкая дорога перед тобою, и приведет она тебя к Богу, к великому блаженству. Счастливая ты, мать, Христос с тобою!

И он жадно, жадно глядел на нее, крестил, а затем охватил за голову и прижался к ее лбу губами.

— Спасибо, родная, что пришла ко мне, что дала взглянуть на себя; душе теплее стало, веселее, на сердце радостнее!

Теперь женщина уже ничему не изумлялась и глядела на священника ласково и любовно. Тихие слезы катились у нее из глаз.

— Батюшка,— сказала она наконец,— хоть и полегчало мне, как дошла я до Москвы, но все же до сей вот минуты была я в тумане, а ты и снял с меня этот туман, великое тебе спасибо! Подкрепил ты меня, и теперь нет уж во мне ни страха, ни трепета ни за себя, ни за Николушку, ни за хозяина, ни за детушек... Спасибо тебе, батюшка!

Она поклонилась ему низко, большим русским поклоном. Он еще раз благословил ее с Николушкой и светлый, бодрый, будто окрыленный, вышел из горницы.

XI

В сенях отца Николая дожидалась женщина, к которой он обещал пойти. Увидя ее, он подал ей знак и торопливой нервной походкой устремился к воротам. Женщина едва за ним поспевала. Казалось, не она, а он ведет ее, будто давно знакома ему эта дорога. Он быстро прошел улицу, обернулся, взглянул на свою спутницу и, прежде чем она могла словом или знаком его направить, решительно свернул в сторону. Потом остановился перед воротами очень невзрачного домика и сказал:

— Мать, ступай вперед.

Женщина скользнула в калитку, обошла кругом грязный, загроможденный всякой рухлядью двор и с усилием отперла низенькую дверцу. Войдя вместе с нею, отец Николай очутился в просторном, но неимоверно грязном и дым-

ном помещении. Два маленьких заледеневших окна едва освещали картину той полной нищеты, которая уже не только не может, но и не хочет, словно безнадежно отчаявшись, прикрывать свои язвы и свое безобразие.

Однако и в этой дымной, холодной полумгле быстрый и ясный взгляд священника сразу разглядел все, что ему надо было видеть: в углу на жалком подобии кровати спал человек, прикрытый лохмотьями, а у одного из окошек, стараясь примоститься поближе к свету, сидела с работой в руках молодая девушка. Несмотря на крайнюю бедность одежды, нечесаные волосы и вообще неряшливый вид, это была очень красивая девушка, и каждый, глядя на нее, должен был сказать себе, что девушка эта наверняка родилась не в бедности и не для бедности. Она медленно подняла свои большие глаза на пришедших, затем тотчас же опустила их к шитью, оставшись недвижной и равнодушной.

— Катюша, ах, Боже мой, да что же это ты? Подойди же под благословение батюшки! — растерянно произнесла женщина, с которой пришел отец Николай.

Девушка не тронулась с места и не произнесла ни слова.

— Оставь ее, мать,— сказал священник,— я благословлю ее в свое время, теперь же она нас не слышит. Сядем, и поведай мне свое горе.

Они кое-как поместились на старом большом сундуке, и отец Николай, склонив голову и глядя светлыми глазами поверх всего окружающего в беспредельное пространство, услышал скорбную повесть.

Эта женщина родилась в богатой дворянской семье, выросла в холе, вышла замуж за человека своего круга, помещика Метлина, и жила несколько лет спокойно и счастливо. Родилось двое здоровых, красивых детей — мальчик и девочка. Дети уж подрастать стали, как вдруг — будто сразу прорвалось что-то — посыпались на эту счастливую семью одно за другим всевозможные несчастья.

Метлин, сам того не желая и не по своей вине, поссорился с богатой и влиятельной роднею. Родня стала всячески притеснять его, завела с ним тяжбу, задарила всех судей и неправильно оттягала у него почти все имение. Да и не только своим имением, а и жениным приданым он должен был поплатиться. Пожар усадьбы, где они жили, уничтожил остальное. Никто из родных и близких людей не вступился — все отвернулись, как от зачумленных.

Собрали Метлины кое-какие крохи и перебрались с детьми в Петербург, надеясь доказать свою правоту и вер-

нуть незаконно отнятое имение. Жили в бедности, но не замечали ее, не теряли бодрости духа, верили в торжество правды. А время шло. Прошло четыре года. Сын, прекрасный и добрый мальчик, отрада и надежда родителей, не выдержал лишений, простудился зимою в легкой одежде и, проболев, прометавшись в жару несколько дней, умер. Все старания Метлина доказать свою правоту остались напрасны: кроме вечных неудач, оскорблений, он ничего не видел. Жить стало совсем нечем. Пробовал искать службы — и тут не повезло, не удалось ему найти себе хоть какого-нибудь места. Чтобы не умереть с голоду, приходилось иной раз ходить на поденщину. Жена с дочкой, уже выросшей, ходили по домам, выпрашивая себе работу — шитье, вязание, все, что можно было достать.

— Думала я, батюшка,— говорила Метлина отцу Николаю,— что уже хуже с нами быть не может, а случилось худшее: подкараулило нас такое горе, какого я и во сне не видывала — а сны-то мне снились ух какие страшные да тяжкие!.. Терпел мой Петр Ильич, все терпел, и никогда не слыхала я от него речей богохульных... А тут вдруг вернулась я домой с Катюшей, этому уж восемь месяцев будет, гляжу на него и не узнаю — не он совсем: лицо страшное, глаза кровью налиты, дышит тяжело, зубы стучат, кулаки сжаты: «Довольно, говорит, будет! Нет, говорит, на свете ни правды, ни Бога, их глупые да счастливые люди выдумали!» Кинулась я к нему, обняла, слезами обливаясь: «Батюшка мой, очнись, что говоришь! Не бери греха на душу, не губи себя». А он как оттолкнет меня, да такое вымолвил, что повторить у меня и язык не повернется. С тех пор и запил; иной раз дня по три — по четыре пропадает; вернется пьяный, завалится и спит... Бывает, и деньги у него водятся, а откуда те деньги, придумать не могу, да и боюсь думать...

Рыдания подступили ей к горлу, но она удержала их и продолжала:

— И этого горя, видно, мало было. Катюша моя, на отца, что ли, глядя, стала на себя непохожа. По целым дням молчит, по ночам плачет. А потом вот, точь-в-точь как он: «Будет,— говорит,— довольно!» Я ей рот зажимаю, а она от меня и руками и ногами. Вот уж третью неделю она меня изводит: «Не могу,— говорит,— больше так жить — либо повешусь, либо, забыв стыд, стану жить в палатах...» Вот ее речи! Батюшка, спаси ты нас, на тебя только и надежда!

— Не на меня, а на Бога,— тихо сказал отец Николай.—

Молись, мать.

— Молилась я, батюшка, молилась. Без молитвы-то как бы я прожила! И вера была, крепкая вера... А теперь, теперь и хочу молиться, да не могу... Душа, знать, молчит, на молитвенные слова не откликается... И вера... ищу ее — и нет...

— А ты все же молись и ищи веры...

Он уже сам молился. На него уже сходил молитвенный трепет, и он уже искал жадно и тревожно той спасительной и надежной нити, которая поднимала, окрыляла всю его душу и приводила в общение с высшей, святой, всемогущей силой. Он подошел, почти шатаясь, к спящему и простер к нему руки.

— Встань! — произнес он.

Человек приподнял голову, сел на кровати и изумленно воспаленными глазами поглядел на священника. Девушка у окна тоже было повернула голову, но затем вдруг резким движением склонилась еще ниже над своей работой.

XII

— Кто это, кто? Чего вам от меня надо? — шептал Метлин.

Недоумение, робость, даже ужас отражались в его воспаленных глазах, дрожь пробегала по всему телу. Это был человек лет около пятидесяти, крупного и сильного сложения, с лицом, еще сохранившим следы породистой красоты и благородства. Но долгие лишения, несчастья и пьянство последних месяцев исказили, изменили это лицо, придали ему болезненную одутловатость, и вся эта большая, сильно исхудалая фигура как-то съежилась, сгорбилась и производила жалкое впечатление, говорила о падении, о беспомощности.

В последнее время, находясь почти постоянно в болезненном возбуждении под влиянием вина, Метлин мало-помалу начинал жить какой-то фантастической жизнью. Он переставал ясно отличать действительность от своих болезненных представлений и галлюцинаций: и то и другое путалось перед ним и в нем смешивалось. Он жил в ярком мучительном бреду, ему чудились не существующие в действительности лица, и эти лица были так реальны, ощутимы, что он говорил с ними, а они ему отвечали.

Ему и теперь казалось, что перед ним одно из таких лиц, но только еще в первый раз увиденное, и оно нисколько не было похоже на прежние, всегда мучившие его призраки.

Полные внутренним светом глаза отца Николая неотразимо влекли его к себе и в то же время пугали, так как глубоко проникали ему в душу и видели в ней то, чего никто не должен был видеть.

— Кто это, кто? — повторил он, и ему хотелось уйти, спрятаться от этого всевидящего взора. Ему невыносимым становилось новое охватывающее его ощущение своей нравственной наготы перед незваным-непрошеным свидетелем.

Между тем отец Николай вдруг охватил его голову руками и прижал ее к своей груди. Это было невольное движение, видимое выражение того, что должно было совершиться: человек, полный веры и силы, взял, весь горя сожалением и любовью, больную, измученную голову обессиленного человека в полное непосредственное общение с собою и действовал на этого человека всем своим внутренним миром. Такое воздействие не могло остаться бесплодным, и совершилось именно то, чего хотел отец Николай: больной, измученный Метлин быстро начал выходить из своего тумана и бреда.

Огонь, паливший его внутренности, угасал; мучительное беспокойство сменилось тихим, почти приятным утомлением. Мир призрачных представлений померк, действительность выступила в своей обычной простоте и рельефности, и Метлин понял, увидел, что он у себя, среди своей нищенской обстановки, что какой-то человек в одежде священника прижимает к своей груди его голову и что ему тепло, и странно, и отрадно на груди этой.

Но вот еще раз, не в забытьи, не под влиянием винных паров, а от вернувшегося сознания тяжких бед и надломившей его непосильной борьбы в нем поднялись отчаяние, возмущение, мучительная злоба. Он оторвал свою голову от груди священника, отстранился и глядел на отца Николая мрачными, холодными и злыми глазами. Ему теперь припомнилось, как недавно сквозь пьяный бред свой он слышал голос жены; она говорила с кем-то о святом человеке, священнике, который помогает в разных бедах и напастях. И он сообразил, что это, должно быть, тот самый священник: жена привела, верно, этого ее святого человека, желая спасти его, Метлина, от запоя. Когда он сообразил это, злоба, как кипятком, обдала его сердце, и все у него внутри будто вспыхнуло, захотелось надругаться над этим «святым» и выгнать его вон. Как смел этот человек прийти к нему? Он нищий, но все же еще у себя хозяин, и ему никого не надо!

Но что-то будто сковывало ему язык.

— Зачем вы пришли ко мне? Мне вас не нужно, я еще не умираю! — с трудом произнес он.

Отец Николай ничего не ответил.

— Да, я понимаю,— продолжал Метлин,— и жалкая усмешка скривила его лицо,— понимаю!.. Ты хочешь, батюшка, наставлять меня на путь истинный, толковать мне о грехах моих, о моем окаянстве и о милосердии Божием!.. Напрасный труд — я уж давно на шкуре своей изведал, к чему ведет истинный путь... А Бог... до него так высоко, что Он не видит нас и не слышит...

— Замолчи! — вскричал неожиданно отец Николай с такою силой, что Метлин не в состоянии стал произнести слова, будто внезапно онемел.— Замолчи, несчастный, не богохульствуй... Не помышляй о том, чего не можешь постигнуть!.. Не видит, вишь, и не слышит! А вспомни-ка, обращался ли ты к Творцу и Господу так, чтобы Он тебя видел и слышал? Молился ли Ему всей глубиной своей души... с той несокрушимой верой, какая должна исходить от малого беспомощного дитяти к отцу, в котором все его спасение, все его упование? Полагался ли ты на Него безропотно, с терпением и кротостью?

Метлин внезапно отрешился от всех своих ощущений, от своего гнева и злобы, он вдумывался в слова священника и понимал, что никогда не верил в Бога, как в отца, никогда не превращался, обращаясь к Нему, в беспомощного ребенка, никогда не полагался на Него безропотно и с терпением. В нем всегда были именно нетерпение, ропот, возмущение несправедливостью, медлительностью Божией защиты.

— Но если я слаб, Бог должен укрепить меня, а не терзать через меру! — вдруг воскликнул он.

Отец Николай покачал головою.

— Кто же это сказал тебе, что ты знаешь меру своих сил? Всякое испытание, посылаемое человеку, есть только пища души, и душа, вкушая сию пищу, может и должна крепнуть, расти, очищаться. Но человек свободен, а посему может погубить свою душу, предавшись злу, которое сторожит его, особливо во времена испытаний. Вот и ты: твоя душа уже начинала крепнуть и очищаться благодаря пище испытаний. Ты среди бед и несчастий становился добрее, чище, снисходительнее, кротче, умнее, чем во времена благополучия. Так ли я говорю?

— Так! — прошептал Метлин, не спуская глаз с отца Николая.

Священник продолжал:

— Но ты допустил в себя зло и внезапно ослабел, начал шататься и усомнился в добре и в правде, в Боге — и душа твоя стала разрушаться. Но Бог милосерден, Он приходит на помощь слабости человеческой! Если ты почувствуешь Бога, если почувствуешь и поймешь, что Он видит тебя и слышит,— ты спасен.

— О, если б я мог это! — в отчаянии простонал Метлин.

— Подожди еще малое время с терпением и увидишь, что Господь снизойдет даже и к телесной твоей слабости. Он знает меру сил человека и чрезмерно не испытует. Верь, что Он придет тебе на помощь без промедления, я обещаю тебе это, а когда увидишь Божию помощь, то откажись на веки от зла и омой греховную душу добром и любовью.

Отец Николай поднялся с сияющим лицом.

— Веришь ли, что я тебя не обманываю, что спасение твое близко?

— Верю! — воскликнул Метлин, вдруг падая на колени и осеняя себя крестным знамением. Мир и радость теперь наполнили его душу. Ничего не изменилось вокруг него: те же горе и беды были позади, та же безысходная нищета в настоящем, тот же голод и холод, а между тем душа его ликовала, и он без ужаса, с надеждой смотрел вперед — он верил.

Его жена тоже молилась и громко плакала, и это были благодарные, освежающие слезы.

Одна Катюшка по-прежнему сидела у окна. Только теперь она уж не делала вида, что работает. Она бросила работу свою на пол и, бледная, с дрожащей по временам нижней губою, во все глаза смотрела на отца Николая. Вот он благословил ее отца, потом мать, подходит к ней. Его рука уже поднимается для благословения. Она вскочила и остановилась перед ним, сверкая глазами.

— Лгун! Обманщик! — вдруг злобно крикнула Катюша и, очевидно, не владея собою, выбежала из комнаты во двор, как была, в одном платье.

Метлины, ошеломленные, в ужасе, даже не тронулись с места.

— Бог милостив! — сказал отец Николай, перекрестился и поспешно вышел. Когда он проходил по двору, то почувствовал на себе злобный взгляд Катюши. Она действительно глядела на него из полуотворенной двери в соседнее помещение. От этого взгляда легкая дрожь пробежала по телу священника, и он стал молиться за несчастную девушку.

XIII

В это время Настасья Селиверстовна, находившаяся в полном одиночестве, продолжала получать нежданные впечатления. Когда отец Николай ушел и ей стало ясно, что он не скоро вернется, она мало-помалу начала утихать. Ее горячее сердце успокоилось. Она теперь чувствовала, что «отошла» с дороги, совсем отогрелась, напиталась, что ей хорошо и приютно в этих богатых княжеских покоях. Она обходила то одну, то другую комнату, с любопытством по нескольку раз разглядывала каждую вещь и любовалась каждым креслом, столом или шкапом... Незаметно и бессознательно чувство довольства охватывало ее. «Вот бы пожить здесь — вольготно, в свое удовольствие!» — невольно говорила она самой себе. Потом остановилась на такой мысли: «Да ведь не выгонят же отсюда, не пошлют на кухню жену, когда муж живет в барских палатах. Где он, там и она... Вот придет кто-нибудь, она так прямо и скажет: тащите, мол, сюда и мне кровать да перину, с дороги, мол, притомилась, соснуть хочу... Ну и притащут кровать да перину, расположится она тут, как боярыня... А там видно будет...»

Дверь скрипнула... Это, наверное, тот человек, что еду ей и сбитень принес. Она ему и скажет.

Но на пороге двери был вовсе не «тот человек», а молоденькая девица в богатой господской одеже и красоты неописанной. Настасья Селиверстовна совсем растерялась и даже рот разинула: в жизнь свою она такой красоты не видывала. Но долгое смущение было не в характере матушки, а потому она тотчас же оправилась, поклонилась не без достоинства и проговорила:

— Что прикажешь, сударыня; за каким делом пожаловала?

Вошедшая девица робко сделала несколько шагов вперед, подняла глаза на матушку и нетвердым голосом сказала:

— Мне надо бы видеть отца Николая... Я знаю, его нет теперь дома... но не могу ли я обождать его здесь... Ведь он здесь живет?

— Здесь-то, здесь...— как-то раздумчиво протянула Настасья Селиверстовна и замолчала.

Один глаз ее полуприщурился и не то насмешливо, не то подозрительно глядел на молодую девушку. Та смутилась еще больше, покраснела и почти испуганно спросила:

— А вы... вы кто же?

— Я-то кто?.. Я моего мужа жена. Вот из села приехала — и диву даюсь: всем-то до моего попа дело, нарасхват он... И впрямь, видно, народ здесь с придурью — своих, вишь, попов мало, за деревенского ухватились...

И при этом глаза матушки, упорно устремленные на молодую девушку, очень ясно и красноречиво прибавляли: «И ты, мол, девка, с придурью!.. Ну чего влезла, убирайся-ка подобру-поздорову, пока хуже не вышло!..»

— Скажи ты мне, сударыня,— вдруг после небольшой передышки воскликнула матушка,— скажи мне, никак я, вишь, того в толк взять не могу: ну на что вот хоть бы твоей милости мой отец Николай?

Но матушке, недоумение и раздражение которой возросло до высшей степени, не пришлось договорить, не пришлось услышать ответа на не дающий ей покоя вопрос — вошел отец Николай, и все лицо его так и осветилось радостью, когда он увидел молодую девушку. Та же радость, только борющаяся со смущением, отразилась в глазах юной красавицы.

— Добро пожаловать! — воскликнул священник, прямо подходя к ней и благословляя.— Я поджидал вас, и ежели бы вы не нашли меня, то я сам бы нашел вас... Сердце сердцу весть подает... Так-то!

Он как бы совсем не замечал присутствия жены; ласково положил руку на плечо девушки, указывая ей на кресло и приглашая садиться. Потом взглянул на жену и спокойно сказал:

— Настя, прошу тебя, оставь нас, нам надо побеседовать без свидетелей.

Вся кровь бросилась в голову Настасье Селиверстовне. Она уже хотела по-свойски выразить свое негодование, у нее уже вертелось на языке такое слово, которое наверняка должно было заставить непрошеную посетительницу удалиться. Отец Николай почувствовал это и остановил на жене пристальный, решительный взгляд.

— Настя! — повторил он, и она в первый раз в жизни присмирела перед его взглядом и словом и хотя с явным неудовольствием, даже со злобой, но все же молча вышла из комнаты и заперла за собой дверь. Будто какая невидимая сила заставила ее опуститься в кресло далеко от этой двери, так что ей никак невозможно было слышать разговора отца Николая с пришедшей к нему девушкой. Да она и не стала бы подслушивать, эта мысль даже и не пришла, не могла прийти ей в голову — она во всю свою жизнь действовала прямо, открыто, была совсем чужда хитростей

и уловок. А главное, она была полна своего рода собственным достоинством.

Вот это-то чувство собственного достоинства, ее самолюбие и страдали теперь чрезвычайно. Она считала себя гораздо крупнее, значительнее и умнее своего мужа; во все время своей супружеской жизни она все более и более проникалась убеждением, что не только их дом держится единственно ею, но что и сам отец Николай без нее — ничто. Разве он что-нибудь умеет, разве он знает, как надо жить, как надо относиться к людям?

Несколько раз приходилось ему благодаря своему «чудачеству» и непониманию наживать себе большие неприятности и подвергаться гневу начальства. В таких случаях что он делал? Да ровно ничего — молчал, не защищался и не оправдывался, вообще держал себя так, как будто дело его вовсе не касалось. Не приходи она всякий раз ему на помощь, он бы теперь, несмотря на свои отношения к князю Захарьеву-Овинову, которыми вдобавок никогда не пользовался, был бы уж, пожалуй, лишен прихода. Местное духовенство его почему-то недолюбливало, и вообще врагов у него оказывалось немало. Но она, узнавая о грозящей неприятности, начинала действовать, ехала в город, находила доступ ко всем нужным лицам, умела поговорить с ними и возвращалась домой, отстранив неприятности. Она принималась очень горячо, даже чересчур горячо объяснять мужу, чем он ей обязан. Выражал ли он ей по крайней мере свою благодарность, ценил ее?.. Ничуть.

Так было всегда. И вдруг все изменилось. Отец Николай, никогда почти и в город-то не ездивший, собрался и уехал в Питер. При этом он выказал непреоборимую решительность, о которую разбились все усилия, доводы и натиски Настасьи Селиверстовны.

— Князь болен, умирает, ему тяжко; я должен его видеть, потому и еду,— объяснил отец Николай, и больше от него ничего нельзя было добиться. Пришлось его отпустить и снарядить в дорогу, что Настасья Селиверстовна и сделала со всей своей привычной добросовестностью и заботливостью. Провожая мужа, она наказывала ему не мешкать в Питере и возвращаться как можно скорее во избежание неприятностей с начальством.

— Ни дня не медли,— повторяла она,— сам знаешь, рады будут тебе ногу подставить, так ты на это не напрашивайся.

— Там видно будет... Все образуется...— как-то загадочно, будто про себя, говорил отец Николай.

И вот стали проходить недели за неделями, а его все нет. Настасья Селиверстовна рвала и метала, ждала его ежедневно, боялась что вот-вот и скажутся последствия его долгой отлучки: незначат нового священника. Что тогда? Но ничего подобного не случилось, и она поняла, что князь все устроил, что пребывание отца Николая в Питере не ставится ему в вину начальством. Тогда в ней поднялась досада, которую она достаточно ясно и высказала в своей беседе с мужем.

Но теперь была уже не досада, а явившееся сознание, что происходит нечто непостижимое, что их роли изменились. Здесь, в Питере, в этой чудной столице, где все для нее — диво, где, несмотря на всю свою душевную крепость, она невольно робеет, где она — ничто и сама себе кажется совсем не на месте, он, ее муж — «юродивый самодур», как она его очень искренно называла,— у себя дома, на своем месте. Ото всех ему почет, всем он нужен, все его на руках носят! Вот уж и боярышни-красавицы, каких она отродясь не видывала, к нему прибегают да с ним о своих делах тайных совещаются! Этого только недоставало! А жену — вон! Не мешай, мол, незваная помеха!..

Конечно, тут же Настасья Селиверстовна соображала, что он — священник, что ничего нет предосудительного в том, если к нему хоть бы и боярышня-красавица обратится за советом, за утешением, и что в таком случае их беседа должна быть наедине... Но именно то обстоятельство, что во всем этом нет ничего предосудительного, и доводило ее до нестерпимого раздражения.

«Какое лицо у него стало, как он увидел эту красавицу! И она тоже вся так и просияла... А он-то, он-то: за плечо ее... Сердце, мол, сердцу весть подает... кабы не ты ко мне, так я бы к тебе! А, каково! Я-то ведь тут... И на меня, будто на собаку: вон пошла!..» — вот в какую определенную форму вылились наконец все помышления и чувства матушки.

Горькая обида наполнила ее сердце, и к этой обиде примешалось еще что-то непонятное, незнакомое. И это непонятное и незнакомое было горше всякой обиды, кипучее гнева, сильнее злобы.

«Сердце, мол, сердцу весть подает!..» — почти во весь голос повторила Настасья Селиверстовна. Голова ее склонилась, она закрыла лицо руками и заплакала так тихо, так горько, как не плакивала ни разу в жизни.

XIV

Если б Настасья Селиверстовна подошла теперь к двери и отворила ее, она увидела бы, что юная красавица склонилась к отцу Николаю, а он держит руку на голове ее и глядит так нежно, так любовно, с таким восхищением во взгляде! Священник действительно всем существом своим любовался на это чудное Божие создание, на эту раскрывавшуюся перед ним чистую девичью душу, еще более прекрасную, чем ее оболочка. Еще никогда не встречал отец Николай такого создания и радовался, что ему пришлось с ним встретиться.

Ему не надо было выводить из смущения свою посетительницу, убеждать ее быть с ним откровенной. Зина Каменева, почувствовав себя с ним наедине, сразу забыла всю свою робость и все свое смущение. Ей нетрудно было в несколько минут передать ему все — он понимал ее на полуслове, его ничто не изумляло, все было для него ясно. А между тем ее исповедь была гораздо сложнее той, с которой она недавно и с меньшей искренностью обратилась к императрице. Дело в том, что с тех пор прошли часы, прошли целые сутки, и во время этих суток все изменилось в душе Зины.

Когда она после встречи с Захарьевым-Овиновым вернулась от императрицы в свои комнаты, то сразу изумилась происшедшей вокруг нее перемене: все на своем месте, все как было, а между тем ничего прежнего не осталось. В эти последние дни Зине очень часто делалось жутко, когда она одна оставалась у себя. Что-то мучительное, даже более мучительное, чем панический страх, охватывало ее. Это был ужас, происходивший от неизвестности и непонимания.

Она ничего не видела ни перед собой, ни в себе самой; в ней совершалось нечто ужасное и отвратительное. Девушка испытывала такое ощущение, будто глухой глубокой ночью пришла на кладбище и все мертвецы встали из могил и окружают ее, а она не в силах бежать от них и должна отдаться им во власть.

Только вспоминая слова священника и то чувство успокоения и защиты, которое ощутила под его влиянием, она несколько отдыхала, но впечатление это скоро проходило, и снова туман и ужас охватывали ее. Образ доброго священника исчезал, а его место занимал другой, страшный образ, от которого некуда было спрятаться и нечем было защититься.

Теперь же сразу все изменилось. Вот этот образ, здесь, в ней, наполняет ее, а между тем прежнего ужаса, прежнего страха уже нет. Она знает, что непонятный и ужасный человек никогда не уйдет от нее, что ей никогда от него не избавиться, но уже его не боится. Он тот же самый — она не узнала ничего такого, что могло бы изменить ее взгляд на него, то же самое тяжкое и таинственное преступление лежит на нем, та же самая мучительная смерть неповинной жертвы стоит между ними,— а все же она не боится уже этого призрака, не боится его влияния на ее собственную жизнь. Зина еще не знает, каким путем должна дойти до успокоения, не знает, чем он снимет с себя тяжкое преступление и чем она его оправдает, но уже у нее явилась уверенность, что есть оправдание, что можно смыть это преступление,— и все изменилось.

Ведь она уже сказала себе в те часы и минуты, когда здесь после похорон графини Зонненфельд лежала, охваченная слабостью, больная, измученная, она уже сказала себе, что любит этого преступника! Какой ужас, какая мука заключалась в этом слове! Она сама считала себя преступницей, каким-то чудовищем — ведь только чудовище может любить его! — и напрягала все свои силы, чтобы доказать себе неверность этого, чтобы убедить себя в том, что ошибается, что она его не любит, не может любить, что чувство, которое он к себе возбуждает в ней,— вовсе не любовь, а только ужас, ненависть, отвращение.

Но нет, она знала, что его любит, и терзалась этим чувством, и говорила себе, что перед нею погибель, что она такая же жертва, какою была графиня Зонненфельд, и так же безвременно погибнет, как погибла та. Что сделает он? Каким образом будет ее преследовать, какое оружие употребит для ее погибели — это все равно: она будет бороться с ним и погибнет в борьбе. Она его любит — с этим уже нечего делать, в этом-то и заключается погибель,— но, конечно, никакими муками, никакими терзаниями не вынудит он у нее признания в этом позорном чувстве...

Так было несколько дней тому назад, так было не далее как еще сегодня, а вот теперь уже совсем не то, теперь она уже не страшится своего чувства, уже не может сказать, что ее неминуемо ждет погибель. Правда, в ней мелькнула мысль, что вдруг в этом-то непонятном превращении ее мыслей и ощущений, именно в том, что она неизвестно почему изменила свой взгляд на него и он уже в ней не возбуждает ни страха, ни отвращения, что именно в этом и заключаются ее окончательное падение и его торжество.

Это-то и значит, что он околдовал ее, овладел ее душою, и она погибла...

Но такая мысль мелькнула в ней — и исчезла. Безграничная жалость к нему наполнила ее сердце; и если бы царица сказала ей теперь, что немедленно и навсегда избавит ее от страшного колдуна, что устранит его из ее жизни и судьбы, она стала бы умолять не делать этого. А главное, она уж не могла теперь быть откровенной с царицей и ни за что не призналась бы ей в своих новых ощущениях, в наполнявшей ее жалости к человеку, от которого только что искала защиты.

Между тем Зине невыносимо и мучительно было оставаться одной со своей тайной, ей нужно было найти себе защитника, который бы помог ей выполнить задачу. Да, задачу, и эта задача уже была ясна перед нею: она должна спасти «его», вырвать из мрака и зла его душу, дать ему свет, жизнь и счастье. Когда эта задача открылась ей, она почувствовала мучительный и в то же время блаженный трепет; вдруг ей показалось, что она только что проснулась к жизни, что до сих пор не жила, не существовала, что до сих пор был какой-то сон, а теперь началась действительность, явь. У нее будто выросли крылья, стало так привольно, свободно. Явилась цель жизни.

И девушка вспомнила о добром священнике. Только он может быть ее помощником и защитником, только он все поймет и объяснит ей, укажет путь. Но где он, как найти его?

С этими мыслями она заснула. Что ей всю ночь грезилось бледное лицо с загадочным, могучим и теперь уже не страшным взглядом, что ее сердце всю ночь билось и замирало — это понятно. Но вот что случилось при ее пробуждении: ее горничная заметила ей, что она опять побледнела и вообще плохо поправляется.

— Позвольте вам доложить, барышня, вы бы к отцу Николаю съездили,— говорила горничная,— помолился бы он с вами, и всю хворость как рукой бы сняло.

— Кто это — отец Николай? — с забившимся сердцем и боясь еще верить, спросила Зина.

— А нешто вы, барышня, не слыхали?! Отец Николай — священник, святой человек, он из деревни приехал, старого князя Овинова от смерти спас... Князь уж совсем кончался, а он помолился — и князь ожил... Теперь много народу к отцу Николаю ходит, и всем он помогает...

— Да где же, где он живет? — почти задыхаясь, спросила Зина.

— А в княжеском доме, у самого этого князя Овинова. И доступ к нему свободный, кто хошь приходи... Многие ходят — и из простонародья, и бары...

Зина себя не помнила от радости. Она увидела в этом помощь свыше, Божие благословение ее начинаниям. Как могло быть иначе? Кто же это видел и слышал ее чувства и мысли? Кто в первую же минуту ответил на ее вопросы и дал ей все нужные указания? Ведь не слепой же случай! Она уже ясно сознает теперь и ощущает, что кто-то безгранично могучий ведет и направляет судьбу ее.

В первую же свободную минуту она поехала к отцу Николаю, в дом князя Захарьева-Овинова. И хотя это «его» дом, «он» живет здесь, но ей не было страшно.

Вот все это она и рассказала священнику. Рассказала в кратких словах и о себе, о своем детстве, воспитании, о своем теперешнем положении при дворе и о милостях царицы.

XV

Казалось, отец Николай слушал ее рассеянно и даже о другом думал; казалось, он давно уже знал все то, о чем она ему говорила. Ее голос дрогнул, когда она начала признание в любви своей. Не стыдилась она этого признания, но страшилась: а вдруг священник скажет ей, что чувство ее ужасно и погибельно, что она должна с ним бороться, как с дьявольским наваждением, и побороть его.

Но отец Николай положил ей на голову свою руку и тихо произнес:

— Люби его и спаси своей любовью... Только ты одна и можешь принести ему спасение. Извлеки его из мрака, покажи ему свет — свет добра, любви и милосердия!

Это было именно то, что она и сама себе говорила!

— Батюшка, так научите меня, как мне быть, что мне делать... Я ничего не знаю и не понимаю... Я чувствую, что он на краю погибели, и готова отдать жизнь свою, чтобы спасти его... Но в чем его погибель, от чего спасать его... и как?

— Его погибель в том, что он не знает и не ощущает Бога любви, что он никого и ничего не любит. Он ищет в разуме то, что может найти только в сердце... а сердце его закрыто. Он пошел за мудростью разума и, когда нашел ее, возомнил себя богом, уподобившись падшему ангелу... Но он рожден человеком, способным познать мудрость сердца

и вступить в общение с истинным Богом любви, а посему мудрость разума пригнетает его... Не знаю, понятны ли тебе слова мои?

Зина жадно слушала.

— Понятны, батюшка,— воскликнула она,— я не сумела бы сказать это, но я понимаю...

— Ну так вот, видишь ли... Коли бы раньше все это было — ничего с ним нельзя было бы сделать. Он еще не понимал своего несчастья, он весь был — гордость, выше знания и мудрости своего разума ничего не видел. Таким я его здесь встретил. Но с тех пор в нем перемена большая... Его разум довел его до преступления — ты знаешь о чем я говорю,— он изведал муки, сердце его дрогнуло и почти раскрылось. Теперь он уже сам знает свое несчастье, сам невольно стремится от разума к сердцу... Только не знает пути. И ты покажешь ему путь; через тебя, познав тщету мудрости разума, дойдет он до мудрости сердца... Иначе быть не может... недаром ваша встреча... Господь посылает в тебе ему ангела-хранителя... Слава Тебе, Господи!..

Но Зина опустила голову, ее глаза подернулись слезами, и она задумалась.

— Нет... что же я?.. Разве я могу... разве я умею?.. Разве я достойна?.. И как я все это сделаю?

Отец Николай улыбнулся.

— Ты пришла ко мне с верой, надеждой и любовью, пришла окрыленная... Зачем же дух уныния тебя борет? Не поддавайся ему. Пока — ты достойна, оставайся такою... Можешь ли, умеешь ли, как оно будет... Да зачем же тебе думать об этом? Все будет так, как угодно Богу. Проси Его помощи, верь, надейся, люби; только верь, надейся и люби не на слове, а делом, всей своей душою, каждой минутой своей жизни. Тогда ты увидишь, как вокруг тебя и в самой тебе станет образовываться и развертываться цепь событий, по которым дойдешь, с Божьей помощью проходя звено за звеном, до своей цели. И все события эти будут очень просты, и чудесными, непонятными покажутся они только людям, объятым слепотою. Для человека, пришедшего в общение с Богом, чуящего Его, все в жизни сей просто, ясно и понятно. Такой человек с равным спокойствием плывет и по тихим водам, и по бушующим волнам, ибо надежный кормчий правит его ладьею... Все сбудется... Все от тебя зависит... Ты звана на дело спасения драгоценной души человеческой — будь же не только званной, но избранной!..

Зина не проронила ни одного слова, ни одного звука — и каждое слово, произнесенное отцом Николаем, глубоко

запечатлевалось в ее сознании. Несмотря на свою молодость, она уже о многом думала и знала гораздо больше того, что входило в программу ее институтского образования. Но все, что она знала и о чем думала, было так ничтожно и бледно перед этими немногими словами священника, в которых открылся ей целый новый мир! Она восприняла истину этих слов навсегда, всецело прониклась ею.

— Ну, вот и все! — внезапно изменяя тон, весело и бодро воскликнул отец Николай.— Да благословит тебя Бог, мое дитя доброе и хорошее... Мы будем видеться, и, если надо, я буду с тобою. Иди же с миром и спокойно жди...

— Как мне светло, как мне хорошо... никогда так не бывало! — бессознательно высказала Зина наполнявшее ее чувство, приникая к руке священника.

Она уже уходила, но он остановил ее.

— Подожди-ка... Мне хочется задать тебе одну малую работу!

— Что прикажете, батюшка?

— Бог прикажет, родная!.. Царица благоволит к тебе, царица милостива и справедливость любит; можешь ли склонить на милость и справедливость ее сердце?

И отец Николай рассказал Зине о Метлиных, прося ее похлопотать перед царицей за эту несчастную семью. Конечно, Зина с большой радостью взялась за дело и обещала при первой же возможности доложить обо всем Екатерине.

XVI

Отец Николай проводил свою гостью до порога, еще раз нежно благословил ее и обернулся, полный спокойной радости. Перед ним, держась за ручку отворенной двери, стояла Настасья Селиверстовна. Был миг, когда он даже не узнал ее — такое новое, необычное выражение отразилось на ее лице. Ее щеки побледнели, глаза померкли, подернулись будто облаком печали. Все, что было в ней грубого, невежественного, исчезло. Теперь она, несмотря на деревенский наряд, уж не казалась полумужичкой — это была серьезная, прекрасная в своей природной силе и в своей глубокой грусти женщина.

Но вот злая усмешка искривила ее губы — и впечатление изменилось.

— Уже ускользнула? А жаль! — воскликнула Настасья Селиверстовна, кивая головою по направлению к двери, в

которую вышла Зина.— Право слово, жаль! Я бы с нею поговорила, она бы, царевна-то эта невиданная, Недотрога Кирбитьевна, может, и мне бы в грехах своих покаялась...

— Что ты, Настя, Господь с тобою... За что ты?.. Что она тебе сделала?..— растерянно проговорил отец Николай.

Настасья Селиверстовна неестественно рассмеялась.

— Что уж она могла бы сделать! Она хоть и птица в шелку да в пуху, а я старая дура-деревенщина, а тронь она меня хоть пальцем — и как есть ничегошеньки от нее бы не осталось — пар один! Говори, кто такая? — изменяя тон, повелительно и в то же время как бы трепетно спросила она.

— Тебе-то на что, Настя?

— Кто такая?

Настасья Селиверстовна уж оставила ручку двери и ближе подходила к мужу.

— Девица благородная, Каменева, царицына камер-фрейлина.

— Это что же такое за слово? Как ты сказал?.. Это служанка царская, что ли?

— Нет, слуги — те из простого звания, а это... ну как тебе сказать... ну, наперсница, ближняя боярышня...

Настасья Селиверстовна была озадачена.

— Вишь ты!.. Да верно ли это? Может, Микола, ты это путаешь? Тебе-то что ни скажи, ты, простота, всему поверишь.

— Бог с тобой, Настя; коли говорю, значит, так оно и есть.

— Ну, так я тебе, поп, вот что скажу: куда ты суешься? Твое ли дело с боярышнями да царскими наперсницами знаться? И чего тебе надо? Не в свои сани не садись, знай свой приход, свою деревню, а не то добром не кончится...

Она вдруг притихла, голос ее упал, сделался почти ласковым, и она продолжала:

— Нечего нам с тобою грызться, никакой свары заводить я не хочу, а лучше вот что: сядем-ка мы рядком да потолкуем ладком. Добром прошу тебя: поедем в деревню; пожил здесь, долго пожил — ну и будет. Едем что ли? А?

Она взглянула ему в глаза.

— Теперь об отъезде мне еще нельзя думать... Не от меня зависит...

— От кого же? Уж не от наперсницы ли этой?

Отец Николай добродушно усмехнулся.

— А ведь ты это, Настя, верно сказала: так оно и вы-

ходит, что теперь мой отъезд наиболее всего от нее именно и зависит... Да, от нее...

Огнем вспыхнули глаза Настасьи Селиверстовны.

— Так ты еще надо мною издеваешься?! Ты еще похваляешься?! Где же совесть в тебе? Господи, только этого и недоставало!..

Она задыхалась; еще миг — и должна была произойти одна из тех возмутительных сцен, какими была полна домашняя жизнь отца Николая.

Но вдруг Настасья Селиверстовна замолкла, села на стул, как бы утомленная прислонилась к его спинке и осталась неподвижной.

Отец Николай несколько раз прошелся по комнате. Она не шелохнулась. Необычное грустное выражение ее лица снова поразило его.

XVII

К чему же привел великого розенкрейцера сделанный им опыт? Давно, давно, еще в далекие юные годы он уж понял и почувствовал, что никакие блага мира, никакое земное могущество не в силах удовлетворить его духа и дать ему счастье. Это убеждение и направило его по исключительному и трудному пути, которым он бодро шел всю свою жизнь, стремясь к дивному идеалу сверхчеловеческого знания и могущества. Теперь, уже надломленный тоскою, уже смущаемый невольно сомнениями — а эти сомнения не могли не представляться ему чудовищными и погибельными, так как они грозили обратить в ничто весь великий труд его жизни,— он дрогнул от насмешливых слов Екатерины. В нем заговорили его гигантская гордость и не менее гигантское самолюбие.

Он будет владыкой еще более, несравненно более могущественным, чем она. Он испытает, узнает в действительности то, что до сих пор понимал лишь разумом... Он создал целый новый мир, владычествовал в этом мире и ушел из него по окончании опыта. Кто же прав — он или царица? Конечно, он. Земная власть, выше какой быть не может, земная красота, очаровательнее которой ничего нельзя выдумать, полная чаша земных наслаждений, доступных лишь крайне малому числу избранных смертных,— все это не только его не удовлетворяло, но оказалось гораздо ничтожнее, обманчивее и грубее, чем он предполагал. Он стремительно ушел от всего этого и, когда почувствовал

и увидел себя в иной сфере, вздохнул всей грудью, облегченно и радостно.

«Зачем это был не сон, не бред?.. Зачем я понапрасну загрязнил себя и ослабил свои силы?» — думал он.

Как не сон, как не бред? Разве, возвратясь к действительности, он полагал, что мраморные чертоги, волшебный сад, Сатор и Сильвия — все это было реально, существовало само по себе, вне его воображения? Да, он был совершенно уверен в этом, и ничто в мире не могло убедить его в противном. Он признавал одну действительность — безотносительную, полную, неизменную, действительность жизни духа, мира духовных явлений. Но едва появляются частицы материи, видимые и осязаемые, как тотчас же возникает пестрый, постоянно меняющийся и постоянно преходящий мир форм, создаваемых единореальною творческою силою духа. И чем грубее, материальнее форма, тем она призрачнее. Разве видимые и осязаемые предметы производят одинаковые представления и впечатления во всех людях, животных, в насекомых? Вот человек — не дух, а плоть; его видят, осязают, слышат и чувствуют люди, животные, насекомые; и всем этим существам, видящим его, осязающим, слышащим и чувствующим, он представляется совершенно различным. Так разве он неизменен, то есть реален? Для каждого живого существа он таков, каким оно может, способно его понимать и воспринимать,— значит, он только игра форм, преходящее, призрачное явление...

Захарьев-Овинов знал, что это так: труд и опыт целой жизни доказали ему это. Поэтому ему было легко, естественно и просто понять, что та жизнь, которую он вел в чудных чертогах с Сатором и Сильвией, настолько же реальна, или, вернее, настолько же нереальна, как и эта жизнь его в отцовском петербургском доме. Только эта жизнь ему «дана», а ту он сам «взял». Он мог ее «взять», потому что овладел таинствами природы, потому что долгие годы погружался в дивную лабораторию, где создаются, крепнут и торжествую творческие силы духа...

Как же ему признавать сном и бредом свое владычество, Сатора и Сильвию, когда он знает, что может, если захочет, ко всему этому вернуться? Ему стоит только известным, привычным способом направить свою волю и проглотить несколько капель эссенции, тайна которой открыта ему его учителем-старцем. Эссенция эта в один миг произведет различные изменения в его организме, ослабит материю, освободит дух, поможет воле сосредоточиться, проверить

всю свою творческую силу — и он снова там, среди форм, вызванных им к жизни!

Какой же это сон и бред, когда он может любого человека, обладающего некоторыми качествами, вовсе не редкими в людях, с помощью эссенции и своего желания перенести вместе с собою в мир своего владычества, в общество Сатора и Сильвии, и жить там с ним общей видимой, слышимой, осязаемой и чувствуемой жизнью!..

Да, он может все это, только... только вот он чувствует себя утомленным, ослабевшим и говорит себе: «Зачем я понапрасну загрязнил себя и ослабил свои силы?..» Можно «взять», «создать» себе жизнь, но даже и для великого розенкрейцера это не безопасно, ибо такое творчество легко может оказаться «превышением власти» и подлежать тяжелой ответственности, болезненно отразиться на духовном, то есть единореальном, существе человека.

А главное, поглотивший столько сил опыт оказался жалким, нестоящим, и переход от «созданной» жизни к «данной» явился освобождением, радостью. Но освобождение и радость были только относительны. Прошло немного времени — и великий розенкрейцер почувствовал обычные тоску, томление и недовольство собою. Так жить нельзя... так можно задохнуться... дышать нечем! В чем же разгадка мучительной тайны, не дающейся мудрому и гордому победителю природы?..

Стук в дверь даже заставил вздрогнуть Захарьева-Овинова — так он был далек от всяких внешних проявлений жизни.

Слуга подал ему письмо, пришедшее издалека. Он машинально разорвал конверт и увидел почерк отца розенкрейцеров. Более чем столетнею, но еще твердою рукою великого старца было начертано:

«Сын мой, по получении этого письма моего немедленно соберись в путь и спеши на годичное наше собрание. Я изумлен, что должен писать тебе об этом и напоминать твою обязанность, исполнение которой особенно необходимо для тебя в этом году. Чувствую и знаю, что без письма моего ты бы не явился. Но какие бы обстоятельства ни удерживали тебя, что бы ни происходило в твоей внутренней жизни — бросай все, забудь все и приезжай. Это не совет мой, не просьба, а строгое приказание, ибо пока я как отец могу приказывать моему сыну».

«Отец! — прошептал Захарьев-Овинов.— Что сын твой может сказать тебе и что ты ему ответишь?!»

Да, великому старцу не изменило его ясновидение. Он

знал, в своем далеком уединении, что надо требовать к себе сына, что без отчего строгого приказа тот не явился бы на годичное собрание братьев-учителей, на то собрание, которое должно было стать его последним, высочайшим торжеством. И сын завтра же соберется в путь и явится в назначенный день и час, ибо ослушание немыслимо; он явится, как явятся и все розенкрейцеры высших степеней, рассеянные по различным странам; но лучше бы ему не являться... Смутит его появление, смутит многих, а пуще всего смутит оно великого старца.

XVIII

Время шло. Прошел час, прошел другой, а Захарьев-Овинов сидел неподвижно, с закрытыми глазами, с лицом, прекрасные черты которого почти исказились от глубокого душевного страдания. Письмо выпало из рук его — и он забыл и о самом старце, и о предстоявшем на завтра своем отъезде.

Все яснее и яснее возникало в нем такое представление: ему казалось, что он один среди бесконечного пустого и темного пространства. Бесконечность этого пространства, его темнота не смущали его и не пугали, но сознание собственного одиночества было невыносимо. Один, один! Ни души живой нигде, никогда!.. Но разве это возможно, разве это не бессмысленно?.. И он мчался с безумной, мучительной быстротою и звал отчаянным голосом живое существо, которое бы могло его понять... Но никто не откликался, никого не было. Один, один!..

Никогда, ни разу в жизни у него не было такого отвратительного, страшного кошмара. И он вдруг понял, что вся его жизнь была осуществлением этого кошмара, что он в действительности, в той единственной духовной действительности, которую признавал, был всегда одиноким среди беспредельного пространства. Даже друзья-розенкрейцеры, даже сам отец-старец, даже Елена Зонненфельд ни разу не нарушили этого полного одиночества. Старца и двух-трех братьев он любил головою, Елену любил кровью, но никого из них не любил сердцем, не любил душою. Остальные же люди для него совсем не существовали. Даже брат Николай был для него призраком, на мгновение останавливавшим его внимание и затем бесследно пропадавшим.

Как же он мог жить в этом отвратительном, ужасном

одиночестве? Он мог жить в нем, потому что не замечал его. Жил — и томительно ждал, жил — и скучал, жил — и обманывал себя; все это последнее время жил — и страдал, с каждым часом все сильнее и сильнее.

Но, видно, чаша его страданий переполнилась. Дальше — нельзя. Теперь он видит, понимает весь ужас своего положения, теперь он отчаянно зовет к себе живую душу и знает, что без этой родной души он погиб, что кто бы ни был человек, каких бы высот знания и силы не достиг, но, оставаясь в сердечном и душевном одиночестве, он неминуемо свергнется со своей высоты и расшибется вдребезги.

Он знает это, видит, чувствует, он уж летит вниз с ужасающей быстротою, ощущает смертельный холод бездны под собою и, напрягая последние усилия, зовет, зовет... И нет ответа! Но вот среди безнадежного мрака будто какой луч света, будто чей-то шорох, чье-то приближение. Будто чье-то теплое, живое дыхание коснулось его — и разом трепет жизни пробежал по его измученным, ослабевшим членам. Он ощутил биение своего сердца, новое, отрадное биение. Будто что-то таяло в груди его. Неизведанная сладостная теплота охватила его...

И он почувствовал с восторженной, небесной радостью, с неизъяснимым блаженством, что он не один...

Все исчезло. Он совсем очнулся. Ясность и тонкость ощущений пропали. Не было остроты и невыносимости недавних страданий, но также не было и живительной теплоты, только что испытанной. Восторженная радость полувспомнилась, как отлетевшая, ускользнувшая греза, которую при пробуждении невозможно уловить и вспомнить...

Голова его была тяжела. Он чувствовал себя утомленным. Его потянуло на воздух. Он оделся и вышел из дому с намерением пройтись, освежиться. Сойдя с крыльца, он подошел к воротам во дворе и услышал близко от себя слабый радостный возглас.

Перед ним была Зина — она в это время, выйдя от отца Николая, высматривала свою карету, оставшуюся на улице и почему-то отъехавшую довольно далеко от ворот.

— Вы здесь?.. Каким образом?..— спросил он, и голос его дрогнул, в глазах сверкнула радость; но он не дал себе отчета ни в смущении своем, ни в своей радости.

— Да к чему я спрашиваю,— продолжал он,— вы были у моего брата... Николая...

— Брата?

Она подняла на него изумленные глаза.

— А вы не знали, что Николай — брат мне двоюродный, что мы с детства были вместе, вместе выросли? И он не сказал вам этого?

— Нет, князь, он не сказал мне... Боже мой, как это хорошо, как я рада!

Она ничего не понимала, не могла вообразить, как такое может быть; но вот оно так — и большая радость наполняет ее.

Вообще Захарьев-Овинов увидел в ней большую перемену. Он мог убедиться, как послушно ее душа исполняет его приказания: она его не боится, она глядит ему прямо в глаза своими ясными, по-детски чистыми глазами. Неуловимая покинувшая его греза, блаженство и тепло на миг вернулись в его сердце. Но это слишком долго одинокое, охладевшее сердце все еще само себя не понимало и отдаляло свое выздоровление, свое возрождение. Он все еще считал себя ее будущим путеводителем, охранителем, наставником, отцом и братом, в своей гордыне не понимая, что сам должен умолять ее поднять его, спасти и исцелить.

— Я радуюсь нашей встрече,— сказал он, сжимая ее руку,— завтра я уезжаю за границу, и на долгое время.

Она испуганно на него взглянула, сердце ее почти перестало биться. Но это было один миг: ей вспомнились слова отца Николая, и спокойствие вернулось к ней.

— Но я вернусь,— продолжал он,— мы будем встречаться, мы встретились не случайно.

Он сказал ей то, что ей надо было от него услышать.

— Прощайте,— серьезно и спокойно произнесла она,— когда вы будете далеко, там, куда вы едете, иногда вспоминайте обо мне... я буду за вас молиться...

Ее карета подъехала. Миг — и она уж захлопнула за собою дверцу.

Ему захотелось вернуть ее, сказать ей что-то очень, очень важное, необходимое. Ему захотелось ослушаться старца, не уезжать... Но он отогнал от себя эти мысли.

На следующий день все было готово к его отъезду. Он пришел проститься с отцом и застал у него отца Николая. Старый князь был с виду спокоен и довольно бодр.

— Куда ты едешь — не спрашиваю,— сказал он,— это не мое дело, но желал бы знать, когда вернешься.

— Я напишу вам об этом, батюшка, теперь же сам еще определить не могу. При первой возможности приеду.

— Я буду ждать тебя,— со вздохом произнес князь.

— Вот и он тоже говорит, что придется мне тебя дожи-

даться... Дай-то Бог, поскорей бы! — прибавил он, кивнув на отца Николая.

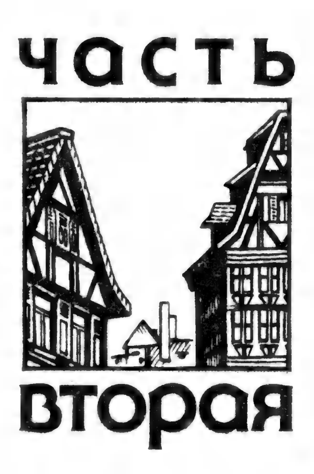
Тот посмотрел на брата очень внимательно, прямо в глаза, будто стараясь прочесть в них что-то.

— Может, наш князь вернется и скорее, чем сам думает,— сказал он и подошел прощаться.

Старый князь почувствовал что-то новое, необычное, когда сын поцеловал его руку: это было не прежнее холодное прикосновение. Отец Николай тоже ощутил теплый братский поцелуй на губах своих.

— Я бы остался, хотелось бы остаться, да ехать необходимо! — невольно вырвалось у Захарьева-Овинова, когда он выходил из отцовской спальни.

Как это было на него непохоже! Старик и священник переглянулись.


часть
вторая

I

Осеннее, но все еще теплое солнце заливало улицы Страсбурга. По направлению к Кельскому мосту стремились толпы народа. На самом мосту и на набережной замечалось необыкновенное оживление. Из окрестных ресторанов и кабачков была вынесена, кажется, вся мебель, и каждый стул отдавался внаем за большую плату. Сразу даже нельзя было понять, что это такое происходит, только на всех лицах ясно читались возбуждение, любопытство и ожидание.

Мужчины и женщины, собираясь в кучки, вели между собою оживленную беседу. Вслушиваясь в эти разговоры, можно было наконец мало-помалу понять, что кого-то ждут, кто-то должен въехать в город через Кельский мост.

К одной группе из нескольких пожилых людей вскоре подобрался старик, очень бедно, даже чересчур бедно одетый, с трясущейся головою, с бегающим, не то пугливым, не то дерзким взглядом. Он некоторое время стоял, вслушиваясь в разговор. Важного вида человек, одетый во все черное, объяснял:

— Проникнуть в эту тайну мудрено, но нет сомнения, что он делает людям столько добра, сколько давно никто не делал. Да, добро, им делаемое, так велико, что нельзя его признать иначе, как за доброго гения...

— Что же говорят о нем? Кто он такой?— раздалось сразу несколько голосов.

Говоривший глубокомысленно пожал плечами.

— Кто он — этого никто не знает. Он совершает чудеса, у него, говорят, бывают небесные видения, он беседует с ангелами...

— Беседует с ангелами!— внезапно оживляясь и трясясь всем телом, воскликнул бедно одетый старик.— Сколько лет этому человеку? Ради Бога, сколько ему лет?

— Сколько лет! Да может быть столько, сколько нашему отцу Адаму или графу Сен-Жермену!— с усмешкой отвечал ему сосед.— Чего тут спрашивать о его годах! Разве для таких необычайных людей, для таких благодетелей человечества существуют метрические записи? У подобных людей нет возраста, или, вернее, им столько лет, сколько они желают, чтобы казалось. Многие говорят, что графу Калиостро более трех тысяч лет, но на вид ему нельзя никак дать более тридцати шести. Вот мы через полчаса — через час сами об этом судить будем.

Но трясущийся старик уже не слышал и отошел от говоривших.

— Тридцать шесть лет... тридцать шесть лет!— шамкал он про себя беззубым ртом.— Тому негодяю теперь должно быть столько же... И с ним беседуют ангелы... А что, если это он самый и есть? Останусь непременно, я должен его увидеть...

Время проходило. Толпы любопытных густели. Мальчишки то и дело бегали за мост и возвращались с вестями. Вот, наконец, они бегут, машут платками и кричат во все горло:

— Едут! Едут!

Все устремились ближе к мосту, напирая друг на друга, взбирались на стулья, ломая их. Раздались женские взвизгивания, послышалась брань, потом все стихло.

За мостом, в залитой солнцем дали, показалось что-то. Это «что-то» двигалось все ближе, ближе, и теперь уже можно было различить несколько экипажей, въехавших на мост. Потом показались всадники, целый кортеж... Можно было подумать, что это въезжает в город король,— такое множество экипажей и всадников, прислуги в расшитых золотом ливреях, возов, нагруженных тюками, сопровождало богатую открытую коляску.

Толпа крикнула в один голос и замахала шапками и платками: в этой открытой коляске важно, с олимпийским спокойствием восседал красивый стройный человек с энергичным лицом и блестящими черными глазами. Одежда его поражала своим великолепием, драгоценные камни так и сверкали на нем в солнечных лучах. Рядом с ним помеща-

лась прелестная молодая женщина, красота которой спорила с богатством наряда.

— Да здравствует божественный Калиостро! Да здравствует благодетель человечества!— раздавалось в толпе все восторженнее и неудержимее, и красивый сверкавший драгоценностями человек приподнимал свою маленькую треугольную шляпу, украшенную галунами и белыми страусовыми перьями, и кланялся с таким величием, с такой благосклонной улыбкой, с такой торжественностью и грацией, каким мог позавидовать любой король.

Его спутница тоже кивала направо и налево своей хорошенькой головкой и отвечала милыми улыбками на каждый букет цветов, прилетавший к её ногам. Скоро граф Калиостро и его жена, хорошенькая Лоренца, были буквально засыпаны душистыми цветами.

Теперь экипаж подвигался шагом: густая толпа окружала его со всех сторон. Фанатический восторг изображался на всех лицах, приветственные крики повторялись все громче и громче.

Но вот к коляске, отчаянно работая локтями, протиснулся бедно одетый старик с трясущейся головою; вот уже он у самой дверцы, уже ухватился за нее и, впившись взглядом своих слезящихся глаз в лицо Калиостро, крикнул:

— А, это ты, Джузеппе Бальзамо! Это ты, негодяй! Отдай мне мои шестьдесят унций золота! Отдай шестьдесят унций золота, слышишь?! Ты украл их у меня — отдай!

Старческий голос был полон злобы, но в нем звучала такая уверенность, такая сила правды, что толпа мгновенно притихла; экипаж остановился.

Лоренца слабо вскрикнула, а Калиостро вздрогнул. Но еще миг — и то же спокойное величие было на лице знаменитого путешественника. Он будто не слышал слов старика, будто не видел эту ужасную в своей злобе, в своем безобразии фигуру, ухватившуюся за дверцу коляски. Вместе с тем над онемевшей толпою неведомо откуда — будто сверху, будто с неба — прозвучал громкий голос: «Устраните безумца, одержимого адскими духами!»

Многие упали на колени при звуках этого голоса, пораженные вместе с тем спокойствием графа Калиостро. Несколько сильных рук сразу протянулись к дрожавшему старику и оттащили от коляски. Он слабо бился, силился крикнуть что-то, но ему связали руки, всунули в рот платок и увлекли подальше в сторону.

— Да здравствует благодетель человечества!— крикну-

ли разом сотни голосов, и новые цветы посыпались в коляску.

Толпа начала расступаться, и коляска, сопровождаемая всадниками и другими экипажами, теперь уже свободно катилась по городским улицам. Народ бежал следом, весело крича, а из окон домов мужчины и женщины махали платками, бросали цветы. Так продолжалось до тех пор, пока коляска не остановилась перед большим зданием, вокруг которого уже ожидала новая толпа.

Весь Страсбург знал, что это здание вот уже около месяца было нанято посланцем знаменитого графа Калиостро и устроено для помещения многочисленных больных. Теперь к его приезду здесь было собрано более двухсот мужчин, женщин и детей, страдавших самыми различными недугами. В толпе уже знали, что божественный Калиостро, осчастлививший Страсбург своим посещением, намеревается прожить здесь долгое время — по крайней мере, так казалось, потому что для него был отделан с необыкновенным великолепием роскошный дом. Знали также, что он, прежде чем отдохнуть с дороги, желает оказать свое первое благодеяние городу Страсбургу — излечить всех больных, собравшихся в его лечебнице.

Калиостро ловко соскочил со ступеньки экипажа, сам вынес из него прелестную Лоренцу и, взяв её под руку, в сопровождении огромной свиты и множества любопытных вошел в подъезд лечебницы. Здесь в большой зале находились все больные.

Великолепный граф, не отпуская от себя Лоренцу, подходил к каждому, каждому глядел в глаза своими проницательными черными глазами, клал руку то на голову, то на плечи больных, говоря при этом: «Теперь вы свободны от вашей болезни, она прошла и не вернется, вы здоровы», — и шел дальше. И все эти мужчины, женщины и дети, за мгновение перед тем страдавшие и жалобными стонами выражавшие свои страдания, от прикосновения знаменитого целителя, от его слов, объявлявших им об их исцелении, мгновенно чувствовали себя действительно освобожденными от болезни.

Когда Калиостро обошел всех и без всяких признаков утомления направился уже обратно к выходу из залы, все эти больные как один человек стеснились вокруг него, упали перед ним на колени и благодарили за свое исцеление.

В числе пробравшихся в залу за чудодеем было и несколько скептиков — городских врачей и иных лиц, смеявшихся над божественным Калиостро, не веривших в него.

Эти люди теперь решительно не знали, что думать, ибо были свидетелями действительного чуда. Чудо это совершилось на глазах у сотен людей, о чуде этом через час будет знать весь город, и им не останется никакой возможности опровергнуть то, чему и сами они были свидетелями. Они заранее, еще утром, собрались здесь, так как в лечебницу пускали всех и всем разрешали беседовать с больными. Из расспросов, из вида этих людей они хорошо знали, что это не притворщики, что это была вовсе не комедия, здесь собрались настоящие больные, страдавшие самыми разнообразными недугами,— и вот они здоровы!..

— Да здравствует божественный Калиостро! Да здравствует благодетель человечества!— еще неудержимее раздаются голоса кругом, сопровождая великолепного графа и его подругу от лечебницы до самого отеля, где их ждет отдых, а затем прием именитых людей города Страсбурга и богатое пиршество.

II

Европейское общество последней четверти XVIII века совмещало в себе две крайности: с одной стороны, подготовлялось так называемое царство разума, то есть опрокидывание — кровавое, беспощадное и бессмысленное — всех издавна сложившихся устроев жизни, за ужасами которого следовал грубый материализм. С другой стороны, никогда еще даже в самых, казалось бы, просвещенных умах не кипело такой безумной жажды чудесного, таинственного, необычайного. И следствием этого являлось иной раз почти детское легковерие. Эти две противоположности, две крайности уживались не только в целом обществе, но даже и в отдельных лицах наперекор здравому рассудку, они могли совмещаться: один и тот же человек являлся сегодня отрицателем, а назавтра впадал в удивительный фетишизм.

Во французском же обществе более, чем в обществе какой-либо другой страны, проявлялось подобное странное качество. Французская натура весьма впечатлительна, сенситивна, нервна, а потому французы ранее других почувствовали в воздухе, которым дышал весь западноевропейский мир, какую-то духоту, как бы сгущение электричества, как бы приближение страшной грозы. Слепая, стихийная сила надвинулась на Европу, жизнь выходила из своей обычной колеи, воздух наполнялся чем-то вредным, раздражающим,

сдавливающим дыхание; ни ум, ни чувства не находили себе исхода и метались то в одну, то в другую сторону.

Только этим болезненным настроением и можно объяснить продолжительность и необычайность успеха такого, хотя бы и действительно исключительного, человека, как Калиостро. Положительно ни один из людей, оставивших свои имена в истории последней четверти XVIII века, не пользовался такой громадной популярностью, как Калиостро. Пройдет еще немного лет со времени описываемых дней появления его в Страсбурге, и его бюсты будут красоваться чуть не в каждом французском доме; весь Париж, первый центр европейского просвещения, будет нарасхват раскупать эти бюсты и с благоговейным молитвенным трепетом читать надпись на них: «Божественный Калиостро». Изумительному иностранцу будут воздаваться царственные почести, и сам король Франции издаст указ, по которому малейшее оскорбление, нанесенное Калиостро, будет признаваться оскорблением величества.

Теперь Калиостро, недавно изгнанный из Петербурга по приказу Екатерины и как бы забывший уже имя графа Феникса, под которым он был известен в России, еще не достиг вершины своей славы, но уже быстро восходил на эту вершину.

Задолго до его приезда в Страсбург, как мы уже видели, весь город ожидал его. Его ловкие эмиссары распустили среди населения самые разнообразные, самые невероятные о нем слухи, и этим россказням почти все верили.

День его появления был первой решительной победой, одержанной им во Франции. Весть об излечении им больных молнией пролетела по городу, и вечером к столу в его отеле собралась вся страсбургская знать, считая для себя за честь воспользоваться его приглашением.

Калиостро и хорошенькая Лоренца встречали гостей среди поистине царственной обстановки. К этому зрелищу приглашенные уже были приготовлены, но все же оно превзошло самые смелые их ожидания. Нельзя было не восхищаться обширными залами отеля, где богатство соединялось со вкусом и где в обстановке было даже что-то сказочное. Если бы из числа страсбургцев, вступивших теперь в отель Калиостро, был кто-нибудь, знакомый с петербургским дворцом светлейшего князя Потемкина-Таврического, то он понял бы, откуда у Калиостро взялся этот капризный восточный вкус, с каких чертогов при устройстве своего отеля он делал копию: эта удивительная, таинственная и прелестная гостиная, посреди которой Калиостро и Ло-

ренца любезно принимали приезжающих, воспроизводила абсолютно точно, во всех мельчайших подробностях одну из гостиных потемкинского дворца.

Но никто из жителей Страсбурга не только не бывал в чертогах русского всесильного вельможи, а даже и о России имел самые смутные и фантастические представления. Никто не делал никаких сравнений, все только восхищались, и великолепие обстановки еще более содействовало тому благоговейному трепету, с которым приглашенные подходили к Калиостро. Многие из них принадлежали к старым дворянским фамилиям, занимали высокие должности, обладали значительным состоянием и по своему характеру являлись людьми независимыми, гордыми, даже чванными. Но все эти их свойства мгновенно исчезали перед Калиостро. Эти гордые, чванные господа обыкновенно принижались в его присутствии, склонялись перед ним, как перед королем. И если бы Калиостро пожелал только, они стали бы целовать его руку. Все наперебой в самых отборных выражениях объявили знаменитому иностранцу и его хорошенькой подруге, до какой степени счастливы, видя их в стенах старого города Страсбурга, и при этом с жадным любопытством спрашивали, долго ли Страсбург будет иметь счастье считать в числе своих жителей графа Калиостро и его супругу.

Калиостро всем отвечал, что он приехал сюда вовсе не с тем, чтобы уехать, но что продолжительность его пребывания в городе будет зависеть от самого города. Он слишком много путешествовал, и ему пора отдохнуть; если ему будет хорошо здесь, если он увидит, что может делать действительное добро жителям, то никуда и не уедет.

И все оставались необыкновенно довольны этим ответом.

Один за другим гости подходили к Калиостро, сопровождаемые своими женами, сыновьями, дочерьми, и почтительно представлялись, объясняя подробно свои имена, титулы и звания. Затем мужчины целовали руку у Лоренцы и отходили. Для каждого и для каждой и у Калиостро и у Лоренцы были ласковое слово, любезная улыбка, крепкое пожатие руки.

Во время этого торжественного представления все же, однако, не обошлось без несколько комичных сцен. Так, например, один набожный страсбургский сановник, толстый и красный, с добродушным и в то же время серьезным лицом, остановился перед Калиостро и громоподобным голосом на всю гостиную потребовал, чтобы тот дал ему честное слово в том, что не знаком с дьяволом.

Калиостро хотел было обратить это в шутку, но толстый господин так наступал на него, а на всех лицах выразилось такое внимание, что он немедленно принял серьезный вид и дал требуемое от него слово. Но и тогда толстяк все еще не успокоился; он снял с себя крест и заставил Калиостро перекреститься и поцеловать крест. Когда и это было исполнено, он вздохнул полной грудью и, опять-таки на всю гостиную, проговорил:

— Ну, теперь можно и поесть, и выпить, а то шел сюда и все думал: а что, коли все это — одно только дьявольское наваждение? Посадят за стол, начнешь есть, проглотишь кусок — а вдруг это не мясо, а камень; выпьешь стакан доброго вина — а вдруг это не вино, а адский пламень. Ну, вы сами знаете, господа, что такое камень, облитый адским пламенем, да еще в человеческом желудке! С одним из моих предков случилось вот именно такое...

И уже хотел даже рассказать эту историю, но его не слушали: дверь в обширную, в два света, столовую распахнулась, и громкий голос разодетого в золото дворецкого провозгласил, что обед подан.

Надо сказать правду, нашлось немало гостей, как мужчин, так и женщин, которые с благодарностью глядели на толстого сановника: те сомнения, о которых он говорил, были и у них, только они не решались, конечно, их высказать. Теперь сомнений не оставалось: таинственный хозяин перекрестился и поцеловал крест — значит, можно пить и есть. И гости отдали полную честь роскошному хозяйскому обеду.

Калиостро был очень оживлен и очаровывал всех своими рассказами о путешествиях по различным странам, о самых необыкновенных явлениях природы, о многом неслыханном и чудесном, чему сам был свидетелем. К концу обеда он уже совсем перестал стесняться: толковал как очевидец о таких событиях, которые происходили за несколько сот лет перед тем, и никому даже в голову не могло прийти изумляться этому. Если бы он объявил своим мелодичным голосом с южным неправильным акцентом, что он старший брат Адама,— и в этом ему теперь поверили бы.

III

Наконец обед кончен. Гости приглашены из столовой в прекрасный зал, где было можно свободно поместить более тысячи человек. Яркий свет бесчисленных ламп наполнял эту прекрасную комнату, белые блестящие стены которой были украшены лепной работой, изображавшей таинствен-

ные предметы, очевидно, имевшие оккультное значение. Вообще весь этот зал был отделан в древнеегипетском стиле, и на входивших в него со всех сторон глядели изображения сфинксов и иероглифы. Нежным и ласковым голосом Лоренца объявила гостям, что скоро начнется сеанс «голубков». Гости затаили дыхание, у многих вырвались возгласы восторга, иных пробрала дрожь панического страха.

Дело в том, что в числе необыкновенных рассказов, всюду распространяемых эмиссарами Калиостро, на первом плане всегда стоял рассказ о чудесах, производимых «голубками». Все уже знали, что под этим именем следует понимать вовсе не птиц, а детей — мальчиков и девочек от семи- и до десятилетнего возраста, посредством которых выражается необыкновенная сила графа Калиостро и происходят удивительные ясновидения, а также сношения с миром ангелов.

В обширных печатных и рукописных материалах, относящихся к Калиостро, сохранился рассказ очевидца об этом первом его сеансе «голубков» в Страсбурге. И вот что заключается в этом рассказе.

«Голубки», посредством которых Калиостро мог сноситься с миром чистых духов, должны были обладать полнейшей детской чистотою и невинностью. Из множества приведенных к нему детей Калиостро выбрал шесть мальчиков и шесть девочек, которые показались ему особенно подходящими, и поручил их Лоренце. Она удалилась с ними из залы и через несколько минут вернулась, а шесть мальчиков и шесть девочек следовали за нею, но уже совершенно преображенные: дети были одеты в длинные белые туники, перетянутые золотыми поясками; волосы их тщательно расчесаны и надушены какой-то особой ароматической эссенцией.

Калиостро подвел этих детей к мраморному, поставленному посреди зала столу, на котором стоял сосуд, наполненный водою. Затем разместил «голубков» вокруг стола, заставил их взяться за руки, так что они образовали непрерывную цепь, и произнес над ними какие-то заклинания на непонятном языке, каждого по очереди заставляя глядеть в сосуд с водою. Все эти шесть мальчиков и шесть девочек, поглядев в воду несколько мгновений, восклицали, что они видят ангелов.

Тогда Калиостро вышел из зала и вернулся в новом костюме. Между присутствовавшими пронесся говор, что это одеяние Великого Копта. Как бы то ни было, он вошел

в длинной прямой одежде из черного шелка, по которому были вышиты красные иероглифы; на голове у него был золотой убор египетского иерофанта, сдерживаемый на лбу обручем, состоявшим из драгоценных каменьев, а на груди красовалась зеленая длинная лента, вся расшитая золотом и тоже сверкавшая драгоценными камнями. На широком красном поясе висела шпага, заканчивавшаяся рукоятью в форме креста. В этом странном костюме он был особенно красив, а на лице его выражалось такое величие, такая необыкновенная важность и вообще от всей его фигуры веяло такой таинственностью, что все собрание притихло под влиянием мистического ужаса и почтения.

Торжественной поступью подошел он к столу, возле которого стояли «голубки». Внезапно, неведомо откуда, появились два служителя в одежде египетских рабов, как они изображены на фивских памятниках. Служители подвели детей к Великому Копту, и каждому из детей он клал руку сначала на голову, потом на глаза, потом на грудь, в то же время другою рукой делая над ними странные знаки.

После этой первой церемонии один из служителей поднес Калиостро на белой бархатной подушке маленькую золотую палочку. Калиостро взял её, постучал ею по столу и спросил:

— Что делает в эту минуту человек, который сегодня утром при въезде в город, вздумал оскорбить Великого Копта?

Дети наклонились к сосуду с водою, стали глядеть в него, и вдруг одна маленькая девочка крикнула:

— Я вижу его — он спит!

Шепот удивления пронесся по залу, хотя, собственно говоря, в восклицании девочки не было ровно ничего изумительного: мало ли что ей могло показаться! И какая же возможность была проверить сказанное ею?

Эта мысль невольно мелькнула у некоторых из гостей, еще сохранивших известную долю хладнокровия. Великий Копт, очевидно, понял это, а потому, обращаясь к собранию, сказал:

— Всякий может задать теперь вопросы и затем проверить ответы. Именно все и дело в этой проверке, а без неё в ответах «голубков» нет ничего интересного.

Тогда гости, в особенности дамы, заволновались; наконец одна из них робко возвысила голос и спросила, что делает её мать, находящаяся теперь в Париже.

Один из «голубков» ответил, что её мать теперь присутствует на спектакле и сидит между двумя стариками; но

проверить это было так же трудно, как и ответ на первый вопрос, заданный самим Калиостро.

Спросившая дама почувствовала на себе несколько насмешливых взглядов, смутилась, замолчала и села на свое место. Но первый шаг уже был сделан, желающих спрашивать оказывалось теперь много. Вот новый женский голос спрашивает:

— Сколько лет моему мужу?

Проходит несколько мгновений — и никакого ответа. Тогда раздаются восторженные возгласы мужчин и дам, окружающих ту, которая спросила; гости даже захлопали от восторга в ладоши. Дело в том, что ответа никакого «голубки» и не могли дать, так как спросившая дама была не замужем.

Таким образом, первое поползновение расставить сети Великому Копту и его «голубкам» не привело ни к чему, и уже никому в голову не приходило продолжать подобные выходки.

Калиостро с довольной улыбкой обратился к собранию.

— Я предлагаю каждому,— сказал он,— написать что-нибудь на бумажке, затем заклеить эту бумажку и передать её кому-либо на хранение, чтобы потом ее распечатать и прочесть во всеуслышание.

Еще не совсем понимая, что из этого будет, третья дама написала несколько слов на любезно предложенной кем-то из присутствующих бумажке, аккуратно свернула ее и передала соседу.

Тогда Калиостро обратился к «голубкам» и велел им смотреть в воду.

— Кто-нибудь их них сейчас увидит в воде ответ на вопрос, заданный письменно,— объявил он.

И действительно, маленький девятилетний мальчик закричал:

— Я вижу слова в воде... слова, но они не совсем ясны...

— Смотри пристальнее! — спокойно и торжественно сказал Калиостро.— Сейчас слова эти будут явственны, так что ты сможешь их прочесть.

Мальчик внимательно и жадно глядит в воду. Вот проходит несколько мгновений, и он радостным голосом сообщает:

— Теперь ясно, теперь видно каждую букву...

— Читай!

Мальчик громко прочел: «Вы его не получите!»

Тут все кинулись к господину, державшему заклеенную бумажку, развернули ее и стали читать. Дама написала: «Получу ли я согласие короля на мою просьбу о том, чтобы сыну моему был дан полк?»

Никто не мог скрыть изумления и восхищения, и только дама, написавшая это, оказалась смущенной: если написанное ею угадано и если ответ прочтен правильно мальчиком в воде, то уже не может быть никакого сомнения в верности этого ответа — ее сын не получит полка. Она готова была плакать.

Как бы то ни было, наиболее сомневавшиеся из гостей графа Калиостро были теперь убеждены. Один только тучный краснолицый господин, заставивший перед обедом Великого Копта дать ему слово, что он не знаком с дьяволом, перекреститься и поцеловать крест, снова почувствовал в себе присутствие духа сомнения. Он подобрался к своему сыну и приказал ему незаметно выйти из зала, как можно скорее бежать домой, узнать, что делает в эту минуту его мать, и затем вернуться сюда.

Молодой человек, которому вовсе не хотелось, хотя бы и на короткое время, уходить и который жадно, влюбленными глазами следил за прелестной Лоренцой, тем не менее, не смея ослушаться отцовского приказа, вышел из зала. Тогда сомневающийся толстяк выступил вперед, несколько покачиваясь. Успокоенный на счет дьявола, он за обедом хорошо познакомился со всеми винами погреба графа Калиостро; лицо его пылало, глаза метали искры. Громовым голосом, обращаясь к «голубкам», он спросил:

— Что делает в настоящее время моя жена?

Дети некоторое время глядели в воду, но молчали, и вдруг неведомо откуда — как бы из воздуха, как бы с потолка — раздался звучный голос:

— Ваша жена теперь играет в карты с двумя соседками.

Этот неведомо откуда раздавшийся таинственный и странный голос поверг в трепет не только дам и девиц, но и многих мужчин. Даже сам толстяк едва удержался на ногах, бормоча:— Черт возьми! Вот так штука!

Однако он быстро оправился и объявил, что сейчас все узнают, правду ли сказал голос, ибо послал домой сына, который вот-вот должен вернуться.

Теперь все взгляды устремились на дверь. Наконец молодой человек появился. Не успел он еще войти, как толстяк крикнул ему:

— Говори сейчас, что делает твоя мать?

— Я застал ее играющей в карты с нашими соседками, госпожой Дюперу и госпожой де ла Маделонет,— отвечал молодой человек.

Трепет не то восторга, не то ужаса прошел по залу; некоторые дамы не выдержали и, закрыв лицо руками, не владея собою, кинулись вон из зала, а затем и из этого отеля, где совершались такие неслыханные чудеса.

IV

Случайно либо нет, но «голубок» сказал правду: бедный старик с трясущейся головою, который ухватился за дверцу коляски Великого Копта, назвал «божественного благодетеля человечества» негодяем и требовал от него шестьдесят унций золота, спал. Он спал в маленькой грязной мансарде в самом бедном квартале Страсбурга. Его изрядно помяли, оттаскивая от коляски; потом он, напрягая все свои силы, освободился из рук тащивших и бивших его людей, затерялся в толпе и исчез. И, считая себя в безопасности,— ему на ум не пришло, чтобы кто-нибудь мог следить за ним,— он побрел по улице и кое-как, охая от боли, дотащился до своей мансарды.

Он даже не подумал об обеде, не чувствовал голода, лег на жесткий матрац, подложив себе под голову какое-то тряпье, и предался своим думам.

В нем поднялась бесконечная злоба, временно забытая и отодвинутая на задний план необходимостью защищаться и спасаться бегством. Но теперь, в безопасности, он всецело предался этой злобе. Время от времени старик приподнимался на кровати и громко бранился, изыскивая самые ужасающие проклятия, обращаемые им на голову того, кого так торжественно встретил город Страсбург.

Откуда же взялась эта злоба, эта ненависть к Великому Копту? Что общего было между нищим стариком и божественным Калиостро? Почему старик, как безумный, уцепился за коляску и кричал о своих шестидесяти унциях золота? Для того чтобы понять это, надо вернуться назад за двадцать лет в Палермо. Старик этот был оттуда родом, звали его Марано. Тогда он вовсе не был жалким нищим, и хотя жил довольно бедно, но эта бедность являлась только кажущейся и происходила от скупости Марано.

Марано был ростовщик. Жадность и скупость соединялись в нем, как это очень часто бывает, с различными предрассудками, с верою во все таинственное. У него была одна цель в жизни — деньги, и для достижения этой цели

он не раз уже сходился со всевозможными шарлатанами, которые в конце концов его обманывали. Он по целым годам только и искал встречи с людьми, которые пытались получить философский камень, и на эти таинственные опыты уже употребил немало денег. Конечно, так он ничего и не добился, разочарование следовало за разочарованием, но Марано был неисправим.

Вот с некоторого времени он прослышал об одном юноше, тоже обитателе Палермо, жизнь которого была полна необыкновенной таинственности. Юношу этого звали Джузеппе Бальзамо, ему тогда было всего семнадцать лет, но, несмотря на этот нежный возраст, он уже пользовался в Палермо большой известностью, ему приписывалась сверхъестественная власть. Родители его были бедные, простые люди, но, несмотря на это, он сумел пустить слух, что вовсе не сын этих бедняков, а происходит от какой-то великой азиатской принцессы. Ему тем более легко было убедить в этом легковерных людей, что вид его и манеры совсем не подходили к тому кругу, в котором он вырос. Он был очень красив, держал себя важно, с большим достоинством, относился ко всем свысока и в то же время умел привлечь каждого своим обаянием. Его магнетическое влияние было неотразимо. Стоило ему поглядеть пристально в глаза кому-либо, подержать кого-либо за руку — и этот человек уже чувствовал к нему симпатию, бессознательно ощущал какую-то с ним связь, подпадал под его влияние. Говорить Джузеппе был мастер, фантазия его не знала пределов.

Все эти свойства помогали ему вести в Палермо очень веселую жизнь, легко добывать деньги и спускать их, не думая о завтрашнем дне. В нем была еще одна особенность: он умел, когда дело касалось его лично, напустить на себя такую таинственность, под которой, казалось, скрывается н е ч т о, полное значения и необычайности. Весьма многие в Палермо были совершенно уверены, что он вызывает духов, постоянно находится в общении с ангелами, что при их посредстве узнает самые скрытые вещи и вообще много чрезвычайно интересного.

Марано долго прислушивался к этим рассказам о Джузеппе Бальзамо, и наконец ему страстно захотелось познакомиться с этим другом небожителей. Сделать это было нетрудно, и скоро один из знакомых Марано привел к нему знаменитого молодого человека.

Когда еврей остался наедине с другом небожителей, он опустился перед ним на колени и почтительно поцеловал ему руку.

Бальзамо принял эти знаки почтения как должное, а затем ласково поднял ростовщика с полу и спросил, чем может быть ему полезен, зачем тому так понадобилось свидание с ним.

Все лицо еврея, обыкновенно выражавшее недоверчивость, пугливость и жестокость, мгновенно преобразилось — оно сделалось слащавым. Голос его дрожал, когда он произнес:

— Синьор! Благодаря вашему общению с духами вам, конечно, это очень легко было бы самим узнать, если бы вы того захотели, и вы, конечно, отлично понимаете, чего мне надо. Вы легко можете мне помочь вернуть все те деньги, которые я потерял благодаря обманщикам и лжеалхимикам, и не только вернуть, но и дать возможность приобрести гораздо больше. Умоляю вас, не откажите мне в этом! Вы молоды, у вас не может быть черствого сердца — пожалейте несчастного обманутого человека. Вам ничего не стоит сделать меня счастливым.

— Я с удовольствием окажу вам эту услугу,— важно сказал Бельзамо,— но для этого нужно, чтобы вы мне доверились.

Марано так и задрожал весь от радости.

— Бог мой! Я ли не доверяю вам! Только прикажите — все сделаю.

И в его словах действительно заключалась правда: с этой минуты его доверие к Бальзамо было безгранично, потому что ему постоянно чудились слитки золота, которое, как ему казалось, он легко может получить при помощи удивительного юноши.

Со своей стороны, Бальзамо прекрасно видел и понимал это и решил воспользоваться фанатизмом еврея и его жадностью. Он назначил Марано свидание на следующий день за городом в ранний утренний час.

Конечно, Марано не заставил себя ждать, он был на месте раньше условленного времени.

Они встретились у часовни, находившейся за городскими воротами. Бальзамо не произнес ни одного слова, сделал знак еврею следовать за ним, что тот, конечно, исполнил тоже в полном молчании. Шли они около часу и наконец остановились в пустынной местности возле какой-то пещеры. Тогда Бальзамо указал еврею на пещеру и произнес:

— В этом подземелье скрыт огромный клад. Мне запрещено самому им воспользоваться: я не могу ни взять его, ни употребить для себя без того, чтобы не потерять моего могущества и моей чистоты. Клад этот сторожат адские ду-

хи; но дело в том, что адские духи могут быть в мгновение обессилены ангелами, которых я могу вызвать. Таким образом, если вы хотите получить этот клад, то мне остается только узнать, способны ли вы выполнить все необходимые для этого требования.

Еврей широко раскрытыми глазами, в которых теперь светилась такая жадность, какую можно найти разве только у представителей этого племени, так и впился в глаза Бальзамо.

— Только укажите, что мне делать,— дрожащим голосом прошептал он,— я все исполню. Говорите скорее!

— Вы это узнаете не от меня,— таинственно произнес Бальзамо.— Станьте на колени!

Говоря это, он сам опустился на землю в умиленной молитвенной позе. Еврей поспешно последовал его примеру. И в то же самое мгновение откуда-то сверху раздался ясный и мелодичный голос, произнесший следующие слова:

«Шестьдесят унций жемчуга, шестьдесят унций рубинов, шестьдесят унций бриллиантов в шкатулке из золота в сто двадцать унций. Адские духи, хранящие этот клад, передадут его честному человеку, последовавшему за нашим другом, в том случае, если этому человеку пятьдесят лет, если он не христианин, если у него нет ни семьи, ни жены, ни детей, ни друзей, если он никого не любит, если никогда сознательно не делал никому добра, если он совершенно равнодушен к человеческим страданиям, если любит золото больше всего на свете и если он не желает, чтобы золото, которое он может получить, когда-нибудь принесло кому-нибудь пользу!»

Голос смолк, и Марано с настоящим вдохновением, с трепетом радости, которую не мог заглушить даже невольный страх, воскликнул:

— По счастью, я удовлетворяю всем этим условиям! Говорю это положа руку на сердце и отвечаю моей жизнью, что я именно такой человек!

Тогда таинственный голос раздался снова:

«В таком случае, пусть он положит у входа в пещеру, прежде чем войти в нее, шестьдесят унций золота для духов, хранящих клад».

— Вы слышите?— спросил Бальзамо, остававшийся совершенно спокойным и серьезным, и затем быстрыми шагами стал удаляться от пещеры.

Еврей побежал за ним.

— Шестьдесят унций золота!— восклицал он, вздыхая.— Да зачем же это?

— Вы слышали голос?— невозмутимо сказал Бальзамо.— Значит, так надо.

И он прибавил шагу по направлению к городу, не входя с Марано ни в какие дальнейшие разговоры.

— Синьор! Синьор! Остановитесь!— вскричал еврей, когда они уже входили в город.— Шестьдесят унций золота — неужели это последнее слово?

— Конечно,— с раздражением произнес юноша.

Еврея всего передернуло, но в то же время он так и вцепился в рукав Бальзамо.

— Постойте!.. Куда же вы! Погодите! Шестьдесят унций золота! Когда же? Завтра?.. В какой час?

— Да в такой, как сегодня: в шесть часов утра.

— Я явлюсь,— с глубоким вздохом произнес еврей, и они расстались.

На следующее утро в назначенный час они встретились снова на том самом месте.

Бальзамо имел чрезвычайно равнодушный и спокойный вид, а Марано трясся как в лихорадке. При нем было шестьдесят унций золота.

Они поспешно дошли до пещеры, где еврей услышал снова тот же голос, повторивший все, что было сказано накануне.

Бальзамо стоял в стороне, погруженный, по-видимому, в задумчивость и как бы не принимая никакого участия в происходившем.

Прошло еще несколько минут, прежде чем Марано победил свои сомнения и свою жадность и решился положить шестьдесят унций золота на назначенное место. Наконец он приготовился войти в пещеру, сделал уже несколько шагов, но тотчас же вернулся весь бледный, едва переводя дыхание.

— Скажите мне, уверьте меня, что нет никакой опасности,— там так темно и страшно! Уверены ли вы, что ничего дурного со мной не может случиться?

— Конечно, ничего дурного; вам нечего бояться, если счет золота верен.

Тогда еврей снова направился к пещере. Он несколько раз оглядывался назад, и каждый раз его взгляд встречался с рассеянным, равнодушным взглядом юноши.

Но вот он окончательно решился и быстро двинулся вперед, в густой мрак пещеры. Он сделал в темноте шагов двадцать без всякого препятствия, как вдруг на него накинулись три фигуры, огласив свод пещеры страшными криками. Несчастный Марано почувствовал, что его схватили. На-

прасно он бился: крепкие, будто железные, руки стискивали его, при этом ужасный голос кричал над самым его ухом. Напрасно до полусмерти перепуганный еврей кричал в свою очередь и звал к себе на помощь ангелов-хранителей. Ангелы не появились, а черти вертели его все сильнее и сильнее. Потом на его спину посыпались тяжеловесные удары. Вот он упал, и в то же время страшный голос приказал ему оставаться неподвижным и безгласным. Если же шевельнется, если произнесет хотя одно слово — будет убит на месте.

Марано пролежал некоторое время в полной неподвижности, а когда наконец пришел в себя, то увидел, что вокруг него никого нет, и с трудом дотащился до выхода из пещеры.

Вот дневной свет блеснул ему в глаза. Кругом все тихо: ни чертей, ни ангелов, ни Бальзамо, а главное — у порога пещеры все пусто. На том месте, где он оставил шестьдесят унций золота, пусто, как будто это золото никогда тут и не лежало.

Долго, долго оглашал Марано окрестность проклятиями, а потом побежал в город и подал жалобу на Бальзамо. Но оказалось, что удивительный юноша уже скрылся из Палермо.

V

Все обстоятельства этого печального происшествия всплывали теперь в воображении старого еврея с такой ясностью, как будто это произошло сегодня, сейчас. Удары, полученные им утром и мучительно ощущаемые старым телом, казались ему теми, давнишними ударами. Он ощущал себя в темноте пещеры, в железных лапах неведомых дьяволов; он переживал все ужасы той минуты, когда понял свое несчастье, когда увидел, что исчезли безвозвратно шестьдесят унций золота, составлявших все его наличное состояние.

Двадцать лет прошло с тех пор, ужасных двадцать лет! Он уже не мог более подняться, несмотря на всю изворотливость своего еврейского ума, несмотря на то, что ради денег готов был на самые страшные преступления. Судьба как бы смеялась над ним, не давая возможности даже посредством преступления добыть достаточно денег, чтобы начать настоящий гешефт.

Он прожил двадцать лет, гонимый нуждою, терзаемый ненасытной и никогда не удовлетворяемой алчностью. Он покинул Палермо, где все смеялись над ним как над глупцом и где он потерял всякий кредит, начал скитаться из го-

рода в город по Италии, а затем по Франции, большей частью путешествуя пешком, нередко испытывая голод и ночуя под открытым небом.

В течение этих двадцати лет он перенес все унижения, все неудачи, какие только может испытать человек. И вот он встречает и узнает того, кого считает единственной причиной своих несчастий, своей мучительной и печальной жизни! Мошеннически отнятые у него шестьдесят унций золота, очевидно, пошли впрок негодяю и послужили основанием его счастью, богатству, славе. Вор, грабитель окружен теперь царственным блеском, весь город склоняется перед ним и называет «божественным благодетелем человечества», а он, несчастный Марано, оборванный, томится в нищете и снова избит, и снова опозорен...

Можно себе представить ад, наполнявший теперь душу еврея, те ужасающие мучения, бессильную злобу, страшнее которой ничего не может и быть для такой души.

Долго терзался измученный, избитый Марано на своем жалком ложе и наконец заснул в изнеможении.

Если бы не пришел этот спасительный сон, его организм не выдержал бы, он, наверно, умер бы от злобы и нравственных мучений.

Так он проспал час, другой и третий. Уже давно стемнело. Вся низкая закопченная мансарда погрузилась в тишину и мрак, из нее не доносилось ни одного звука. Но вот раздался стук в дверцу мансарды. Стук повторился. Еврей испуганно открыл глаза, прислушался, потом приподнялся и с трудом спустил ноги с кровати.

— Отворите!— расслышал он голос за дверью.

— Кто там?— коснеющим языком спросил он.

Но стучавшийся не называл себя и только повторял: «Отворите».

В этом голосе, неизвестном или неузнаваемом, Марано слышались и сила, и решимость; в нем было что-то такое особенное, вследствие чего еврей как бы бессознательно, против воли и забывая всю свою трусливость, подошел к двери и отворил. Но среди почти полного мрака, царившего в мансарде, он не мог разглядеть, кто к нему вошел. Он видел только слабые очертания какой-то темной, неопределенной фигуры и стоял неподвижно, ожидая и не соображая даже, что нужно высечь огонь и зажечь лампу. Пришедший сам это сделал.

В то же мгновение сдавленный крик ужаса вырвался из груди Марано: при свете зажженной лампы он увидел перед собою закутанную в черный плащ мужскую фигуру и узнал

в ней своего врага — Джузеппе Бальзамо. Да, перед ним был тот, кого он менее всего мог ожидать теперь, перед ним был «божественный» граф Калиостро, только что покинувший свои чертоги после знаменитого сеанса «голубков», снявший с себя великолепную одежду Великого Копта и под видом скромного горожанина, не желающего вдобавок быть узнанным, явившийся к Марано.

Один из надежных шпионов, каких у Калиостро теперь было много, еще днем сообщил ему, где живет и где в настоящее время находится полоумный старик, задумавший было нарушить торжественность въезда в Страсбург знаменитого целителя и чародея. Если бы Марано вышел из своей мансарды, Калиостро знал бы об этом в ту же минуту и безошибочно мог настигнуть его, где бы тот ни находился.

Первым движением старого еврея, когда он узнал, что перед ним его заклятый враг, было броситься на Бальзамо. Но чувство самосохранения сразу осилило всю ненависть: старик понял, что борьба будет неравная, а потому не двигался с места, не шевелил ни одним членом, и только глаза его впивались в красивое лицо Калиостро с выражением такой злобы и ненависти, что становилось жутко. Но Калиостро было чуждо всякое чувство страха, даже едва заметная усмешка пробежала по лицу его.

— Марано, как ты глуп!— сказал он.— Неужели двадцать лет жизни, да такой еще жизни, какую тебе пришлось прожить, не научили тебя благоразумию? Ведь если ты теперь в нищете, если ты бедствовал все время, то единственно по своей глупости, и сегодня ты доказал эту глупость самым неоспоримым образом. Ну, чего ты дрожишь? Чего ты глядишь на меня, будто съесть меня хочешь? Садись, успокойся и слушай.

Он повелительным жестом указал на кровать, и Марано, послушно исполняя его приказание, присел на грязный матрац.

Калиостро сделал несколько шагов, остановился перед ним и стал говорить:

— Конечно, это невероятно глупо, и ничего не может быть нелепее и безрассуднее, как поддаваться своим чувствам. Как же это ты не сообразил, что во время торжественной встречи человека, которого все боготворят, нельзя накидываться на него и что, делая это, можно подвергнуть себя только побоям. И это в самом благоприятном случае! Ведь если бы я захотел, если бы я допустил, тебя избили бы до смерти. Да, ты был бы мертв, и уже не оставалось бы

никого на свете, кто мог бы рассказать сказки о Джузеппе Бальзамо, о шестидесяти унциях золота и о тому подобном вздоре. Если ты жив — то единственно по моей милости, если я теперь перед тобой и говорю с тобою — то это доказывает, что я вовсе не таков, каким ты меня считаешь. Если я тебе что-нибудь должен, то я намерен рассчитаться с тобою и вернуть не только твой капитал, но и хорошие проценты — слышишь, хорошие проценты за все время!..

Марано так дрожал, что эта дрожь уже начала походить на конвульсии. Он давно хотел говорить, но язык его не слушался. В нем не было теперь уже страха, он снова проникся чувством ненависти к человеку, благодаря которому испытал двадцать лет нищеты и нравственных мучений. Наконец он немного справился со своим волнением.

— Ты снова издеваешься надо мною!— страшным голосом произнес он.— Мой капитал... проценты на мой капитал... Если бы я даже был таким дураком, чтобы поверить; если бы ты действительно вздумал мне вернуть все это, разве ты можешь вернуть мне двадцать лет моей жизни?! Двадцать лет... Где они, эти двадцать лет? Отдай мне их! Отдай мне мою жизнь, мою силу! Возьми от меня все мои бедствия, горе, нищету, унижения, все, что я испытал в течение этого долгого времени... возьми!.. Отдай мне двадцать лет моей жизни вместе с моими шестьюдесятью унциями золота! Отдай — и тогда уходи, а иначе не смей надо мной издеваться! Ты видишь, я не боюсь тебя... Кто бы ты ни был и какой бы силой ни владел, я не боюсь тебя, слышишь ли — не боюсь, потому что мне терять уже нечего! Ты видишь, каким я теперь стал! Мне и жизни-то, может быть, только на несколько дней осталось!..

Он был страшен, он был отвратителен... и в то же время жалок. В его страстных словах, произнесенных сдавленным старческим голосом, звучала правда.

Калиостро между тем спокойно глядел на него, и как бы облако не то задумчивости, не то даже грусти пронеслось по выразительным чертам его лица.

— Да, старик,— сказал Калиостро,— конечно, твое положение печально, конечно, ни я, да и никто на всем свете не может вернуть времени, но уж такова твоя судьба, и я тебе скажу, что ты сам виноват в ней. Конечно, ты со мной не согласишься, а между тем это так: не я, не лишение тебя твоего золота причиной этих двадцати лет, проведенных тобою, как ты говоришь, в нищете и в разных бедствиях; единственная причина всего этого — только ты сам, только твои свойства — и никто более. Ты, вероятно, помнишь, что

говорил неведомый голос в пещере? Ты тогда с такою радостью признавал себя обладателем самых возмутительных качеств, делающих человека подобным зверю, ставящих его даже гораздо ниже зверя. Ну, так вот эти самые качества и создали двадцать несчастных лет твоей жизни. Был бы ты иным — и жизнь твоя сложилась бы иным образом. Но об этом говорить нам нечего; будь хоть теперь благоразумен, успокойся и пользуйся тем, чем еще можешь воспользоваться. Я несколько раз в эти последние годы вспоминал о тебе и даже справлялся и узнавал, где ты находишься. Очень многое мне известно и о многом сообщают мне мои духи, но о тебе они сообщить мне не хотели; и опять-таки в этом виноват не я, а ты сам. Если бы я раньше встретился с тобою, для тебя было бы лучше, по крайней мере я, видишь ли, времени не теряю: в первую же свободную минуту я здесь. Успокойся!

И говоря это, он приподнял руки и положил их на плечи Марано.

Первым инстинктивным движением старика было отстраниться от этого ужасного прикосновения, но внезапно он почувствовал, как приятное тепло распространилось по всем его членам, и уже не думал отстраняться. Он жадно воспринимал это тепло и поддавался возникавшему в нем ощущению.

Прошла минута, другая — и он физически почувствовал себя так хорошо, так бодро, как давно, давно уже не чувствовал. Спокойный, даже почти ласковый взгляд черных красивых глаз Калиостро был устремлен на него и не возбуждал в нем ненависти; в Марано даже, как ни странно, как ни невозможно казалось это, пробудилось что-то похожее на симпатию к этому непонятному человеку, к своему врагу. А Калиостро продолжал:

— Вот видишь, времени и жизни вернуть нельзя, но все же кое-что можно исправить. Видишь — ты снова бодр, ты снова чувствуешь себя таким, каким был двадцать лет тому назад; тех мучений, какие были в тебе, теперь нет, и все это сделал я — значит, ты относительно меня не прав. Смотри!

Калиостро отступил на шаг от еврея и подошел к маленькому столу, на котором горела лампа.

VI

И вдруг изумленного слуха Марано достиг знакомый любимый звук — звук золота. Золото блеснуло ему в глаза,

много золота. Вот на столе возле лампы целая кучка золотых монет...

Марано почувствовал себя совсем обновленным, совсем перерожденным.

Он подбежал к столу и стал ощупывать золотые монеты, боясь, что это один только призрак, что они того и жди пропадут, исчезнут бесследно. Но они не исчезали. Золото, чистое золото — сверкающее, холодное и прекрасное — пересыпалось в дрожавших руках еврея и наполняло его блаженным трепетом, трепетом страстно влюбленного человека, обнимающего давно и безнадежно желаемый предмет своей страсти.

Еще минута — и Марано, совсем даже забыв о присутствии Калиостро, стал пересчитывать монеты. Он сложил их в равные кучки, сосчитал и пересчитал снова.

— Двадцать да двадцать — сорок, сорок да сорок — восемьдесят,— в страстном волнении шептали его губы.

— Да, но тут не все... далеко не все! Где же остальное?— вдруг воскликнул он.— Ты сказал, что вернешь мне все... и проценты... проценты за двадцать лет! Где же это? Это мало, слишком мало, тут всего двести пятьдесят монет... только двести пятьдесят!

Калиостро улыбнулся.

— Знаешь ли, друг мой,— спокойно сказал он,— если человек очень долго голодает и вдруг накинется невоздержно на пищу, то умрет гораздо скорее, чем умер бы от голода. Мне очень легко дать тебе все золото, о котором ты теперь мечтаешь, и даже гораздо больше того, но я не сделаю этого, так как не желаю твоей погибели и не за этим пришел к тебе. Собери хорошенько эти двести пятьдесят монет, храни их: они будут услаждать часы твоего досуга, ты будешь перебирать их, любоваться ими; уверяю тебя, они доставят тебе много удовольствия.

— Так значит, ты обманул меня!— отчаянно завопил еврей.

— Нисколько,— все с тем же спокойствием ответил Калиостро.— Я, кажется, тебе доказал, что не желаю твоей погибели, спасая твою жизнь сегодня утром; не будь тут моей воли — тебя избили бы до смерти. Я мог бы, конечно, не дать тебе ни одной монеты — а вот перед тобою двести пятьдесят, и они принадлежат тебе. Ты все получишь, получишь даже больше, но для этого нужно, чтобы ты исполнил кое-какие условия.

— Какие?

— А вот какие: завтра ты выедешь из Страсбурга и

отправишься в Германию, во Франкфурт-на-Майне. Когда ты туда приедешь, тебя встретит человек и проведет в нанятую для тебя и оплаченную за год вперед квартиру, где ты будешь жить в обстановке несравненно лучшей, чем та, в какой я тебя видел в Палермо двадцадь лет тому назад. Во Франкфурте-на-Майне очень много твоих соплеменников, они ведут там большую торговлю, большие дела. Тебе никто не мешает тоже заняться вместе с ними торговлей и делами, которые могут обогатить тебя. Все будет устроено так, что когда тебе понадобятся деньги, эти деньги будут являться вовремя, но если когда-нибудь, кому-нибудь ты произнесешь имя Джузеппе Бальзамо — в тот же день исчезнет все, у тебя не останется ни одного медного гроша, и ты умрешь в нищете, жестоко оплакивая свое безумие. Джузеппе Бальзамо нет и не было — понимаешь ли ты это? Никогда никакого Джузеппе Бальзамо ты не знал, а сегодня утром действовал вне себя, будучи одержим адскими силами. Завтра ровно в десять часов утра ты выйдешь из дому и пойдешь в лечебницу графа Калиостро. Ты будешь идти по улицам и обращаться ко всем встречным, спрашивая: «Где лечебница знаменитого целителя, благодетеля человечества, графа Калиостро?» Придя в лечебницу, ты потребуешь, чтобы тебя провели к божественному Калиостро и, увидя меня, падешь передо мной на колени, да так убедительно, чтобы все этому поверили — слышишь ли ты, чтобы все этому поверили!— и будешь просить у меня прощенья за то, что вне себя, наущенный адскими духами осмелился публично назвать меня негодяем и требовать от меня шестидесяти унций золота. Если ты не исполнишь всего, то пеняй на себя: тогда ты сам откажешься от своего счастья. Если же исполнишь все, то я буду благодетельствовать тебе так же, как благодетельствую многим.

Марано стоял ошеломленный, вдумываясь в слова своего врага, а Калиостро между тем совершенно спокойно вынул из кармана кожаный мешочек и в один миг уложил в него двести пятьдесят золотых монет. Марано, заметив это, испустил отчаянный вопль и схватил Калиостро за руку, но тот мгновенно оттолкнул его, так что старик отлетел на несколько шагов и, потеряв равновесие, упал на пол.

— Будь спокоен,— сказал Калиостро,— эти деньги твои. Я тебе показал их для того, чтобы ты познакомился с ними и полюбил их. И ты с ними познакомился, ты их очень любишь. Но вот я сейчас заметил в тебе одну весьма скверную мысль: у тебя мелькнуло в голове, забрав эти деньги, завтра чуть свет скрыться и не прийти в лечебницу. Весьма

вероятно, что эта мысль за ночь созрела бы и укрепилась в тебе и ты привел бы ее в исполнение. Этим ты только погубил бы себя, а я, повторяю, вовсе не желаю твоей гибели. За ночь хорошенько обдумай мои слова и свое положение, откажись от своей глупости, которая погубила всю твою жизнь. Если двадцать лет тому назад Джузеппе Бальзамо нужны были твои шестьдесят унций золота, то теперь графу Калиостро, владетелю неисчерпаемых сокровищ, умеющему из всякой дряни делать чистое золото, не могут быть нужны не только шестьдесят, но и миллионы унций; а о том, что граф Калиостро владеет действительно философским камнем и умеет делать золото — об этом знает весь свет. Обдумай все хорошенько и пойми наконец, глупый человек, что единственное твое спасение в слепом послушании моим приказаниям и что я действую для твоей же пользы. Спокойно разбери все, сделай завтра утром так, как я тебе сказал, и после публичного покаяния за сегодняшний твой поступок, которое ты принесешь в моей лечебнице, ты получишь этот мешочек. Надежный человек проводит тебя из города и удостоверится в том, что ты уехал во Франкфурт-на-Майне. Если в твоих действиях не будет искренности, если ты пожелаешь хоть в чем-нибудь обмануть меня, знай — ты погиб. Ну, а затем прощай, я и так потерял с тобою очень много времени.

Калиостро потряс перед евреем мешочком с золотом, затем спокойно положил его к себе в карман и вышел.

Долго еще стоял Марано, совсем растерянный, собираясь с мыслями; но мысли его не слушались, они разбегались в разные стороны, в голове была какая-то пустота, какой-то туман носился перед ним. Он улегся на кровать, и скоро тяжелый сон овладел им.

VII

Калиостро уверенным шагом сошел с темной старой лестницы и очутился на пустынной улице. Весь этот бедный квартал Страсбурга, встававший чуть свет и принимавшийся рано за дневные работы, ложился обыкновенно рано. На улице была полнейшая темнота осенней ночи, только кое-где еще из маленьких окон лилась струйка света, кое-где, трепетно мерцая, догорала масляная лампочка в фонаре.

Едва Калиостро сделал несколько шагов по улице, как к нему подошел какой-то человек и шепнул:

— Господин мой, какие будут приказания?

Он ответил:

— Можешь идти за мною, но завтра с семи часов утра возьми с собою двух-трех людей, возвращайся к этому дому и следи за стариком.

— Приказания графа будут исполнены,— уверил тихий голос.

Калиостро двинулся по улице, а темная фигура последовала за ним в некотором отдалении.

Вечер был очень свежий; по временам налетал ветер; по небу ходили тучи, но дождя не было.

Калиостро быстро шел, вдыхая глубоко свежий воздух; после тревожного дня ему было приятно освежиться этой прогулкой, он даже замедлил шаги, заметив, что до его отеля уже недалеко. Теперь, идя по улице, где жизнь еще не замерла, где еще не спят, где больше света, он запахивается в плащ, пряча лицо свое, чтобы никто случайно не мог его узнать.

Но кто его узнает? Кому может прийти в голову, глядя на эту фигуру, закутанную в черный суконный плащ, что это тот самый человек, о котором с утра говорит весь город, который появился как волшебное видение, весь в золоте и драгоценных камнях, в ореоле всевозможных чудес.

Вот он свернул в узенький глухой переулок, как тень скользнул вдоль каменной ограды и остановился у маленькой дверцы, скрытой за густыми разросшимися вьющимися растениями, листья которых уже пожелтели и медленно опадали.

Он вынул из кармана ключ, открыл эту потайную дверцу, потом запер ее за собою и оказался в саду, примыкавшем к заднему фасаду его отеля.

Через минуту он отпирал уже другую замаскированную дверцу в нижнем этаже самого здания, а еще через минуту, пройдя узкий коридор, очутился перед тяжелой двойной драпировкой.

Осторожно, беззвучно он раздвинул складки материи и заглянул: перед ним просторная богатая спальня, похожая на ту, какая была у него с Лоренцой в Петербурге, в доме графа Сомонова. Вот большой туалет, а перед ним женская фигура. Прекрасное венецианское зеркало отражает хорошенькое, несколько утомленное личико Лоренцы.

Увидав за собою мужа, она невольно вскрикнула от неожиданности: она не знала, что за тяжелой материей, задрапировывавшей всю комнату, находится потайная дверца.

Калиостро весело засмеялся.

— Когда же ты, наконец, привыкнешь к моим внезап-

ным появлениям?— сказал он, крепко обнимая жену и покрывая ее поцелуями.— Знаешь ли, это даже может внушить мне кое-какие подозрения. Где бы ты ни была — одна ли или с кем-нибудь,— ты не должна смущаться. Что было в твоих мыслях? О чем ты думала, если мое появление тебя смутило? Ну, говори же мне, моя Лоренца, о чем или о ком ты думала? Говори прямо, без утайки, чтобы мне незачем было узнавать твои мысли иным способом. Ты хорошо знаешь, что тебе никогда не удастся что-либо скрыть от меня.

— Я вовсе не желаю этого,— совсем просто отвечала молодая женщина.— О чем я думала? Я думала о том, что мой Джузеппе действительно великий человек...

Он глядел ей в глаза.

— Но,— перебил он,— ты находишь, что это величие сопряжено с большими волнениями и опасностями.

— Разве это не так?— робко спросила она.

— Конечно, так; жизнь человеческая — борьба, и все дело в том, чтобы стать победителем в этой борьбе. Тишина, спокойствие, отсутствие всякой борьбы — ведь это сон, смерть, а я живой человек и живу борьбою. Знаешь ли ты, что после каждой неудачи я собираюсь с новыми силами? Ты вот не любишь, моя маленькая Лоренца, думать, а если бы любила думать, то вспомнила бы, что каждая моя неудача есть непременно начало нового благополучия. Как ты была смущена, когда мы должны были выехать из Петербурга, а я тебе говорил тогда, что все к лучшему; и вот прошло короткое время — и видишь, какую счастливую жизнь устроил я и себе и тебе. Разве сегодняшний день, день полного торжества, не хороший день? Разве над нами не горит ясное солнце? Разве тебе не нравится этот отель?

— Нет, Джузеппе, мне здесь все очень нравится, все это так похоже на то, что мы оставили в Петербурге! Ты хорошо сделал, что подумал обо всем и все устроил так, как там.

Он самодовольно улыбался.

— Да, я подумал обо всем. Да, этот отель — повторение петербургской роскоши, но заметь разницу: там для нас все было чужой роскошью, а здесь — наша собственность. Этот отель принадлежит нам, все, что видишь кругом себя,— твое. Приказав устроить эти комнаты лучшим мастерам, я думал о тебе, моя Лоренца, о твоем удовольствии. Или я не угодил тебе?

Она обвила своими тонкими руками его шею и крепко поцеловала.

В этом поцелуе страстно любимой женщины была для

него высшая награда. Он глядел теперь на нее долгим и нежным взором, в котором выражался весь пламень любви, вся безграничная нежность, на какую было способно сердце этого странного человека.

— А все же,— наконец сказал он,— все же я замечаю в тебе какое-то беспокойство, ты чем-то недовольна. Тебя что-то смущает.

— Джузеппе,— очень серьезно отвечала она,— я повторю твои же слова: на свете ничто не может быть полно и все только стремится к гармонии, но не достигает ее никогда. Да, сегодняшний день — день нашего торжества, а между тем ведь и он омрачен... Вот я только что думала: нет ли где опасности для тебя, не ждет ли нас и здесь новая неудача? Мы въехали в город, как король с королевой, я никогда ничего подобного не могла себе представить... но этот ужасный старик... Где он? Кто он? Он знает твое имя... в его словах какое-то отвратительное обвинение. Неужели ты забыл о нем, об этом старике, и неужели это появление тебя не смутило? Где ты был? Откуда ты? Куда ты исчез, когда разошлись гости?

— Я просто почувствовал себя утомленным, переоделся и пешком прогулялся по городу.

— А старик? Что же о нем думать?

— Забудь о нем, пожалуйста, и не смущайся: это сумасшедший, одержимый бесами.

— Да, но он знает твое имя!

— У меня много имен,— задумчиво произнес Калиостро,— а настоящего моего имени не знает никто, не знаешь его и ты.

— Ты не раз мне говорил это, но это меня ничуть не успокаивает. Этот старик...

— Оставь старика!— уже с раздражением в голосе повторил Калиостро.— Он сам завтра явится в лечебницу, и если его появление, его слова смутили кого-нибудь в городе, то все это послужит только к дополнению моего торжества.

— Ты уверен в этом?

— Да, я в этом уверен!— сказал Калиостро с такою силою, что Лоренца сразу успокоилась и вздохнула полной грудью.

— Ты говоришь, что жизнь есть борьба, что ты любишь только борьбу,— через минуту продолжала она, раздеваясь и приготовляясь ложиться спать.— Может быть, ты и прав, но... я все же устала в этой борьбе, мне хотелось бы хоть некоторое время пожить спокойно, на одном месте, без всяких волнений и тревог, так, как живут другие люди.

Она сама почти испугалась, что решилась высказаться так прямо, но в ее словах было столько искренности, столько затаенной грусти, ее голос прозвучал такою действительной душевной усталостью, что Калиостро вздрогнул и некоторое время молча пристально глядел на нее.

— Лоренца,— наконец сказал он,— ты права: в жизни, как и в море,— приливы и отливы, да и борьба не может быть без передышки. Да, ты права, и я обещаю тебе успокоение. Мы здесь останемся долго, и наша жизнь в этом городе будет сплошным нашим торжеством. Тебе нечего опасаться. Я очень рад, что мы так заговорили сегодня с тобою... Погляди на меня, Лоренца, и скажи: веришь ли ты мне?

— Верю,— ответила она.

— Ну, так слушай же. Я знаю мою судьбу и знаю, что мы теперь вступили в период не омраченного ничем счастья, в период отдохновения и блеска. Отбрось же от себя всякие тревоги и знай, что чем более ты будешь спокойной, чем сильнее будет в тебе уверенность в том, что нам нельзя ожидать ничего дурного, что перед нами одно благополучие,— тем крепче и тем продолжительнее будет это благополучие. Говорю тебе, Лоренца: над нами безоблачное небо, настали ясные дни, и от нас будет зависеть, чтобы они были очень долгими.

— Ах, если бы это от меня зависело!— страстно воскликнула Лоренца.— Что же я могу? Я могу только исполнять твои приказания, только следовать за тобою и разделять твою участь!

— Ты забыла одно,— тихо произнес Калиостро, сжимая ее руку,— ты забыла, что ты можешь любить меня, меня одного, так, как я люблю тебя. Люби меня так — и больше ничего не надо. Этой судьбою заранее определена вся наша жизнь. Мы сошлись не случайно — наша жизнь и наша будущность связаны крепко. Уж если мы говорим об этом, я открою тебе страшную тайну, тайну, которую я давно храню в себе и которая меня терзает каждый раз, как я о ней вспоминаю. Я знаю, слышишь ли, Лоренца, я знаю, наверно знаю, что если мне суждено погибнуть до времени, если блестящая жизнь моя, полная славы, полная блеска, должна прерваться на самой высоте удачи и счастья, то причиной этого будешь ты, только ты — и никто больше. Слышишь ли, Лоренца, я знаю это!..

Он весь преобразился, его голос звучал нестерпимой душевной мукой, и в то же время он страстно глядел на жену свою, и она казалась ему самым прелестным, самым чудным созданием в мире.

Лоренца была потрясена его словами, она бессознательно почувствовала в них какую-то истину, какой-то тайный смысл, полный значения, и глядела на своего Джузеппе, трепещущая, побледневшая, и губы ее шептали чуть внятно:

— Я люблю тебя, как же... как же я могу быть причиной твоей погибели? Зачем ты пугаешь меня? Ведь ты только сейчас говорил мне, чтобы я успокоилась, чтобы ничего не страшилась в будущем, что настали ясные дни... Ты сейчас говорил мне это... а сам...

Но он не слышал ее. Он почти упал в кресло и закрыл лицо руками. Перед ним сквозь закрытые глаза, сквозь руки, сжимавшие эти глаза так, что ничего нельзя было видеть, все яснее и яснее обрисовывались страшные, печальные сцены, значение которых он боялся объяснить себе.

За минуту до этого спокойный, полный самообладания, теперь этот человек внезапно под натиском тяжелых мыслей впал в полную слабость и доходил до отчаяния.

Лоренца своими горячими ласками едва могла привести его в себя. Наконец, страстная любовь превозмогла все; под ее наплывом разлетелись все призраки, затуманились и скрылись тени будущего — и Джузеппе всецело, всем существом своим отдался настоящей минуте, и жил ею, и был счастлив...

VIII

Еще не занималась на небе бледная заря осеннего дня, а старый Марано давно уже не спал. Он, как зверь, запертый в клетку, метался по своей мансарде, потом в изнеможении падал на матрац, снова вскакивал и снова метался. Чувство успокоения и свежести, какое произвело в нем прикосновение Калиостро, давно исчезло. Теперь он походил на человека отравленного. Будто жгучий, мучительный яд наполнял весь его организм; этим ядом оказались двести пятьдесят червонцев, которые он видел на своем столе, ощущал, пересыпал жадными руками и которые потом оказались в кармане ужасного Джузеппе Бальзамо.

— О злодей! О изверг!— в бессильном бешенстве повторял Марано.— Ему мало было один раз обокрасть, погубить меня, он вот теперь обокрал меня вторично. Вор! Грабитель! Злодей!

Марано был действительно очень несчастен, и несчастье его заключалось вовсе не в том, что в течение двадцати лет он испытывал нужду — есть бедняки, есть даже нищие, ко-

торых тем не менее никак нельзя назвать несчастными,— несчастие Марано заключалось не в материальной нужде как таковой, а в том, что он был лишен единственного блага, которое составляло всю сущность внутреннего мира, которое одно могло дать ему примирение с жизнью. В его душе, с тех пор как он себя помнил, никогда не было ничего, кроме любви к золоту, страстной, непреоборимой любви. И вот целых двадцать лет он был лишен единственного любимого им предмета и томился, хирел, состарился и одряхлел до срока. Наконец он увидел этот страстно обожаемый, доселе недостижимый предмет, он увидел золото, осязал его, проникся мыслью, что это золото — его собственность, и вдруг... опять ничего нет, оно ускользнуло. Бальзамо говорил, что завтра он получит его снова, что стоит только быть послушным, исполнять требования этого врага, выставляющего себя чуть ли не его благодетелем, и золото станет приходить, и жизнь сделается счастливой.

Но дело в том, что Марано теперь ничему не верил, он знал только одно: золото было вот здесь, на этом столе, а теперь его нет! И каждая новая минута приносила ему уверенность, что это золото никогда не вернется. Его мучения становились невыносимыми, он уже не мог рассуждать; ни одна ясная, здравая мысль не удерживалась в голове его, он поддавался только своим ощущениям — а они были ужасны.

Прошел еще час — и в глазах еврея стало блуждать совсем дикое, безумное выражение. Перед ним беспорядочно роились какие-то давно позабытые образы, отрывки из пережитой жизни.

Он видит себя на далекой родине, в Палермо, видит себя мальчиком. Вот он украл у отца, такого же ростовщика, каким и сам потом сделался, несколько мелких монет и в первый раз в жизни познал восторг, радость, блаженство. По нескольку раз в день, да и ночью пробирается он в потаенный уголок старого сада, где зарыл свое сокровище, и отрывает его, и любуется им, пересчитывает каждую монету, разглядывая ее и целуя.

Сначала он боялся, что воровство будет открыто, что у него отнимут эти деньги, но отец ничего не заметил. Он в полной безопасности, но ему и в голову не может прийти истратить хотя бы часть своего сокровища на сласти, на какое-нибудь удовольствие — он не для этого рисковал всем, присваивая деньги, он украл для того, чтобы иметь их, чтобы любоваться ими, наслаждаться их видом, сознанием того, что они — его собственность.

Целых два года хитрый, осторожный, как лисица, в каждую свободную минуту прокрадывался мальчик в заветный уголок сада и пересчитывал там деньги. В течение этих двух лет его сокровище значительно возросло: ему не раз удавалось снова забираться в кассу отца и незаметно стягивать оттуда то одну, то две маленькие монетки. Наконец, этого ему показалось мало, он почувствовал страстную любовь уже именно к золоту: ему нужны были уже червонцы. Он осторожно пересчитал все свои деньги, пошел в самую дальнюю в городе меняльную лавку, обменял там монеты и получил за них четыре червонца.

Скоро к этим четырем червонцам прибавилось еще три из отцовской кассы. На этот раз ввиду пропажи такой значительной суммы старый еврей заволновался, но так как подозревать никого не мог и так как в кармане его оказалась маленькая дырочка, то он решил, что сам потерял эти три червонца, поволновался, даже помучился от этого, а потом успокоился.

Прошло еще немного времени, и подросший Марано уже пустил в ход свои сбережения, нажил из них сто процентов, удвоив капитал; отцовское занятие пришлось ему по вкусу. Молодому еврею было всего двадцать лет, а между тем такого бессердечного и отвратительно жадного ростовщика никто еще не знавал в Палермо; ожидать от него хотя бы самого слабого проявления человеческого чувства было нельзя.

И вот теперь в болезненно расстроенных мыслях Марано, в его воображении мелькали одна за другой, перебивая друг друга, различные сцены из его жизни.

Он видел себя в своем темном, затхлом помещении в Палермо среди различных вещей, оставленных ему под залог. Перед ним мелькали лица несчастных людей, которых нужда заставляла к нему обращаться; ему чудились стоны, мольбы и слезы жертв его алчности, и он злобно усмехался, вглядываясь в эти призраки.

Наконец, и призраки исчезли, и ничего уже не вспоминалось. Теперь мелькали только обрывки каких-то непонятных мыслей и все путалось. Внезапно он вскакивал с кровати, дрожа всеми членами, подкрадывался к столу: ему чудилось, что на столе опять лежит возле лампы эта блестящая куча золота... все двести пятьдесят червонцев.

Он осторожно приближал к ним руку, схватывал... и в руке ничего — все исчезло! И он кидался на пол в яростном бешенстве, вскакивал снова, глядел на стол, снова

видел на нем кучу золота — и опять она пропадала под его дрожащими пальцами.

«Идти... идти в лечебницу... к графу Калиостро!— пронеслось вдруг в его мыслях.— Надо идти... надо сказать... Что сказать? Надо просить прощенья у графа Калиостро... у божественного... у благодетеля человечества, сказать, что вчера было дьявольское наваждение, что дух злобы подсказывал слова... Да!.. Где лечебница графа Калиостро?.. У всех спрашивать... Идти... Зачем? Кто это сказал?.. Да, для того, чтобы получить золото... золото — где оно? Где оно? Идти за ним... Кто это говорит, что надо ехать во Франкфурт-на-Майне?.. Там ждет дом, богатые клиенты, дела, опять золото, много золота... Где оно?..»

Дикое, безумное выражение глаз Марано все усиливалось. За припадком бешенства и волнения наступал упадок сил, и он некоторое время лежал неподвижно, как пласт на кровати, потом опять вставал и начинал метаться по комнате, снова глядел на стол, но уже не видел на нем золота...

«Оно там... там, в лечебнице!..»

Наконец он как будто успокоился, взял свою ободранную, грязную войлочную шляпу, надел ее, вышел из мансарды, забыв запереть за собою дверь, хотя всегда тщательно это делал, и спешно, будто кто гнал его, спустился с лестницы.

Был уже день; городская жизнь давно началась, улицы наполнились народом. Старый еврей с блуждающим взглядом, весь оборванный, ужасный, отталкивающий, шатаясь шел, глядя прямо перед собою. Вдруг он остановил встретившегося ему человека и громко, на всю улицу, крикнул:

— Где лечебница графа Калиостро? Как мне найти ее?

— А тебе зачем?— спрашивали его столпившиеся на этот крик люди.

— Там... там спасение!— растерянно произнес он.

Ему сказали, как пройти в лечебницу, и он пошел снова, но сбился с дороги и опять останавливал встречных, и опять их спрашивал, как пройти в лечебницу.

Скоро по направлению к лечебнице шел уже не он один — за ним следовала целая толпа любопытных, желавших увидеть, что будет: исцелит ли знаменитый иностранец этого помешанного старика.

Вот Марано у входа в лечебницу. Его пропустили. Вся зала полна народом. Здесь снова, как и накануне, собралось немало больных и еще гораздо больше — любопытных.

Граф Калиостро в своем роскошном наряде, сопровож-

даемый многочисленной свитой, уже обходил больных, налагал на них руки и объявлял, что они освобождены от болезни. Больные радостными возгласами приветствовали свое выздоровление, многие кидались на колени перед Калиостро, ловили и целовали его руки. По зале шел несмолкаемый, едва сдерживаемый говор: все передавали друг другу о поразительных исцелениях и о том, что вчера божественный Калиостро роздал бедным большую сумму денег, что этот Богом посланный человек принес счастье всем несчастным, всем больным города Страсбурга.

Вот наконец и Марано, пробившись сквозь толпу, пропускавшую его охотно, чтобы только не прикоснуться к этим грязным лохмотьям, увидал Калиостро. Он задрожал всем телом, шатаясь, кинулся к нему, но не устоял на своих слабых ногах и упал в нескольких шагах от Калиостро на пол.

Великий Копт увидел это, подошел к нему, наклонился и, обращаясь к окружавшим, сказал:

— Вы видите этого человека? Кажется, это тот самый безумец, который вчера во время моего въезда кинулся к моей коляске и бранил меня, называя, не помню уже каким именем. Ведь это он?

Все, кто присутствовал вчера при въезде, признали старого еврея.

— Что тебе надо, несчастный?— громким и спокойным голосом на всю залу спросил Калиостро.

Марано долго ничего не мог вымолвить. Наконец его хриплый голос произнес:

— Дьявол вселился в меня вчера, он шептал мне: «Иди, увидишь божественного Калиостро, закричи ему, что он негодяй, что он украл у тебя шестьдесят унций золота... Требуй от него шестьдесят унций золота».

Вся зала так и замерла, никто не проронил ни одного звука.

— Негодяй, отдай мне мои шестьдесят унций золота!— вдруг, напрягая последние силы, завопил Марано и смолк, схватившись за голову и, очевидно, силясь вспомнить что-то, что-то сообразить.

— Вот видите,— громозвучно произнес Калиостро,— видите, что враг человеческого рода делает иногда с людьми. Очевидно, этот несчастный жаден, и дьявол, вселясь в него, сулит ему золото. Шестьдесят унций золота!.. Я думаю, этот несчастный нищий никогда и не видал такой суммы! Что же хочет дьявол с этим золотом? Видите ли, я... украл его шестьдесят унций... я! Не знаю, если бы он сказал устами

дьявола, что я украл у него пучок седых волос, это еще могло бы иметь смысл, но красть то, чего у меня столько, сколько я хочу...

Калиостро развел руками и усмехнулся, а затем, повернувшись к следовавшему за ним одному из своих секретарей, велел принести шкатулку, находившуюся в соседней комнате.

Через минуту шкатулка была принесена. Калиостро отпер ее, и все увидели, что она полна золотом.

Великий Копт двумя пригоршнями взял червонцы и бросил их на пол перед трепетавшим в конвульсиях Марано. Старый еврей испустил отчаянный крик, кинулся вперед и прильнул к золоту, загребая его, прижимаясь к нему лицом, целуя монеты. Теперь он визжал, хохотал, рыдал, бесновался... Но вот все его тело конвульсивно вздрогнуло, он испустил глухой стон; его пальцы, сжимавшие монеты, разжались, он вытянулся на полу и остался недвижным.

Калиостро склонился над ним, повернул к себе его лицо и сказал:

— Он умер. Вот для чего дьяволу нужно было золото — для того, чтобы убить этого человека! Его я воскресить не могу. Над ним совершился суд Божий.

И все увидели, как при этих словах лицо Калиостро омрачилось; он опустил голову и некоторое время простоял в глубокой задумчивости.

Между тем служители подняли Марано, который действительно был мертв. Секретарь подбирал золото и снова клал его в шкатулку. Еще минута — и божественный Калиостро снова обходил больных, снова исцелял их и снова принимал горячую благодарность. Теперь лицо его опять было спокойно, к нему вернулось все его величие.

Все присутствовавшие были потрясены, обсуждали смерть сумасшедшего еврея и толковали о дьявольских кознях, о том, как враг человеческого рода губит поддавшуюся ему душу. Если в ком еще до сих пор и сохранилось неприятное впечатление от сцены, происшедшей у коляски во время въезда божественного Калиостро в Страсбург, то теперь это впечатление окончательно изгладилось.

IX

«Благодетель человечества» говорил старому еврею: «Ведь если бы я захотел, если бы допустил, тебя убили бы до смерти. Да, ты был бы мертв — и никого бы не осталось на свете, кто мог бы рассказывать сказки о Джузеппе Баль-

замо, о шестидесяти унциях золота и о тому подобном вздоре...»

Теперь этот старый еврей, помимо своей воли, окончательно оправдал Калиостро в глазах жителей Страсбурга. Оправдал — и умер. Марано похоронили на счет благодетеля человечества. Старик унес с собою в могилу все сказки о Джузеппе Бальзамо — значит, теперь не остается никого, кто мог бы повторять эти сказки и смущать ими торжество могущественного графа Калиостро!.. Нет, старые тайны не умирают, всегда остается нечто, способное вынести их из мрака на свет. Вот так и в отношении сказок о Джузеппе Бильзамо, оставались и помимо умершего Марано живые свидетели.

Первым из таких свидетелей была Лоренца. А кроме того, разве не хранилась эта тайна в таком страшном месте, откуда всегда могла грозить божественному Калиостро? Разве великий носитель знака Креста и Розы, русский князь Захарьев-Овинов, не доказал ему, в каких сильных и неумолимых руках находятся эти старые сказки?

Но Калиостро не смущался. Лоренца, эта страстно любимая жена его, добровольная, а еще более невольная спутница и помощница его жизни, всегда с ним. Она — его послушное орудие. Сны и видения будущего грозят какой-то бедою. Но это будущее далеко, о нем не время думать... А розенкрейцеры? И о них нечего думать; Захарьев-Овинов остался там, в России; Лоренца своими тайными способностями поможет вовремя заметить и отвратить опасность...

Да, положительно Марано, старый полоумный еврей, был страшнее всех и всего, с ним приходилось возиться, следить за ним. Но теперь его нет, препятствие устранено. Впечатление, произведенное на Калиостро сценой смерти старого еврея, пропало, как пропадали и все впечатления в этой страстной и порывистой душе, жаждавшей наслаждений, блеска и славы. Калиостро чувствовал под собою твердую почву, чувствовал всевозраставшие свои силы. Он знал, да, знал, что звезда счастья все выше и выше поднимается над его головою. И сознание это окрыляло его, усиливало его энергию, его неослабную, постоянную деятельность.

Он говорил себе: «Все к лучшему»,— и совсем искренно считал теперь свою неудачу в Петербурге большим для себя благополучием. То, что не удалось там, среди северных снегов, среди русских варваров, то должно осуществиться в самом центре цивилизации. Пусть там, в Петербурге, обманутые им русские вельможи делают что угодно с ложей Изи-

ды! Он время от времени будет посылать им письма, будет поддерживать с ними — так, на всякий случай — сношения. А великая ложа египетского масонства будет им основана не на берегах Невы, а на берегах Сены, в великом, чудном Париже, в этом роскошном средоточии всего мира. Слава, которую он приобретет здесь, будет гораздо громче той, какая ожидала бы его на далеком севере...

Но Париж еще впереди; надо подготовить почву, надо явиться туда уже во всеоружии, победителем, а для этого предстоит некоторое, даже, быть может, довольно долгое время оставаться на последней станции, и эта последняя станция — Страсбург. Отсюда до Парижа недалеко, здесь налажено постоянное сообщение. Не Калиостро придет в Париж как проситель, искатель успеха, а сам великий город призовет его и при первом же его появлении повергнет к его ногам дань удивления, восторгов, поклонений.

Да, здесь надо собраться с силами и с материальными средствами. Страсбург — город богатый. Граждане его, несмотря на сравнительную простоту нравов, обладают огромными средствами...

Однако зачем же графу Калиостро, купающемуся в золоте, «делавшему» золото, думать о чьих-либо средствах?.. Приходилось думать. Делать золото, даже и обладая философским камнем, было, видно, довольно трудно, работа эта, вероятно, отнимала слишком много времени — по крайней мере Калиостро предпочитал, когда возможно, приобретать деньги иным, более простым, обыденным способом.

Из Петербурга благодаря удивительной щедрости и доверчивости некоторых русских богачей, и прежде всего графа Сомонова, сделавших огромные пожертвования для дела всемирного распространения египетского масонства, он вывез весьма крупные суммы. По дороге до Страсбурга эта богатая казна, которой мог бы позавидовать не один владетельный принц, более чем удвоилась поддержкой и приношениями многочисленных масонских лож, совсем попавших под влияние Великого Копта. Такое богатство дало ему возможность поразить Страсбург роскошью, щедростью и благотворительностью. Но огромные суммы уже были затрачены, и теперь каждый день уменьшал наличность — значит, следовало позаботиться об ее умножении.

Калиостро не стал терять времени. Что в Петербурге требовало строжайшей тайны, что встречало в северных варварах недоверие, холодность и прямое обвинение в обмане и шарлатанстве, то на почве образованной, ученой Франции было несравненно легче. Мистицизм, страсть к

необъяснимому, сверхъестественному, а главное, жажда новизны, чего-нибудь захватывающего, манящего заставила почти всех богатых и влиятельных жителей Страсбурга, как мужчин так и женщин, заинтересоваться египетским масонством. В страсбургских домах с первого же дня приезда Калиостро только и было разговоров, что о Великом Копте, о египетском масонстве и учреждении в Страсбурге великой ложи. Людей, желающих превратиться из мирных граждан в египетских масонов, было сколько угодно. Оставалось только подвести их под различные категории и с каждой из этих категорий собирать, сообразуясь с обстоятельствами, более или менее обильную жатву. Этим-то и занялся Калиостро.

В подобном деле не было мастера, ему равного. Он искусной и опытной рукою зажег свою лампочку, и на эту лампочку со всех сторон так и устремлялись мошки. И бились эти мошки, зачарованные непонятным светом, и стремились к огню, не думая о том, что он может опалить их. Если этот огонь, зажженный Великим Коптом, и не опалял еще жителей Страсбурга, то во всяком случае он хорошо и быстро вытрясал их кошельки.

Казна графа Калиостро, опустошенная путешествиями, отделкою отеля и благодеяниями первых дней, быстро наполнялась. Надо отдать справедливость благодетелю человечества: он продолжал делать добро, и, каков бы ни был источник этого добра, оно безусловно существовало. Бедные уходили из его отеля с помощью, больные исцелялись...

Обходить молчанием эту сторону деятельности знаменитого авантюриста нельзя, да и самая его деятельность, его необычайная слава и значение в общественной истории последней четверти восемнадцатого века, его баснословные успехи — все это не могло бы иметь места, если б он действительно не делал много добра. Он был олицетворением огромной силы, соединенной с такими же огромными слабостями. Он обладал действительно знанием многих совсем неведомых тогда тайн природы, тех тайн, которые в наше время мало-помалу делаются всеобщим достоянием. Рядом со способностью к самым наглым обманам в нем были по временам порывы искреннего доброго чувства. Самая беззастенчивая эксплуатация людских слабостей, трескучее шарлатанство и всякого рода мистификации чередовались в нем с искренним вдохновением, в минуты которого можно было говорить разве только о самообмане.

Он попеременно черпал то из источника своей силы, то

из источника собственной слабости. Таким мы видим его во все продолжение его жизни, среди величайших успехов и самого низкого падения. Каким способом исцелял он людей от различных болезней? Посредством ли огромной заключавшейся в нем самостоятельной магнетической силы, о существовании которой в человеке до сих пор идет горячий и становящийся все более и более интересным спор? Посредством ли известного ему свойства человеческого воображения, являющегося, как теперь выясняется все убедительнее, действительной творческой силой? Впрочем, это все равно; факт тот, что он исцелял, и этому сохранилось много доказательств и свидетельств. Не подлежит сомнению, что многое множество людей, страдавших такими болезнями, против которых оказывалась бессильной современная медицина, назло этой медицине становились здоровыми.

Откуда бы ни исходили его деньги, но он ими уничтожал немало страданий, нищеты, горя...

Город Страсбург, серьезно им облагодетельствованный, был бы очень несправедлив, если бы вздумал подкладывать дрова в костер его...

Теперь, при новых открытиях и опытах современной науки, знакомясь с обширной литературой об этом поразительном человеке, можно найти ему настоящее место и уяснить его истинное значение. Пора отрешиться от ложных и пристрастных взглядов. Калиостро вовсе не тот фантастический, сказочный Бальзамо, не существовавший деятель и даже чуть ли не главнейший творец французской революции, каким изображал его в своих романах великий французский сказочник Дюма-отец. Но еще менее он тот мелкий, бессмысленный и глупый шарлатан, каким хотят его представить в нескольких позднейших романах, не имеющих ни одного из блестящих достоинств произведений французского романиста и если чем и поражающих, то единственно круглым невежеством их авторов.

X

Калиостро очень хорошо знал страсть человеческую ко всякого рода зрелищам, таинственным обрядам и вообще ко всему, что действует непосредственно на внешние чувства. Мало этого, он и сам был исполнен этой страсти. Начиная с сознательного обмана, приготовляя его обстановку, он мало-помалу сам увлекался этой обстановкой, входил в

свою роль, терял нить действительности и превращался в истинного жреца. Он мистифицировал людей не только ради достижения своих целей, а и потому, что находил огромное наслаждение в таких мистификациях.

Ему, например, вовсе не было никакой нужды уверять всех и каждого в своем бессмертии и в том, что он был личным свидетелем исторических событий, происходивших за тысячу — две тысячи лет до его пребывания в Страсбурге, а между тем он делал это постоянно и вкладывал в свои нелепые рассказы такую силу, что ему верили. Да, как ни странно представить себе это, ему верили очень серьезные, по-видимому, люди того времени. Та очевидная, оскорбительная ложь, которая должна была сразу отвратить от него и заставить сомневаться даже и в действительных его познаниях, только привлекала к нему.

Сколько раз в откровенные минуты, потребность в которых ощущается всяким человеком, говорил он своей Лоренце — единственному существу, с которым мог быть откровенен:

«Люди, за очень малыми исключениями, до того глупы, легковерны и ничтожны, что нет никакого греха пользоваться их глупостью, легковерностью и ничтожностью, извлекая из них всю пользу и для себя и для других. Есть болезнь, страдание, нищета, горе — всему этому надо помогать, не думая о глупости и ничтожности тех, кто страдает. Пусть здоровые, счастливые и сытые дают мне средства для такой помощи. А вдобавок я возьму от них наслаждение любоваться зрелищем их тупоумия. Я очень люблю такие зрелища...»

И Калиостро нередко позволял себе подобные забавы.

Проходит он, например, окруженный почтенными кавалерами и дамами, мимо картины, на которой изображен Александр Македонский. Вдруг останавливается, грустно смотрит на эту картину и вздыхает.

Все так и впиваются в него глазами.

— Бедный Александр!— говорит он, будто уходя в далекие воспоминания.— Один только я помню прекрасные черты твоего лица, один я мог бы изобразить их на полотне!

— Так вы его знали, граф? Неужели?!— спрашивают кругом с наивной, искренней серьезностью.

— Как же не знать... Одно время я был очень даже с ним близок, и если бы не безвременная его кончина... Но мне тяжело, господа, предаваться этим печальным воспоминаниям...

И все поражены, все так и теснятся вокруг и... ему ве-

рят. Ведь в самом деле лестно, а главное — «ново» быть знакомым с другом Александра Македонского!

Он даже и камердинера себе добыл подходящего. Этот камердинер, человек очень важного вида, исполненный самой подзадоривающей любопытство таинственности, скоро тоже стал популярен в Страсбурге. Как-то один из важнейших сановников города, находясь после обильного обеда в отеле графа Калиостро, увидел этого камердинера и, когда тот проходил мимо, схватил его за ухо.

— Постой-ка, разбойник,— воскликнул веселый гость,— попался ты мне; знай, что я не выпущу твоего уха, пока не скажешь мне, по истинной правде, сколько лет твоему господину!

Камердинер задумался, будто припоминая и соображая что-то.

— Позвольте, сударь,— наконец очень серьезно произнес он,— точно доложить вам, сколько лет графу, я не могу, я сам этого не знаю. Он мне всегда казался таким же молодым, как и теперь. Все, что я могу вам сказать,— это, что я нахожусь у него на службе со времени разложения римской республики... Да, мы условились относительно моего жалования как раз в тот самый день, когда Цезарь погиб, умерщвленный в сенате...

Так ничего другого и нельзя было добиться от этого удивительного слуги.

После подобных интересных воспоминаний «божественного» Калиостро очень естественно, что находилось немало людей, обращавшихся к нему с просьбою дать им рецепт если и не бессмертия, то хоть продления жизни на несколько столетий. Если такие лица вместе с тем заинтересовывались и египетским масонством и вносили на дело его процветания значительную сумму, они получали рецепт. В числе изданий того времени существует брошюра, носящая такое заглавие: «Секрет возрождения, или физическое усовершенствование. Открытие великого Калиостро». Вот как начинается эта брошюра:

«Кто хочет достигнуть такого усовершенствования своего физического организма, тот должен каждые пятьдесят лет удаляться сопровождаемый одним только близким человеком в деревню во время майского полнолуния. Среди полной деревенской тишины необходимо запереться в уединенной спальне и в продолжение сорока дней держать самую строгую диету: есть очень мало, всего несколько ложек супу и в небольшом количестве нежных и прохлаждающих овощей и салату. Пить можно только или дистил-

лированную, или дождевую майскую воду. Еда должна начинаться жидким, то есть водою, и кончаться крепким, то есть бисквитом или коркой хлеба. На семнадцатый день следует пустить себе кровь в незначительном количестве и затем принять по шести «белых капель» утром и вечером... На сороковой день принимают первое зерно «первобытного вещества...» и т. д.

Достаточно и этого курьезного образчика, чтобы видеть, каким вздором угощал Калиостро своих поклонников. Если эта брошюрка, как легко, конечно, догадаться, только насмешка над его «рецептами», все же в ней очень верно излагается суть дела. Рецепт дается, но тайна не в том, как надо поступать и что надо есть и пить, а в каких-то «белых каплях» и зернах «первобытного вещества». Но секрет этих «белых капель» и «первобытного вещества» мог быть открыт только посвященным во все тайны египетского масонства...

Таким образом, любознательный человек, жаждавший вечной молодости, сам того не замечая, все более и более втягивался в болото заманчивой неизвестности и за каждое новое, ничего не открывающее ему «открытие» щедро расплачивался. Когда богатых и тароватых жертвователей собралось достаточно, ложа Изиды была открыта и состоялось первое ее заседание в том самом «египетском» зале отеля Калиостро, где он давал свой первый сеанс «голубков». Масоны обратились к Великому Копту и спросили его, правда ли, что он сын знаменитого графа Сен-Жермена, слава о чудесах которого еще недавно гремела по всей Европе и который вдруг бесследно исчез.

Калиостро отвечал:

— Нет, это неправда. Я не сын его и не могу быть его сыном, ибо, во всяком случае, я не моложе его. Но я глубоко его почитаю, и еще очень недавно я и жена моя получили от него высшее посвящение... Узнали от него некоторые новые тайны.

— Так граф Сен-Жермен жив? Где же он?— взволнованно спрашивали слушатели.

— Он живет в Гольштейне, на лоне природы,— отвечал Калиостро,— но доступ в его чудный замок весьма затруднителен. Впрочем, хотя мы с ним и никогда не встречались, все же очень хорошо знали друг друга по репутации, и он с большой радостью принял меня и мою жену. Он назначил нам свидание в два часа ночи. Я и графиня надели белые туники и явились в замок. Подъемный мост опустился при нашем приближении, и какой-то человек гигантского роста проводил нас в едва освещенный зал. Вдруг громадные

двери открылись перед нами, и мы увидели озаренный тысячами свечей сияющий храм. На возвышении под золотым балдахином восседал граф Сен-Жермен с таинственным знаком на груди, свет которого был ярче солнечного. Полупрозрачная, дивной красоты женская фигура порхала вокруг балдахина, в руках у нее был сосуд с надписью: «эликсир жизни». Немного поодаль, перед громадных размеров зеркалом, мы увидели другую — то яснеющую, то почти совсем пропадающую — фигуру. Таинственный, неведомо кому принадлежащий голос проговорил:

«Кто вы? Откуда? Чего вы желаете?»

Тогда мы с женой преклонили колена, и я отвечал:

«Я пришел поклониться сыну природы, отцу истины, служить ему и получить от него посвящение в его великие тайны!»

Таинственный голос сказал:

«Чего желает подруга твоих долгих дней?»

И моя жена отвечала:

«Слушаться и служить».

Внезапно наступил мрак, вокруг нас происходило что-то страшное, и ужасный голос близко над нами возгласил:

«Горе тому, кто не в силах выдержать испытаний!..»

Страсбургские масоны слушали этот рассказ с всевозраставшим благоговением. Калиостро увлекался больше и больше. Он не договаривал, замолкал на самых интересных местах, дразнил своих слушателей. Когда заседание было окончено, новые египетские масоны разошлись по домам, как в тумане, и, конечно, никто из них не был бы в состоянии сказать, в чем же, собственно, заключалось это первое, так ожидаемое ими заседание ложи Изиды и какие тайны им открыты. Но они не отдавали себе ни в чем отчета, они были уже зачарованы.

На следующий же день по всему Страсбургу ходил рассказ о таинственном посвящении и еще более таинственных испытаниях в замке графа Сен-Жермена. А через два дня к Лоренце явилась депутация самых молодых и красивых страсбургских дам с просьбой открыть дамскую ложу Изиды, в первом заседании которой непременно должны быть «посвящения» и «испытания». Прелестные дамы города Страсбурга почему-то особенно жаждали «испытаний».

XI

Прелестная Лоренца, несмотря на все уверения мужа, что солнце над ними ярко светит и что наступили долгие

безоблачные дни, все же никак не могла почесть себя счастливой. Да и вообще вся ее жизнь, где бы и с кем бы она ни находилась, в какие бы обстоятельства ни ставило ее переменчивое счастье ее повелителя, была совсем неестественной и, в сущности, печальной.

Это происходило от ее личных, присущих ей свойств, от того, что, несмотря на видимые признаки здоровья, она страдала с самого детства сложной и удивительной нервной болезнью. Эта-то болезнь и сделала ее как бы нарочно созданной для роли помощницы Калиостро: только благодаря этой болезни он и мог развить в ней те исключительные способности, которые проявляются лишь в том случае, если нарушено физическое равновесие человеческого организма...

Жизнь Лоренцы состояла из постоянной смены самых разнообразных ощущений. Действительность, среди которой она находилась, часто исчезала для нее и заменялась то улавливаемым ею, а то и совсем бессознательным бредом, видениями.

Бессознательного, именно того, чем пользовался Калиостро, было очень много, и потому в жизни Лоренцы, в ее днях и ночах существовали удивительные пробелы — минуты и часы, которых она не знала, не понимала, во время которых она как бы совсем «отсутствовала».

Такая странная жизнь, постоянная смена болезненных, нервных ощущений, естественно, влекли и ее к новизне, ко всему, что могло поглотить ее внимание. В первые дни пребывания в Страсбурге ее занимала новая обстановка и та принадлежащая теперь ее мужу и ей почти царственная роскошь, какой до сих пор у них еще никогда и нигде не было. Но вот она присмотрелась ко всему этому и опять начала томиться и скучать.

Таким образом, депутация страсбургских дам была очень кстати, да к тому же и Калиостро, узнав об этой депутации, возбудил в жене интерес к новой предлагавшейся ей роли.

Вернувшись после обхода своей лечебницы, он распорядился, чтобы никого к нему не пускали, чтобы двери отеля стояли несколько часов на запоре и, взяв под руку Лоренцу, обходил с нею удивительные, таинственные залы, живо объясняя, для чего и каким образом устроено то или другое.

Он был в самом лучшем настроении духа. Оживление Лоренцы, интерес, который отражался на ее прелестном, таком дорогом для него лице,— все это наполняло его неподдельным счастьем. Он дал ей серьезный урок, как следует вести себя в роли верховной жрицы, что делать, что

говорить, и вместе с нею приступил к различным приготовлениям.

Когда все было готово, Лоренца написала одной из приезжавших к ней дам, что, по зрелом обсуждении, готова исполнить желание благородных жительниц Срасбурга и что просит приехать к ней немедленно двух или трех представительниц вновь образующегося кружка для окончательных переговоров. Когда дамы приехали, она торжественно объявила им, что согласна устроить в Страсбурге дамскую ложу Изиды и давать всем желающим уроки истинной магии, но с тем, чтобы на собраниях этой ложи никогда не присутствовал ни один мужчина. Число новых жриц Изиды должно быть не менее тридцати шести. И они вместе стали составлять список.

В Страсбурге очень легко набралось тридцать шесть молодых женщин, удовлетворявших требованиям, предъявленным Лоренцой. Требования эти состояли в следующем: каждая молодая дама, желающая начать изучение магии и вступить в ложу, должна сделать взнос не менее ста луидоров. Затем ей ставилось в непременную обязанность в течение двух недель вести строго уединенную, так сказать монастырскую, жизнь. Вот и все. По окончании указанного срока графиня Калиостро назначала день открытия ложи. Все дамы с радостью согласились на эти условия.

С нетерпением ожидавшийся день пришел. Было одиннадцать часов вечера, когда в гостиной Лоренцы собрались все до одной очаровательные неофитки.

Лоренца в этот вечер была мало похожа на всегдашнюю мечтательную, прелестную и робкую женщину, какой она всем казалась. Она встретила своих гостей с величием, достойным древней жрицы. Обойдя приехавших и убедившись, что все в сборе, она попросила дам в соседнюю комнату, где они должны были снять свои наряды и облечься с помощью ловких, почему-то до самых глаз закутанных прислужниц в приготовленные для них одежды.

Все были до такой степени заинтересованы и находились в таком нервном возбуждении, что даже переодевание, которое, конечно, при других обстоятельствах, потребовало бы немало времени, совершилось очень быстро. Не более как через четверть часа Лоренца уже снова была окружена дамами, превратившимися в каких-то древнегреческих красавиц. Все они были теперь в белых туниках с цветными поясами и оказались разделенными, по цвету этих поясов, на шесть групп, в каждой по шести дам. Принадлежавшие к первой группе имели черные пояса, ко второй — голубые, к

третьей — красные, к четвертой — фиолетовые, к пятой — розовые и, наконец, принадлежавшие к шестой группе были опоясаны лентами неопределенного, модного тогда цвета, который назывался «impossible». Их головы обвивал длинный прозрачный вуаль, на ногах были легкие сандалии с золотыми завязками.

Из этих четырех предметов — вуаля, белой туники, пояса и сандалий — состояла вся их одежда. Сама Лоренца оказалась в такой же белой тунике, с таким же вуалем на голове, только пояс у нее был золотой с ярко-пурпуровыми крапинками, казавшимися каплями крови. Золото этого пояса означало власть, пурпуровый цвет крапинок — истинное познание.

Из гостиной Лоренца повела дам в самый лучший, только что заново отделанный зал отеля. Зал этот с высоким куполом походил на храм. По стенам стояло тридцать шесть кресел, обтянутых черным атласом. Зал освещался сверху, с купола; благоухания наполняли его, и легкий дымок невидимых курильниц, разносившийся всюду, способствовал фантастичности обстановки.

Напротив той двери, в которую вошли неофитки, помещался высокий сверкавший золотом трон, а по обеим сторонам его стояли две какие-то странные темные человеческие фигуры.

Лоренца, пройдя через зал, величественной походкой поднялась по ступеням трона и остановилась на возвышении, озаряемом лившимся сверху светом.

Она была прекрасна в своей легкой белой одежде, обрисовывавшей ее стройные формы. Да и все эти тридцать шесть молодых женщин в их новой роли и новом виде оказывались гораздо интереснее, чем в самых модных и богатых нарядах. Их мужья и поклонники остались бы довольны таким превращением; но ни мужей, ни поклонников не было, чтобы взглянуть на них: это было первое заседание дамской ложи Изиды, вход в которую, как уже известно, строго запрещался каждому мужчине. Что же касается двух темных фигур, стоявших по сторонам трона, то невозможно было решить, кто это: женщины или мужчины.

Когда все дамы разместились на своих креслах, свет, озарявший зал, начал понемногу бледнеть и, наконец, совсем почти померк; весь зал оказался теперь в таинственной полутьме, в легком дыму фимиама, в полной торжественной тишине.

Тогда Лоренца сделала знак, и две таинственные фигуры сбросили с себя закутывавшую их кисею. Они оказались

красивыми молодыми женщинами в древнеегипетских костюмах.

Лоренца обратилась к дамам:

— Встаньте с ваших кресел, поднимите правую руку и обопритесь ею о колонну, которая рядом с каждой из вас. Отстегните застежки туники на левом бедре...

Все дамы немедленно исполнили это приказание. Тогда две юные египтянки вышли на середину зала и на мгновение остановились. Слабое мерцание, озарявшее с купола то место, где они стояли, дало возможность всем дамам разглядеть, что в руках у этих красивых египтянок находятся большие сверкающие мечи. Затем египтянки стали подходить по очереди к каждой даме и шелковыми шнурами всех их привязали друг к другу за правую руку и левую ногу. Таким образом, вокруг всего зала образовалась непрерывная цепь.

Когда это было исполнено, среди вновь наступившей полной тишины Лоренца возвысила голос. Никто никогда не слыхал от нее ничего подобного; она прекрасно выучила свой урок и декламировала с большим воодушевлением. Ее звонкий милый голос как серебряный колокольчик раздавался по залу и уносился в глубину купола. Она говорила:

— Сестры мои, вот вы все связаны, и это служит символом вашего положения в обществе. Как женщины, вы находитесь в зависимости от ваших мужей. Какого бы знаменитого рода вы ни были, какие бы громкие имена ни носили, какими бы богатствами ни владели — вы в цепях. Все мы с детства посвящены жестоким богам. Ах, если бы, сбросив это постыдное иго, мы сумели соединиться и вместе отстаивать наши права! Тогда мы бы скоро увидели наших теперешних повелителей у наших ног, умоляющих нас о снисхождении, добивающихся малейшего знака нашего внимания.

Но воинственно было только начало речи Изидиной жрицы. Скоро тон ее изменился.

— Однако,— говорила она,— оставим мужчин, их ужасные опустошительные войны, их скучные и непонятные для нас законы; займемся тем, чтобы владычествовать над общественным мнением, очищать нравы, развивать умы, помогать людям в бедах и несчастьях. Такая деятельность наша, всегда нам доступная, несравненно важнее и святее всей мужской горделивой деятельности!

Таково было вступление к открытию ложи.

Когда Лоренца замолчала, все тридцать шесть дам стали восторженно ей аплодировать. Прекрасные египтянки

распутали шелковые узлы, освободили неофиток, и Лоренца объявила:

— Получите свободу и будьте свободны также и в обществе. Свобода — это первая потребность каждого создания; пусть же все силы вашего духа будут направлены к тому, чтобы ее достигнуть. Но можете ли вы на себя положиться? Уверены ли вы в своих силах? Какое ручательство дадите вы мне в том, что не окажетесь слабыми? Вы должны немедленно подвергнуться испытаниям силы вашего духа!

У молодых дам так и забились сердца при этих словах. Они все еще продолжали с особенным нетерпением ожидать именно обещанных испытаний.

— Разделитесь на шесть групп, по цвету ваших поясов,— сказала Лоренца,— и пусть каждая группа пройдет в одну из дверей, находящихся перед вами. Знайте, что там, за этой дверью, ожидают вас ужасные испытания. Идите, мои сестры, двери открыты, и бледная скромная луна освещает земную природу!

XII

Каждая из молодых дам, пройдя в указанные египтянками двери, очутилась в незнакомой и такой же таинственной, как и весь этот отель, обстановке. Обширные помещения, где увидели себя неофитки, так же как и зал, не имели окон. Свет проникал откуда-то сверху и действительно походил на лунный. Он придавал всем предметам, находившимся вокруг, поэтический неопределенный колорит и менял их очертания. Что это было? Не то комната, не то сад — по крайней мере со всех сторон над возбужденными и любопытными молодыми женщинами свешивались ветви деревьев, отовсюду глядели на них загадочные изображения каких-то белых мраморных лиц, еще более загадочных при голубоватом освещении; покрытые свежим дерном скамьи были расставлены там и здесь, и легкие сандалии дам утопали в мягком, пушистом ковре.

Надо было только удивляться, каким образом такая фантастическая обстановка могла так скоро быть создана в страсбургском отеле. Но было и еще нечто, чему можно было гораздо более удивиться, что указывало на необыкновенную ловкость Великого Копта: в две недели, назначенные дамам Лоренцой для приготовления к первому заседанию ложи Изиды, Калиостро успел ознакомиться со всеми обстоятельствами жизни молодых неофиток, проникнуть во все их семейные и иные тайны и подготовить

им именно такие испытания, которые как нельзя лучше подходили к их характеру, свойствам, наклонностям и обстоятельствам их жизни.

Если бы Калиостро сразу мог расширить свой отель, чтобы вместить в него для каждой из тридцати шести дам отдельное помещение, результаты были бы, конечно, еще поразительнее... Но это оказалось невозможным. Отсюда явилась необходимость разделить дам на группы, обозначив это разделение цветом их поясов. В этом разделении на группы прежде всего и выказалось искусство Калиостро.

Каждая группа состояла из женщин, которых можно было подвергнуть более или менее общим испытаниям. Молодые дамы оказались сразу в атмосфере своих страстей, вкусов и грешков...

Сначала они были одни в этих таинственных помещениях и с всевозраставшим нетерпением ждали, что же такое с ними случится.

Но вот вблизи из-за зеленых ветвей раздался шорох, и перед ними показались какие-то фигуры. Фигуры эти при приближении мало-помалу теряли свои фантастические очертания и даже иногда оказывались им знакомы. Некоторые из дам узнавали в них черты того человека, который был им дороже всего или которым они, по меньшей мере, были сильно заинтересованы.

Почти каждая из дам должна была услышать самые страстные признания в любви, самые нежные клятвы, каких, может быть, до этой таинственной ночи она и не слыхала... Но женщины знали, что их задача — оставаться холодными как лед, и все они очень храбро выдержали это испытание. Внутреннее чувство подсказывало им, что строгость, которую они должны выказать,— не вечный обет. Таким образом, самые нежные и слабые из молодых страсбургских дам оказались непреклонными...

Испытания крепости сердца были окончены; оставались еще другие — и вот из-за тех же зеленых ветвей стали показываться дамам всевозможные призраки, чудовищного вида фигуры. Дамы, проникнутые желанием оказаться достойными посвящения и достигнуть познания таинств высшей магии, победоносно боролись с невольным страхом; только некоторые из них закрывали глаза и старались не глядеть на окружавшие их ужасы.

«Что же будет еще?» — спрашивали себя неофитки, когда все страшные призраки исчезли и снова все вокруг стало тихо.

Прошло несколько минут — никто не появлялся, ничто

не показывалось. Тогда молодые дамы поняли, что испытания окончены, что они вышли из них победительницами. Сознание своего торжества, своей силы наполнило их, и они устремились назад, к тем дверям, из которых прошли сюда. Они снова в зале, снова в облаках курений. Перед ними величественно-прекрасная жрица Изиды.

Лоренца поздравила их с окончанием испытаний и предложила каждой поместиться на черном атласном кресле и отдохнуть.

Когда все разместились, вдруг наверху, в самой вышине купола, послышался странный, неопределенный звук, будто что-то треснуло, открылось. Дамы подняли кверху глаза и с изумлением увидели, что с купола спускается на огромном золотом шаре человек.

Яркий свет сосредоточился на этом явлении. Шар опустился до полу, и сидевший на нем человек оказался сам Великий Копт, сам божественный Калиостро. Он был, подобно новым адепткам, в самом легком древнегреческом одеянии...

— Это гений истины!— воскликнула жрица Изиды.— Я желаю, чтобы вы от него узнали все тайны, которые издавна стараются скрыть от женщин. Бессмертный Калиостро вмещает в себе всю мудрость веков, он знает все, что было, что есть и что будет...

Молодые дамы знали пока одно, а именно — что великий Калиостро очень красив в своем древнегреческом наряде. Он принял грациозную позу на золотом шаре и обратился к прелестному собранию.

— Дочери земли!— воскликнул он.— Магия, истинная магия, о которой ходят такие разноречивые слухи, на которую давно уже так клевещут, в сущности есть не что иное, как секрет делать добро человечеству. Магия — это посвящение в таинства природы и власть пользоваться этими таинствами по своему усмотрению. Вы не можете более сомневаться в магических силах. Силы эти переходят предел возможного, и это было вам доказано в только что пройденных вами испытаниях. Каждая из вас видела того, кто близок и дорог ее сердцу, говорила с ним, а между тем ведь вы говорили только с призраками, только с тенями, созданными магией, а не с живыми людьми! Вы видели только образ человека, а не самого человека. Когда вы отсюда выйдете и встретитесь с теми, кто, как вам казалось, был так от вас близок несколько минут тому назад, спросúте их, и вы убедитесь, что эти дорогие вам люди не имеют ни малейшего понятия о том, где вы находились сегодня и кого видели. Таким образом, не сомневайтесь более в могуществе магии

и по возможности чаще являйтесь в этот храм, где самые удивительные тайны будут вам открыты. Первое посвящение, пройденное вами,— очень хорошее предзнаменование для вас. Вы доказали, что достойны быть посвященными в высочайшие тайны, узнать великую истину, но я вам буду сообщать ее не сразу, а понемногу, по мере того как вы будете в состоянии воспринимать ее отдельные части. На сегодня узнайте только одно: высочайшая цель египетского масонства, догму и ритуал которого я перенес сюда из самой глубины Востока,— это счастье человечества, беспредельное счастье! Всякий посвященный египетский масон, мужчина или женщина, непременно пользуется таким беспредельным счастьем. Оно состоит равно в душевной ясности, в удовольствиях разума и наслаждениях тела. Такова эта высокая цель. Для достижения ее знание открывает нам все тайны природы, проникая всюду, и такое знание — магия. Пока не спрашивайте меня ни о чем больше, живите счастливо, любите мир и гармонию, обновляйте дух ваш нежными волнениями... Любите добро и делайте его, сколько можете,— все остальное ничтожно!

Окончив эту речь, божественный Калиостро снова поднялся на своем золотом шаре и снова исчез в глубине купола.

Теперь яркий свет озарил зал. Внезапно пол посредине ушел вниз, и перед изумленными взорами дам поднялся, как по волшебству, большой длинный стол, роскошно сервированный и уставленный самыми тонкими кушаньями и винами. Серебро так и блестело; хрусталь так и переливался цветами радуги; букеты душистых цветов в прекрасных вазах наполняли зал новыми ароматами. Две проворные египтянки, отбросив свои страшные мечи и приветливо улыбаясь, поставили к этому волшебному столу кресла и пригласили дам садиться.

Лоренца тоже любезно улыбалась. Она заняла свое место во главе стола, и тут начался самый изысканный и веселый ужин. Новопосвященные отбросили свою неловкость, все свои страхи. Несколько глотков чудесного вина оживили их, вселили в сердца их радость; искренний смех раздался под таинственными сводами храма. Вдобавок ко всему неведомо откуда вдруг раздались звуки музыки, а когда ужин был окончен, волшебный стол снова опустился и пол зала оказался на своем месте. Две египтянки превратились в искусных танцовщиц; они протанцевали перед страсбургскими дамами все древнеегипетские и иные восточные танцы, в которых, может быть, и мало было древнего, египетского и

восточного, но которые дамам все же очень понравились.

Эти таинственные египтянки, очевидно, обладали большими способностями: они прекрасно умели говорить по-французски и поведали молодым адепткам всю свою родословную. Оказалось, что каждой из них, несмотря на видимую юность, по нескольку тысяч лет и что они уже существовали и так же точно танцевали во времена первых фараонов.

Когда, наконец, все удовольствия были окончены, Лоренца улыбнулась и весело сказала:

— Я должна извиниться перед вами, мои дорогие гостьи: быть может, вы недовольны, и, конечно, имеете на то право; вы, наверное, ожидали гораздо большего, гораздо более серьезного. И вот ваше первое посвящение окончилось хорошим ужином, музыкой и танцами! Я обещала вам первый урок магии; если вы недовольны этим уроком, покиньте ложу Изиды; если довольны — я готова всегда, по первому вашему желанию продолжать подобные уроки!

Прекрасная Лоренца все милее и милее улыбалась. Ее хорошенькие глаза так и ласкали всех этих адепток, а горячая маленькая рука, украшенная дорогими кольцами и браслетами, крепко сжимала их руки. Вся фигура Изидиной жрицы дышала очарованием и прелестью.

Не нашлось ни одной из тридцати шести адепток, которая бы выразила ей свое неудовольствие. Все оказались в восторге и от посвящения, и от урока магии, одним словом — от всего этого вечера. Горячими рукопожатиями и поцелуями благодарили страсбургские дамы графиню Калиостро, прося ее только об одном — чтобы заседания великой ложи Изиды происходили как можно чаще.

Она обещала им это.

Было уже три часа ночи. Дамы поспешили снять с себя свои туники и переодеться в те платья, в которых сюда приехали... Адептки египетского масонства вернулись домой совсем очарованными. Дамской ложе Изиды предстояло в Страсбурге прочное процветание.

XIII

После подобного рода проделок и великолепно организованных зрелищ Калиостро оставался в полном спокойствии своей совести. Он искренно находил, что не делал этим никому вреда, а, напротив, доставлял глупым людям удовольствие а себе кроме удовольствия и пользу.

Но он не мог избавиться от состояния, находившего на него почти всегда после таких удовольствий, даже если они оканчивались не только морочением людей, но и доводили его самого до вдохновения, до самообмана,— он утомлялся, ему становилось душно в этой низменной, мертвой атмосфере. Все лучшие стороны его духовного организма болезненно трепетали и требовали для себя простора, требовали деятельности в иной, высшей сфере.

И он спешил в эту иную, высшую сферу. Он запирался в самых далеких, никому недоступных комнатах своего отеля, соединенных маленькой дверцей с его спальней и будуаром Лоренцы. Здесь, чувствуя близость любимой женщины и в то же время в полной тишине, в полном уединении, он оказывался окруженным грудами книг, бумаг и всевозможными предметами, необходимыми для производства различных химических опытов и работ.

Он сбрасывал с себя свой роскошный костюм, сверкавший золотом и драгоценными камнями, снимал все свои перстни, цепочки и кружева. Снимал, наконец, с головы искусно завитый парик, надевал простую рабочую блузу и превращался в совсем нового человека, в такого, каким никто никогда не знал и не видал его, кроме Лоренцы.

Это был уже не граф Калиостро, не граф Феникс, не Великий Копт, не современник Александра Македонского, а Джузеппе Бальзамо. И опять-таки это был не тот юный Джузеппе Бальзамо, которого двадцать лет тому назад знали на Сицилии и в Италии. Это был человек настолько могучий плотью и духом, что вся беспорядочность, все мытарства и низкие деяния его как-то сглаживались, придавливались горячей и плодотворной работою лучших сторон его разума и духа.

В своей рабочей блузе, с гладко остриженной головою, с задумчивым, сосредоточенным выражением умного и красивого лица, этот новый Джузеппе Бальзамо являлся замечательным, вдохновенным ученым, талантливым учеником оккультистов всех направлений, страстным искателем тайн природы, исследователем и знатоком древних наук — алхимии, кабалистики, астрологии.

Его познания во всех этих предметах были гораздо глубже, чем это могло показаться сразу, судя по тем незамысловатым приемам и по тем отнюдь не глубоким речам, которыми он обыкновенно морочил людей. Но дело в том, что он слишком высоко ценил истинное знание, для того, чтобы профанировать его в сношениях с глупцами. Он находил, что для этих глупцов достаточно всякого вздора и

мишуры, и почти никогда не показывал настоящего золота своих знаний. Это золото берег он для себя и для тех редких случаев, когда его аудитория состояла из настоящих знатоков.

Калиостро принимался за работу страстно, увлекался ею, ловил, где только мог, зерна новых знаний. Ему удавалось иногда добывать эти зерна, но в конце концов он видел, что их все же слишком мало, что не сложить ему из этих зерен целую гору, взобравшись на которую можно окинуть орлиным оком все явления мироздания.

Еще очень недавно ему страстно хотелось взобраться на такую гору. И он пошел к таким людям, которые могли помочь ему в этом великом деле — он пошел к розенкрейцерам и убедился, что там, на вершине розенкрейцерской лестницы посвящений, действительно хранятся величайшие тайны. Но подняться по этой лестнице — значило навеки отказаться от всех радостей жизни, от всего, без чего он не мог существовать.

И вот Калиостро оказался ренегатом и навлек на себя справедливый гнев розенкрейцеров. Он знал, что один неловкий шаг его, одно вырвавшееся из его уст слово — и ему не избегнуть их страшного мщения. Но он вовсе не желал их выдавать, ему этого вовсе было не надо, он сам добровольно отказался от возможности дальнейших посвящений. А те тайны природы, которые были ему открыты, он узнал иным путем — узнал их в своих не фантастических, а в действительных путешествиях по Востоку. Он изучал их, будучи внимательным учеником знаменитого, уже умершего, кабалиста, которого он называл Альтотасом.

Наконец он, и теперь не только в теории, но и на практике, изучил многие тайны природы с помощью Лоренцы. Она, сама того не зная, давала ему полные смысла и значения уроки, она открывала ему неведомые способности души человеческой, помогала ему иной раз быть действительно бесконечно выше всего окружающего, видеть, не трогаясь с места, все, что творится на земном шаре, видеть и знать не только настоящее, но и будущее.

Иногда до глубокой ночи засиживался Калиостро в своей лаборатории, и ни малейшего движения, ни малейшего шороха не слышалось вокруг него. Иногда случалось так, что среди самой горячей работы он вдруг останавливался, оставлял книгу или какую-нибудь реторту и начинал чутко прислушиваться.

Он слышал шаги. Шаги приближались, маленькая дверца неслышно отпиралась, и перед ним появлялась Лоренца.

Он весь превращался во внимание и при первом же взгляде на жену уже знал, кто перед ним — Лоренца или Серафина. Лоренца — это была любимая им жена, которая проснулась и, убедясь, что уже поздний час ночи, а муж еще работает, встала и пришла просить его прекратить работу и лечь спать. Серафина была та же Лоренца, но уже превращенная в совсем иное существо. Серафина тоже встала и пришла сюда, но она вовсе не здесь, а где-нибудь далеко, и он может послать ее во все пределы земного шара, и она мгновенно очутится где ему угодно и скажет ему все, что видит, все, что делается там, куда он послал ее.

С этой Серафиной для него не существует пространства и времени, он видит тех людей, которые так или иначе его интересуют, знает все их поступки, все их намерения, даже помыслы. С помощью этой дивной Серафины для него нет тайн и он является действительно могущественнейшим человеком.

Беда лишь в том, что не всегда Лоренца способна становиться Серафиной и что он не имеет средств всегда, когда того хочет, приводить ее в состояние этого полного ясновидения. Он всегда может усыпить ее и в состоянии такого усыпления заставить тем или иным способом служить его целям. Но подобное усыпление — совсем не то. Оно — ничто в сравнении с ее ясновидением.

Иногда выпадает такое время, что Лоренца в течение двух-трех недель каждую ночь превращается в Серафину; иногда проходят месяцы, а Серафина ни разу не является. Эти-то месяцы отсутствия Серафины всегда и бывали трудным временем для Калиостро. В эти-то месяцы обыкновенно и случались с ним всякие невзгоды.

В последнее время — во все время пребывания в Петербурге — Серафина не являлась. Появляйся она — вероятно, не было бы фиаско, испытанного им в северной столице. Зная все, он сумел бы восторжествовать над всеми кознями своих недоброжелателей, над нерасположением императрицы Екатерины и даже, наконец, над силою великого розенкрейцера. Явись Серафина в Петербурге, он показал бы тамошним адептам египетского масонства такие чудеса, что все они безоговорочно сложили бы у ног его и свою жизнь, и свою душу, и все свои миллионы.

Но Серафина не являлась. Она явилась только один раз по пути из России в Страсбург, и это ее появление имело огромные последствия: несколько богатейших масонских лож благодаря Серафине, то есть благодаря невероятным

познаниям и могуществу графа Калиостро, доказанным им публично в заседаниях лож, превратили все эти ложи в его собственность.

Здесь, в Страсбурге, Серафина тоже уже несколько раз появлялась, хотя эти явления и были очень кратковременны, иногда продолжались всего две-три минуты, так что Калиостро не успевал узнавать от нее всего, что ему было надо...

Через несколько дней после первого заседания женской ложи Изиды, когда Калиостро, по обычаю, работал ночью в своей лаборатории, дверь отворилась, и перед ним появилась Серафина. Он осторожно подошел к ней и спросил:

— Где ты, Серафина?

— Я по дороге в Петербург,— отвечал нежный голосок Лоренцы.

— Хорошо, спеши скорей туда.

— Я уже там... вот Нева... вот улицы Петербурга... Куда мне теперь?

— В дом князя Захарьева-Овинова,— сказал Калиостро.— Где он, что он делает?

— Его нет в доме,— отвечала Лоренца.— Его нет в Петербурге, он уехал... Он спешит в Германию, в Нюрнберг...

— Зачем?

— Постой... вижу!.. Он спешит на заседание... к старым ученым сильным людям... Это очень важное заседание, и на нем должны решиться большие вещи...

— Будет ли это заседание иметь какое-нибудь отношение ко мне? Будет ли Захарьев-Овинов говорить обо мне?— не без волнения спросил Калиостро.

— Да, будет.

— Что же мне грозит?

Серафина на мгновение замолчала.

— Вижу!— вдруг радостно воскликнула она.— Тебе нечего бояться... Он совсем другой стал... Он тебе не враг... жалеет тебя, даже любит... Он всех любит и даже всех жалеет... О, какая в нем борьба идет! То свет в душе, то мрак... Тебе надо ехать!— внезапно прибавила Серафина.

— Куда?

— В Нюрнберг.

— Это в Нюрнберге будет заседание?

— Да, и там будет... только он спешит в другое место... в другое заседание... к старикам.

— Где же это?

Но Серафина уже исчезла. Калиостро едва успел под-

хватить падавшую Лоренцу и внес ее в спальню. Она спала теперь естественным, спокойным сном.

На следующее утро, прочитывая свою корреспонденцию, Калиостро увидел письмо, печать которого ему была знакома. Он быстро разорвал конверт и прочел латинские строки, где значилось:

«Годичное собрание в N. О месте будет сообщено своевременно. Приезжай, если помнишь клятву, данную учителю. Albus».

Калиостро уже ничего не страшился. Он был спокоен. Через день в Страсбурге узнали, что благодетель человечества куда-то уехал, но вернется в самом ближайшем времени.

XIV

Один из диких уголков Южной Германии. Кругом лес и горы.

Мимо скал, пропадая в расщелинах, исчезая в глубине леса, поднимаясь по кручам и лепясь у оврагов, тянется мало кому ведомая дорога. До ближайшего города далеко — скорой езды не менее двенадцати часов. Два-три бедных селения с какой-нибудь сотней жителей-горцев, ничего и никого не знающих, кроме своих односельчан, кроме своего леса и гор, только и нарушают полное безлюдье местности.

Редкий путешественник, какой-нибудь студент, слишком засидевшийся и заучившийся и во время летних вакаций задумавший совершить путешествие пешком в глубь дикой горной страны, зайдя сюда, останавливается и спрашивает себя: «Куда же дальше?» Вековые ели и поросшие мохом скалы остаются безмолвными, да и бедный горец, встретясь студенту, немногое ему скажет. Он скажет ему:

— Да куда ж тут! Тут идти некуда — тут горы...

— А дорога эта куда ведет?

— Дорога-то? Идет она к Небельштейну.

— Что это такое — Небельштейн?

— А вот та гора и есть Небельштейн. Там был замок баронов фон Небельштейнов, а теперь от него почти ничего и не осталось.

— И никто не живет там?

— А кто его знает! Старик там какой-то; пожалуй, даже и два старика, только их почти никто никогда не видит, да и неведомо, кто такие те старики... Думать о них совсем

не след — еще не ровнó беду на себя какую накличешь... Колдуны там живут — вот что! Чертовщина всякая творится в старом замке.

И горец так сумеет напугать вовсе не робкого студента, что тот уложит в сумку свою храбрость, свою жажду приключений и любовь к неизвестностям, да и повернет с едва обозначенной, заросшей травою дороги в места менее дикие, более интересные, более заманчивые для молодого воображения.

Проходят годы. Все так же тихо, пустынно и уединенно вокруг Небельштейна. Умерли старики-колдуны или нет? Как живут они там, отрешенные от всего мира? Или, может, их нет совсем, и существуют они только в воображении горцев?

Нет, по-прежнему развалины старого замка обитаемы. Если бы студент, смущенный горцем, все же решился взобраться на вершину Небельштейна, то он увидел бы, что и самая дорога чем ближе к вершине, тем становится все лучше и лучше: он увидел бы на одном из лесных поворотов перед собою чрезвычайно оригинальную и красивую картину: старый замок, со всех сторон заросший елями и густым кустарником, высеченный в скале и то там, то здесь выглядывающий то древней бойницей, то округлостью колонны, то готическими узорными, будто кружевными, окнами. В часы тихой глухой ночи он заметил бы то там, то здесь струйку неверного мерцающего света, исходящего из почти совсем закрытых зеленью окон...

Впрочем, только это и мог бы он увидеть, так как если бы захотел проникнуть в самый замок, то это никак не могло ему удаться. Сколько бы ни стучался он в наглухо запертые старые железные двери, никто не откликнулся бы на стук его.

Для того чтобы узнать, что же происходит в замке и кто его обитатели, надо было выломать эти двери, а такая работа была бы не под силу и нескольким крепким людям, да никто ни о чем подобном и не думал...

Но, видно, и у старых колдунов старого замка бывают иной раз гости. Вот тихим, но холодным вечером какой-то всадник приближается по заросшей дороге к замку Небельштейн. Бодрый конь, видимо, притомился — немало часов везет он всадника все вперед и вперед, по лесам и горам, поднимаясь выше и выше. И всадник, должно быть, хорошо знаком с местностью: не смущают его никакие препятствия, не останавливается он, а только объезжает

извилистыми тропинками встречные селения, чтобы с кем-нибудь не встретиться.

Последнее человеческое жилье осталось позади. Скоро полная темнота окутает горы, а всадник и не думает об этом. Темнота застигла его в лесу, но он уверенной рукой направляет своего коня и наконец поднимается к самому замку. Он подносит ко рту свисток, и пронзительный, какой-то странный, необычный свист оглашает пустую окрестность.

Раз, два и три — три раза звонкие вызывающие звуки прорезали застывший ночной воздух, проникли всюду, и вот среди нависших еловых ветвей, дикого кустарника и густых, засохших уже, по времени года, вьющихся растений мелькнул свет. Послышались лязг и скрип отворяющейся тяжелой железной двери. На пороге появился с фонарем в руке сгорбившийся старик с длинной седой бородою. Он приподнял руку к глазам, вглядываясь во мрак.

— Добро пожаловать господин!— воскликнул он старческим, но еще бодрым голосом.— Добро пожаловать! Час уже поздний, немного осталось часовой стрелке пройти до полуночи, до полуночи великого нынешнего дня!

— Здравствуйте, друг мой Бергман!— ответил всадник, спрыгивая с коня.— Напрасно боялись вы, что я не приеду.

— Не боялся я...— как-то нерешительно проговорил старик,— а только... только час уже поздний! Дайте-ка лошадь, я проведу ее на конюшню, а сами берите фонарь и идите прямо — знаете куда,— они уже в сборе. С утра уже в сборе... и все ждут вас.

Всадник передал старику коня, принял из рук его фонарь и вошел в дверь. Когда свет от фонаря озарил лицо его, в этом таинственном посетителе старого замка легко было узнать Захарьева-Овинова.

Он поднялся по знакомой ему узкой каменной лестнице и невольно остановился. Целый рой воспоминаний нахлынул на него в этих старых вековых стенах, где провел он самое знаменательное время своей жизни. Сердце его как-то защемило, едва слышный вздох вылетел из груди. Но вдруг он выпрямился, поднял голову и твердой поступью пошел вперед по длинному сырому коридору, где гулко раздавались его шаги.

Вот небольшая дверь в глубине коридора. Он повернул ручку, отворил дверь и вошел. И снова рой старых воспоминаний как будто налетел на него, охватил со всех сторон и стал добираться до его сердца. Но это было одно мгновение.

Он сбросил плащ, шляпу и спешным шагом направил-

ся в глубину обширной слабо освещенной комнаты. Четверо людей поднялись ему навстречу, но он уже был у старого высокого кресла, в котором сидел величественного вида старец, и склонился с сыновним благословением к руке этого старца, крепко ее целуя.

— Привет тебе, сын мой!— раздался над ним знакомый голос, и этот голос теплою волною пробежал по всему его существу.

Он поднял голову, их взоры встретились, и несколько мгновений они оставались оба неподвижными, крепко обнимая друг друга.

Наконец Захарьев-Овинов так же крепко обнялся и с четырьмя присутствующими людьми.

— Отец! — затем сказал он.— Братья мои! Извините меня, если я заставил себя ждать. Я сделал, что мог... Да и, наконец, сегодняшний день еще в нашем распоряжении.

— Нет,— твердо произнес старец,— тебе не в чем извиняться. Мы тебя ждали, твердо зная, что, если ты жив, то явишься ныне раньше полуночи... и ничто нам не указывало на то, что тебя нет в живых. Садись на свое место.

И он указал ему своей тонкой, иссохшей рукой на кожаное кресло рядом с собою.

Захарьев-Овинов сел, и еще раз его быстрый пронизывающий взгляд остановился на этих дружественных лицах, озаряемых светом большой лампы, поставленной на стол.

Да, все в сборе. Вот маленький француз Роже Левек, все с теми же ясными голубыми глазами, все с той же глубокой морщиной, пересекающей лоб. Он, как и всегда, в темной и скромной одежде, в которой, наверно, недавно еще можно было его видеть в Париже, на левом берегу Сены, в своей запыленной лавочке букиниста. Рядом с ним важный, величественный барон Отто фон Мелленбург. По другую сторону стола профессор Иоганн Абельзон, крошечный, юркий, проворный и привычно то и дело вертящийся на своем кресле и сверкающий могучими, так и проникающими в глубь души глазами. Вот и старый граф Хоростовский, почти неестественно тощий, с тонкими ввалившимися губами, с беспокойными и умными старчески слезящимися глазами.

Все в сборе, все поначалу кажутся такими же, какими были и в последнее годичное заседание, в этой же самой комнате, а между тем Захарьев-Овинов видел в них большую перемену. Перемена была и в прекрасном старце: он как буд-

то осунулся и, не изменявшийся долгие годы, будто сразу постарел.

На всех лицах была заметна как бы тень печали.

XV

Захарьев-Овинов откинул голову на спинку кресла. Вся его поза указывала на некоторое утомление. Он испытующим, невеселым взглядом обводил присутствовавших.

Старый Ганс фон Небельштейн вынул из кармана маленький золотой ящичек, открыл его и протянул Захарьеву-Овинову. Тот молча взял из ящичка кусок какого-то темного вещества и положил его в рот. Между тем старец говорил:

— Прими, мой сын, это угощение. По счастью, для подкрепления человеческих сил после долгого пути, для уничтожения чувства усталости, голода и жажды нам не надо накрывать на стол, подавать всякие кушанья, приготовленные из мяса убитых животных, и вина, действие которых так или иначе, в большей или меньшей степени, а все же всегда нездоро́во и нежелательно отзывается на человеческом организме. Мы можем ограничиться маленьким кусочком этого чудесного темного вещества, заключающего в себе чистейшую эссенцию лучших целебных и могучих произведений природы. Если тебе недостаточно одного кусочка, возьми еще. В моей лаборатории только что изготовлен свежий запас этой чудной пищи, поддерживающей мои угасающие силы.

Но Захарьев-Овинов отрицательно покачал головою. Он уже чувствовал во всем теле свежесть и бодрость, как будто не ехал весь день и весь вечер верхом, почти не останавливаясь, как будто не провел более суток безо всякого питья и пищи. О, если б вместе с этою бодростью и свежестью тела маленький ароматный кусочек, таявший теперь на языке, мог наполнить и сердце его такою же бодростью, вернуть ясность и спокойствие душе его!.. Но душа его оставалась неспокойной, и тоска сжимала сердце.

— Отец,— медленно сказал он,— этой пищи даже слишком много для моего тела, но дух мой смущен, и такое же точно смущение замечаю я и в тебе, и в братьях. Недавно, в дороге, занялся я комбинациями чисел и знаков, вспомнил твои первые уроки, данные мне здесь, в этой комнате, за этим столом. В результате моей работы получилось нечто не совсем для меня понятное, ибо, как всем

нам известно, каждая работа с числами и знаками приводит к ясному выводу только тогда, когда мы можем подписать его с помощью нашего разума. Мой же разум в последнее время иногда останавливается и говорить не хочет. Но я знаю — и вы, конечно, это знаете,— что нынешний день не походит на прежние подобные дни, что он имеет особенное, исключительное значение в нашей общей жизни, в деле, которому мы служим, а может быть, и в целой судьбе человеческого знания. Это все мне сказал мой разум, это я еще яснее понимаю теперь, глядя на вас...

Ганс фон Небельштейн, грустно и пытливо посмотрев на Захарьева-Овинова, опустил свою прекрасную старческую голову.

— Великий брат!— воскликнул Абельзон,— ты продолжаешь наш разговор, прерванный твоим появлением.— Мы остановились именно на том, что ты сейчас высказал. Мы все знаем и чувствуем то, что ты знаешь и чувствуешь, и мы спрашивали нашего отца; что это все значит? Ты вошел — и он не успел нам ответить. Теперь, отец, когда к вопросу нашему присоединился и носитель знака Креста и Розы, прерви свое молчание, открой нам то, предчувствие чего нас всех так тревожит!

— Сегодняшний день или, вернее, эта ночь, все вам откроет,— ответил старец,— я же, пока еще не совершилось то, что должно совершиться, не могу сказать вам ничего больше. Вам известно, что я не всеведущ, что если я и могу читать ясно в грядущей судьбе, то столь же ясно и твердо знаю, как тому учил и всех вас и в чем сами вы убедились, что судьба не уничтожает свободы воли в человеке.

Все вы знаете, что в великой книге природы все представлено широкими общими чертами. В этой книге указаны пути, по которым струится мировая жизнь, но воля человека, не изменяя основных, предвечных законов, может направлять и сглаживать различные течения жизни, может производить более или менее значительные изменения в судьбе. И уже в особенности способна на это воля людей, которые, подобно вам, сумели разгадать загадки великого Сфинкса, которые не раз видели, какою беспредельной творческой силой обладает воля, если она действует в гармонии с божественными законами.

Таким образом, я знаю судьбу сегодняшнего дня только условно. Не станем же упреждать событий, которых мы сами должны быть главнейшими двигателями. Не будем терять времени на отвлеченную беседу. И раз мы все проникнуты сознанием, что нынешнее собрание наше особенно

знаменательно, что нам предстоят самые великие решения,— сосредоточим же все внимание наше на прошлом братства, вглядимся в его настоящее, и только тогда мы познаем и решим будущее.

XVI

— Мы здесь вдали от всего, что так или иначе может мешать нам,— продолжал он после некоторого молчания,— слова наши никогда не коснутся слуха непосвященных. Мы здесь в полном единении истинного братства — родства не по плоти, а по духу. Вы называете меня своим отцом, а я вас называю своими сынами. Заглянем же вместе в далекую глубь времен... Вы знаете, какие разноречивые рассказы и слухи ходят о нашем братстве и как мало правды во всех этих слухах и рассказах. Нам же ведома истина. Ни я, когда еще вращался в миру, ни вы не способствовали распространению того мнения, будто общество розенкрейцеров существовало в доисторические времена Гермеса-Тота, что оно процветало при царе Хираме и при Соломоне. Никто из нас не говорил посвящаемым братьям, что оно основано Розенкрейцером, родившимся в 1378 году и умершим ста шести лет в 1484 году. Мы знаем, что название нашего братства происходит не от имени Розенкрейцера, а от креста, центр которого состоит из кругов, расположенных подобно лепесткам розы, и что наша крестовая роза есть величайший символ, взглянув на который мы ясно видим все тайны природы, заключенные в этом символе... Мы знаем, что своей настоящей, до сего дня существующей организацией братство наше обязано мудрому Валентину Андрэ из Вюртемберга, который в первый раз председательствовал на заседании учителей-розенкрейцеров в 1600 году. Заседание это проходило здесь, в этом старом замке Небельштейн, в этой комнате, где мы теперь находимся. С тех пор — вот уже сто восемьдесят лет — в этой комнате ежегодно проходят подобные заседания. Вот уже восемьдесят лет, как я принял высшее посвящение и духовную власть главы розенкрейцеров из рук моего дяди, Георга фон Небельштейна, и собственноручно опустил в никому не ведомую могилу прах этого великого учителя... Тогда мне было тридцать лет, теперь мне — сто десять...

— Мы знаем все это,— сказал Захарьев-Овинов,— но ведь во всех, даже и превратных, толках о нашем братстве заключается много истины. Во всяком случае, хотя

братство и создалось в сравнительно недавнее время, мы прямые наследники древнейших мудрецов и чувствуем свою связь с ними; мы учились в одной общей школе и с Соломоном, и с Пифагором, и со всеми смелыми мужами, разгадывавшими загадки Сфинкса, срывавшими покровы с Изиды и понимавшими таинственный смысл символа Креста и Розы.

— Конечно,— сказал старец,— истина едина, и всякий, кто сумел открыть хоть частицу ее, был, есть и будет наш брат. В этом смысле розенкрейцеры всегда существовали, существуют и будут существовать, пока не исчезнет человечество. И всегда, в силу высшего закона, подобные розенкрейцеры легко будут приходить, когда того пожелают, в общение друг с другом и помимо всякого организованного братства... Но я теперь говорю именно об организованном обществе, во главе которого нахожусь и которое имеет определенные задачи и цели. Это величайшее из человеческих учреждений, существующее во времени и пространстве, может быть подвержено случайностям. Наша обязанность — охранять его от всяких случайностей, беречь его тайну, строго и неусыпно следить за тем, чтобы каждый из посвященных — от самого слабого ученика и до учителя — исполнял свои обязательства. Наша обязанность — отыскивать людей, способных стать истинными розенкрейцерами, помогать им, развивать их, следить за ними. Наконец, наша обязанность — карать изменников, ибо человек, владеющий великими тайнами природы, открытыми ему нами, и злоупотребляющий своими познаниями, должен погибнуть, для того чтобы из-за одного преступника не погибли тысячи невинных. Вы знаете, что деятельность главы нашего братства, не требуя от него передвижений, требует, однако, много времени, много сил — большой затраты сил! Пока я был в состоянии, я исполнял все мои обязанности, до сего дня я знаю все, что относится к братству, за всем слежу; я не упустил ничего, и деятельность каждого брата, какова бы ни была степень его посвящения и где бы он ни жил, мне известна. Я направляю и укрепляю достойных или посредством инструкций, даваемых мною одному из нас, учителей, или иными известными мне способами. Но мне сто десять лет, и, хотя я еще могу жить и работать, у меня уже не прежние силы, я уже становлюсь слишком слаб для исполнения обязанностей главы братства. В этом для вас нет ничего нового. Вы знаете, что мне пора передать мою власть в более крепкие руки, и сегодня мы собрались здесь прежде всего для этой пере-

дачи. Я открыл заседание, но закрыть его должен новый глава розенкрейцеров...

Старец замолчал и пытливо и строго посмотрел прямо в глаза Захарьева-Овинова, на которого пристально глядели и учителя. Но никто из них ничего не прочел на внезапно будто застывшем, будто окаменевшем лице великого розенкрейцера.

Старец заговорил снова:

— Мой преемник известен; преемственность в среде нашей происходит не в силу желания или нежелания нашего, а по праву истинного знания, сил и внутренних качеств...

— Вот человек,— дрогнувшим голосом воскликнул он, указывая на Захарьева-Овинова,— вот человек, давно, с детства своего предназначенный для великой власти! Мы следили за ним, привлекали его к себе, и с нашею помощью он быстро поднялся по лестнице посвящений. Все испытания пройдены им, и еще недавно он одержал огромную последнюю победу над материальной природой.

Снова остановился старец, и взгляд его так и впивался в Захарьева-Овинова, силясь проникнуть в глубину души его и прочесть в ней все, до самого дна. Но великий розенкрейцер запер свою душу, и старец тщетно стучался в эти до сих пор всегда открытые для него двери.

— Да,— почти с негодованием произнес он,— час настал! Мои силы ослабели... его силы возросли... Я готов передать ему власть мою и провести остаток дней моих в ничем уже не возмущаемой тишине... Сын мой, где знак твоего великого посвящения?

Захарьев-Овинов поднялся со своего кресла, быстро расстегнул свой камзол, и чудный знак Креста и Розы засиял на груди его таинственным, непонятным светом.

— Светоносец! — едва слышно прошептал старец, в то время как четверо учителей встали со своих мест и почтительно, но также и с каким-то благоговейным ужасом поклонились великому розенкрейцеру.— Светоносец! Готов ли ты принять ныне власть из рук моих? Ты знаешь, как страшна эта власть для тех, против кого она должна направляться, какими могучими средствами она владеет, и ты знаешь также, что еще более страшна она для того, кто облечен ею, ибо эта высшая, могущественная власть налагает и высшие, самые тяжкие обязанности... Еще недавно мне нечего было говорить тебе об этом и спрашивать тебя, согласен ли ты занять мое место... Теперь же,— прибавил

он грустным и в то же время негодующим тоном,— приходится спрашивать...

— Отчего?— произнес Захарьев-Овинов тем холодным, металлическим голосом, от которого странно и холодно становилось на душе у слушателей.

— Отчего? Праздный вопрос!.. Хорош бы я был отец, хороши были бы они учителя, если б нам не было ведомо, что ты способен отказаться... Что ж! У всякого человека свободная воля... а у тебя ее много больше, чем у других... Мы ждем твоего ответа.

На несколько мгновений под древними низкими сводами воцарилась глубокая тишина. Побледневшее лицо старца выражало скорбь. Четверо учителей, тоже бледные, затаив дыхание, ждали.

Захарьев-Овинов сделал шаг и склонился перед старцем.

— Отец! Передай мне бремя твоей великой власти!— твердым голосом сказал он.

XVII

Гансу фон Небельштейну и учителям показалось, что они ослышались.

«Он... он не отказывается?.. Он так прямо и твердо принимает власть, как будто он все тот же, каким был год тому назад... Что же это значит?» А ведь все они были почти уверены в его отказе, готовились к нему. Им предстояло потребовать от него полного отчета, полной исповеди и затем общими усилиями постараться успокоить его сомнения, его непонятное душевное возмущение и снова вернуть на тот путь, по которому он так победоносно шел всю жизнь и где ему предстояло, подобно солнцу, светить всему миру, жаждущему истинного познания.

Но они знали всю силу его духа, всю его твердость, и борьба с ним страшила их, и они тревожно помышляли о том, что будет, если они потерпят поражение... Их знания оказались неполными... они неясно прочли в душе... Он согласен!..

С невольным криком радости все они кинулись к великому розенкрейцеру. Трепещущий старец поднялся со своего кресла и обнял Захарьева-Овинова.

— Ведь я говорил,— торжественно произнес он,— что воля человека видоизменяет судьбу! Не думаю я, что мы совершенно избавились от грозной опасности, но все же самое страшное нас миновало: мы не услышали его отказа...

Его воля явилась победительницей над всеми враждебно и мрачно складывавшимися электромагнитными влияниями. Итак, сын мой, я иду на покой и уступаю тебе свое место... Но... ведь то, что произойдет сейчас... оно бесповоротно. Акт передачи власти в нашем братстве — величайший акт, как велика и сама власть. Я отказываюсь от власти не по своему желанию, а потому, что не могу, не в силах сохранить эту власть. Кроме тебя, никому я не вправе передать ее, ибо никто ее не вынесет, и если б я вздумал назвать своим преемником не тебя, а кого-либо другого, то это были бы пустые слова, и только.

— Мы все очень хорошо и давно это знаем,— сказал Захарьев-Овинов.— Разве я мог выразить свое согласие так легкомысленно? Я принимаю власть главы розенкрейцеров в силу своего права, в силу того, что пришел час совершиться этому.

И старик, и учителя вздохнули полной грудью: до этих слов они все еще почти не смели верить.

Ганс фон Небельштейн сделал шаг по направлению к одной из стен комнаты — и вдруг часть этой стены мгновенно как бы осела, и среди огромных камней образовалось довольно значительное отверстие. В нем помещалось несколько десятков старинных фолиантов и ряд свертков пергамента.

— Вот,— указал старец, подходя к отверстию и вынимая оттуда один сверток пергамента,— здесь хранятся у меня редчайшие книги. Некоторые из них чудесным образом — ибо слепого случая не бывает в природе — уцелели от пожара Александрийской библиотеки, другие достигли моего старого замка после многих столетий скитаний по всему миру, из глубины Древней Азии. Третьи, наконец,— суть творения ведомых и неведомых мыслителей средних веков. Кроме того, в этих свертках собраны все документы, относящиеся к нашему братству с первого дня его основания. Здесь хранятся списки всех братьев, их curriculum vitae; здесь, наконец, три акта передачи верховной власти, скрепленные подписями свидетелей. Уже почти год тому назад я приготовил четвертый акт, по которому передаю теперь свою власть носителю знака Креста и Розы...

Он развернул сверток, бывший у него в руках, и громко, торжественно прочел его. В этом акте, написанном по-латыни, значилось, что «глава всемирного братства розенкрейцеров, барон Ганс фон Небельштейн, достигнув стодесятилетнего возраста и после восьмидесятилетнего управления

братством, чувствует приближение старческой слабости. Не в силах будучи с прежней энергией и добросовестностью управлять всемирным братством, он отказывается навсегда и бесповоротно от своей верховной власти и всецело, при свидетелях — великих учителях-розенкрейцерах Роже Левеке, бароне фон Мелленбурге, графе Хоростовском и Иоганне Абельзоне — передает ее князю Юрию Захарьеву-Овинову. Носитель знака Креста и Розы принимает верховную власть в братстве по праву своего знания, своей силы, пройдя все посвящения от низшего до высшего, оставив за собою все испытания и достигнув той свободы духа, которая требуется для законного верховенства над братьями. И Ганс фон Небельштейн, отходящий на покой глава розенкрейцеров, и великие учителя-свидетели клянутся своим именем розенкрейцеров, клянутся страшной клятвой отныне повиноваться во всем, касающемся братства, новому главе его».

Когда чтение было окончено, старец поднял глаза на слушателей и дрогнувшим голосом спросил их согласия. Четыре учителя наклонили головы и сказали: «Согласны».

— В таком случае произнесите за мною установленную клятву,— возвышая голос, воскликнул старец.

И пять голосов, сливаясь под низкими древними сводами, прознесли:

«Клянемся предвечной истиной, которой служим, клянемся гармонией божественных законов, клянемся великим символом Креста и Розы беспрекословно повиноваться в каждом деле, имеющем какое-нибудь отношение к нашему священному братству, повиноваться с полным и безоглядным подчинением великому носителю знака Креста и Розы, законному, вновь утвержденному и прославленному главе и отцу нашему, князю Юрию Захарьеву-Овинову!»

Старец и четверо учителей стали на колени, затем поднялись и снова почти до земли поклонились Захарьеву-Овинову. А он во все это время стоял неподвижно, как каменное изваяние, и на бледном, будто мраморном, лице его ничего не выражалось, только глаза горели неестественным огнем. Когда розенкрейцеры встали, поклонясь ему, и он обнял каждого из них, начиная со старца, все подошли к столу и подписали акт.

Тогда Захарьев-Овинов взял этот акт, еще раз пробежал его глазами, свернул пергамент, перевязал лентой и положил в отверстие в стене, на то место, откуда вынул его старец. Миг — и тяжелые камни, повинуясь невидимому механизму, снова поднялись, стена сровнялась, и никто

не сказал бы, что в ней заключается потайной шкап, хранящий, быть может, самые драгоценные манускрипты во всем мире.

Все разместились по своим местам.

— Тяжелое бремя спало с плеч моих,— сказал Ганс фон Небельштейн,— давно ждал я этого часа, давно к нему готовился. Теперь,— обратился он к Захарьеву-Овинову,— потребуй от меня отчета во всех моих действиях за последний год, с того дня, как мы были здесь собраны на заседание.

— Мне не надо никакого отчета,— отвечал Захарьев-Овинов,— я знаю все дела братства, все действия его членов. И особого труда знать это не составляет, так как последний год был очень тихим годом: у нас прибавилось несколько братьев, получивших первые посвящения: все розенкрейцеры низших степеней теперь собраны в Нюрнберге.

— Да, и завтра же мы туда отправляемся,— сказали учителя,— каждый к своей секции.

— О розенкрейцерах никто не говорит,— между тем продолжал Захарьев-Овинов,— о них забыли, а кто их вспоминает, тот или вовсе не верит, что они когда-либо были на свете, или думает, что братство, осмеянное уже более полутораста лет тому назад, в первое же время своего возникновения, давно не существует. Какие надежды подают новые, в последнее время посвященные члены? Об этом пусть скажут их руководители... Один из розенкрейцеров, находящийся под твоим руководством, брат Albus,— Захарьев-Овинов обратился к Абельзону,— попался на пути моем: это Джузеппе Бальзамо, называвший себя в России графом Фениксом и известный в Европе под именем графа Калиостро. Он только один за последнее время нарушает тишину, господствующую в братстве. Это человек больших способностей и немалых знаний, человек, могущий причинить большое зло, хотя в нем не один мрак, и даже не знаю я, чего в нем больше — мрака или света. Это несчастное, погибшее существо. Он много зла собирался сделать на моей родине, но я не допустил этого...

— Это изменник!— перебил Абельзон.— Он в Нюрнберге, я с ним увижусь. Он должен подлежать каре. Тебе придется начать свое владычество смертным приговором. Тяжкая обязанность! Но ведь я, руководитель этого изменника, буду ее исполнителем — и рука моя не дрогнет!

— Я не начну своего владычества смертным приговором,— спокойно возразил Захарьев-Овинов.

— Как? Но ведь он изменник!— воскликнули разом все, даже старец.

— Нет,— все так же спокойно ответил новый глава розенкрейцеров,— имя нашего братства ни разу и нигде не было произнесено, да и не будет произнесено. Он несчастный человек, не нам быть его палачами, он сам себе палач. Он сам, достойный лучшей участи, ежедневно подписывает свой смертный приговор — и в конце концов погибнет. Спасти его нельзя, я это знаю. Но мы еще поговорим о нем с тобою, Albus, и ты... или мы его еще увидим в Нюрнберге. Теперь же не в нем дело...

Глаза его блеснули и загорелись новым огнем; неподвижное лицо внезапно будто ожило, и глубокое страдание, которое сразу с изумлением и невольным страхом заметили розенкрейцеры, отразилось на нем.

— Отец,— сказал он, обращаясь к старцу,— помнишь ли ты мои былые мечтания, помнишь ли священный трепет, наполнявший меня, когда ты говорил о неизбежности, о близости той минуты, которую я теперь переживаю? Ты помнишь, что я жаждал этой минуты не ради власти, а ради того высшего совершенства, достижение которого сделает меня ее достойным. Я говорил тебе, что тогда я упьюсь наконец и насыщусь, я, всю жизнь терзаемый голодом и жаждой! И ты отвечал мне: «Да, ты упьешься, ты насытишься!»... Отец, я занял твое место... Отец, ты никогда не лгал, ты не можешь лгать... Я по-прежнему голоден, по-прежнему жажду — напои и накорми меня!..

У всех так и упало сердце. Все сразу почувствовали, что грозившая беда, та беда, которую и отец, и учителя почли уже минувшей, снова надвигается, что она даже страшнее, чем им казалось. Полное молчание было ответом новому главе розенкрейцеров.

— Или я говорю неясно?!— воскликнул он, и еще более невыносимое страдание изобразилось на лице его.— Слышишь, отец, я голоден, я жажду, я задыхаюсь! Это ли венец работы всей жизни, великих познаний, доведших меня до власти, почитаемой величайшей властью в мире? Глава розенкрейцеров, мудрец из мудрецов земных!.. В чем же мудрость моя, в чем же и твоя мудрость, если ты не мог и не можешь напоить меня и насытить и если я сам не могу этого?

— О какой пище, о каком питье говоришь ты, сын мой?— едва ворочая языком и с ужасом глядя на Захарьева-Овинова, прошептал старец.

— Я говорю о счастье,— внезапно овладевая собой

и холодея, произнес Захарьев-Овинов.— Я полагал, что достигнув этой вершины, на которой нахожусь теперь, достигну предела знаний. Между тем теперь я знаю, что передо мною все та же беспредельность. Я полагал, что венец наших усилий, нашей работы — безмятежность души и счастье, а между тем если до сих пор я не считал себя последним из несчастнейших, то единственно потому, что не понимал этого. Отец, я несчастлив, и вместе со мною несчастливы и вы все!..

Нельзя себе представить того впечатления, какое эти слова произвели на розенкрейцеров. Будто гром ударил над ними, будто вековые стены старого замка обрушились и придавили их. Все эти мудрецы и сам стодесятилетний старец, сосредоточивший в себе всю мудрость тысячелетий жизни человечества, в первый раз задумались над мыслью о счастье и несчастье. Все они почувствовали в словах Захарьева-Овинова громадное, роковое значение и поняли, поняли всем существом своим, что прожили всю жизнь, не зная, что такое счастье, никогда не испытав его, никогда даже о нем не подумав. Весь ужас, наполнявший душу Захарьева-Овинова и вырывавшийся из этой измученной, так недавно еще холодной, а теперь горевшей неугасимым огнем души, передался им. И все они застыли неподвижно и как зачарованные глядели в метавшие искры глаза великого розенкрейцера, ожидая нового, страшного удара.

XVIII

— Сын мой,— выговорил наконец Ганс фон Небельштейн,— в словах твоих заключаются такая бесконечность отчаяния и такое тяжкое обвинение всем нам, и прежде всего мне, что я даже не могу себе представить, как подобные слова прозвучали под этими сводами... От кого мы их услышали?! Ведь мы не авгуры, морочившие народ... Наши знания — не обман, не шарлатанство. А если мы обладаем действительными познаниями, скрытыми от других людей, если мы наследники и носители всей мудрости человечества, то ведь в этой мудрости, в этом знании и заключается все высшее счастье, какое способен вмещать в себе и испытывать живой человек...

— Отец, мы не раз говорили обо всем этом, и теперь нечего повторять старое и известное,— перебил Захарьев-Овинов.— Отвечайте мне все прямо, ибо вопрос мой — не пустой вопрос, и на него не может быть условного ответа: счастливы ли вы?

— Да, мы счастливы!— ответили розенкрейцеры, стараясь вложить в этот ответ как можно больше убедительности и спокойствия. Их «старание», конечно, не ускользнуло от пристального взгляда Захарьева-Овинова, и едва заметная печальная усмешка скользнула по губам его.

— Ну что ж, разберем ваше счастье!— сказал он.

Все сидели теперь как-то уныло, будто осужденные, и тревога выражалась во всех взглядах, обращенных на великого розенкрейцера.

— Брат мой, Роже Левек!— воскликнул он, приближаясь к скромному французу и кладя ему руку на плечо. Итак, ты счастлив? Упорным многолетним трудом, проводя бессонные ночи за древними книгами и манускриптами и впиваясь пытливым умом в тайный смысл символов, ты достиг больших знаний. Ты понял единство природы и, сделав из этого единства вывод о возможности производить чистое золото из низших металлов, с помощью нашего великого учителя,— он указал на старца,— приступил к «деланию». Ты начал с алхимической работы над самим собою, а потому безошибочно добыл то чудное первобытное вещество, того символического «красного льва», крупинка которого легко может превратить в чистое золото огромный кусок железа. Перед тобой открыты тайны видения в астральном свете, чтения и направления чужих мыслей. В твоих руках истинная власть, а ты... ты по-прежнему сидишь в своей пыльной лавочке букиниста, ешь свой салат в таверне и подвергаешься презрительному обращению каждого нахала...

Роже Левек вскочил со своего кресла.

— Кто говорит это?!. Ты... Ты!— вне себя вскричал он.— Да ведь это нечто непостижимое! Так говорить может непосвященный слепец! И мне странно отвечать тебе, что если я сижу в своей лавочке, если я не делаю золота, умея его делать, то это именно потому только, что мои знания истинны... Я умею делать золото, и потому оно для меня не дороже всякого булыжника, валяющегося на улице... Я легко могу окружить себя всеми благами мира — и потому они мне не нужны. Я добровольно остаюсь в своей лавочке — и это дает мне право на звание великого учителя, которое для меня дороже всего...

— И ты счастлив сознанием своего великого учительства?— тихо, покачав головою, произнес Захарьев-Овинов.— Не говори этого, не говори о своем счастье, когда я знаю, что теперь, сейчас вот ты отдал бы все

свои знания, все силы, всю свою власть, чтобы, как двадцать пять лет тому назад, прижать к груди свою Матильду и своего маленького Жана, которых смерть отняла у тебя во время морового поветрия в тот страшный день, когда ты и сам был на краю могилы...

Роже Левек пошатнулся, схватился за голову руками и бессильно упал в кресло. Вся тоска и все сердечные муки этих двадцати пяти лет, тоска и муки, в которых он никогда не признавался не только перед кем-либо, но и перед собою, вдруг нахлынули на него, вызванные этими нежданными словами. И под напором непобедимой, прорвавшей свои оковы силы глухое рыдание вырвалось из груди его.

— Вот как ты счастлив, великий учитель!— грустно сказал Захарьев-Овинов и, отойдя от него, приблизился к Абельзону.

— Брат Albus,—начал он, спокойно и прямо глядя в могучие, страшные глаза маленького человека,— и ты тоже счастлив? Ты взял свое имя — Albus — для того, чтобы под этим белым покровом скрыть мрак, который часто, часто бывает в душе твоей... Но ведь не только природу, а и меня не обманешь!.. Ты не производил внутренней алхимической работы, и я прямо скажу тебе, что она была бы неудачна,— да ты и сам это знаешь. Но у тебя достаточный запас «красного льва», и если бы ты захотел—этот запас произвел бы столько золота, что ты бы мог построить из него целый замок. Только тебе этого не надо... О, ты безупречный розенкрейцер! Ты развил свою волю до высочайших пределов, и она может творить то, что темные люди называют чудесами. Ты по праву занял в братстве место великого учителя. Ты никогда не пользовался своими знаниями и своею властью для того, чтобы делать то, что мы называем злом,— и в этом-то и сказалась твоя железная воля. Ты крепкими узами опутал себя, но не победил в себе, а только насильственно сковал страшного, лютого зверя... Этот зверь жив и рвется из неволи, томит и грызет тебя. По жизни своей, по своим действиям ты стоишь на высоте, которой не достигают страсти. А между тем эти страсти бушуют в душе твоей. Я изумляюсь тебе и уважаю тебя, ибо такая сила воли достойна уважения! Но я тебя знаю: нет равнодушия в тебе ко всем благам мира, нет возвышения над человеческими слабостями, нет спокойного взгляда на человечество сверху вниз... О, если бы ты развязал свою душу, снял с нее насильственно надетые цепи — ты бы ринулся в самую глубину страстей, упился бы кровью, насладился бы чужими страданиями! Ты не-

навидишь человечество, в тебе кипит кровь твоих предков-евреев. Ты вмещаешь в себе всю ненависть своего племени к другим народам. О, ты жесток, брат Albus, и бываешь рад, когда братство поручает тебе карать изменника. Ты вот и теперь стремился к роли палача и требовал, чтобы я подписал смертный приговор, и говорил мне, что рука твоя не дрогнет... Да, ты можешь испытывать злобные, страшные наслаждения, которых лишаешь себя силой своей воли, силой своего разума,— а счастья все же не знаешь и не знал никогда, ибо счастье не есть наслаждение злобы и смерти. Опровергни меня, если можешь!..

Но Абельзон молчал, лицо его страшно побледнело, и удивительные глаза, сила которых заставляла каждого смиряться и замолкать, бессильно опустились перед спокойным, холодным взглядом великого розенкрейцера.

— Барон фон Мелленбург,— обратился теперь Захарьев-Овинов к важному величественному немцу,— скажи мне, одержал ли ты победу над своим честолюбием, не приходят ли к тебе до сих пор минуты, когда ты готов отказаться от великого учительства и бежать из братства, захватив с собою все знания, какие помогли бы тебе удовлетворить твою страсть? Не мечтаешь ли ты о блеске и власти и не находишь ли ту власть, которой обладаешь, незавидной, ибо она ведома только в небольшом кружке розенкрейцеров высших посвящений?.. Ты тоже, как и брат Albus, в постоянной борьбе с самим собою. Это ли счастье? Что же, или я клевещу не тебя?.. Скажи, что я клевещу — и я буду просить у тебя прощения...

— Мы признали тебя своим главою, великий светоносец,— медленно произнес барон фон Мелленбург.— Читая в душе нашей, ты еще раз доказываешь то, что мы уже знаем, то есть твою власть и силу... И если ты начал с признания своего голода и своей жажды, то для нас нет унижения быть слабыми и несчастными, несмотря на все наши знания...

— Зачем же ты так уверенно ответил на мой вопрос, зачем объявил, что ты счастлив?.. Почему же подумал, что можешь скрыть от меня истину?

Барон фон Мелленбург взглянул на старца, ища в нем поддержки. Но старец сидел неподвижно, сдвинув брови, с почти потухшим взглядом, устремленным в одну точку. Он ни одним словом, ни одним движением не поддержал великого учителя. Ведь и он, величайший из мудрецов, так же точно обвинялся во лжи, в легкомысленной лжи — и ему нечего было ответить на это обвинение. Он только

чувствовал свое унижение, свое бессилие, мучительно чувствовал напор бури, которая разразилась и с которой нельзя бороться.

— А ты, граф Хоростовский,— обратился великий розенкрейцер к сухому старику, сидевшему тоже опустив голову,— у тебя и помимо «красного льва» собраны несметные богатства, и лежат они как ненужный хлам, непригодный ни для тебя, ни для других. За все долгие годы твоей жизни ты не видал вокруг себя ни одной улыбки, ты никому не сделал сознательно зла, но и добра тоже не сделал... И тебе холодно, и тебе скучно; и вот теперь ты сидишь с опущенной головою, потому что в первый раз в жизни я этими своими словами пробудил в тебе сознание, что тебе холодно и скучно!..

Старый граф только еще ниже опустил голову.

— Отец,— воскликнул тогда Захарьев-Овинов, подходя к старцу Небельштейну,— твои знания и твои силы громадны! Эти знания, эти силы так велики, что если ты не нашел полного, всесовершенного счастья — значит, оно зависит не от сил и не от знаний. А что ты не нашел его, этого счастья, доказывает мне слабость твоего старого тела, из-за которой ты передал мне сегодня власть свою. Ты утомлен жизнью, ищешь покоя, не хочешь воспользоваться теми средствами, которые в состоянии снова вернуть к бодрости твое дряхлеющее тело. Пусть непосвященные, слепые скептики считают сказкой возможность продления человеческой жизни — но ведь мы с тобой знаем, что это не сказка, и ведомо мне, что еще на много десятилетий ты мог бы поддержать в себе телесную силу. Однако ты этого не хочешь, ты устал от земной жизни, тебе отрадно, мало-помалу ослабевая, уйти в иные сферы. От счастья не бегут, отец,— значит, твое счастье не здесь...

— Ты в этом прав, сын мой,— мрачно отвечал старец,— но я жду конца твоей речи и уж тогда тебе отвечу...

XIX

— Конец приближается!— воскликнул Захарьев-Овинов, все более и более воодушевляясь.— Мы должны быть прежде всего правдивы и мудры. Мы живем в знаменитое время. Пройдет немного лет, и мы будем присутствовать при страшных, кровавых событиях, которые окажутся кризисом в болезни человечества. Но человечество оправится после этого страшного кризиса, и начнется для него новая эра... Еще столетие, другое, третье — и вид земли

изменится до неузнаваемости. Знания человеческие станут возрастать с необычайной быстротою. Тайны природы, известные теперь лишь нам, немногим избранным, и хранимые нами под великою печатью молчания, мало-помалу сделаются общим достоянием. Бороться против этого нельзя, да и бесполезно. Пройдет каких-нибудь полтораста-двести лет, и то, что считается теперь безумной сказкой, станет для всех привычной действительностью. Одним словом, человечество пойдет по тому пути, по которому прошли мы все, розенкрейцеры, в течение нашей жизни. Как то, что мы знаем теперь, казалось нам когда-то чудесным и невозможным, а теперь представляется обычным и потому не производит на нас никакого впечатления, так точно будет и с человечеством... Как мы начали с материи и перешли к духу, познав, что мир материальный есть только отражение духовного, так и человечество начнет с открытий в области материи, обоготворит ее и затем... затем убедится, что те же самые явления происходят гораздо проще и лучше с помощью духа. Мы в значительной степени уничтожили препятствия, поставленные нам пространством и временем, и человечество легко достигнет этого. Мы знаем тайну производства золота — и человечество откроет ее. Для нас золото не имеет никакой цены — точно так же потеряет оно цену для всех, и надо будет найти что-нибудь новое, что имело бы цену... Мы умеем овладевать мыслями, чувствами и поступками людей и в то же время знаем средства избегать подобного рабства, средства верной защиты от посторонних влияний. Мы видим без глаз, слышим без ушей и сообщаемся друг с другом, не теряя времени и пренебрегая пространством. Мы соединяем в маленьком кусочке вещества все необходимое для питания нашего организма на более или менее долгое время. Мы на десятки лет останавливаем разрушение нашего тела. И все это станет доступно каждому человеку... Как мы, овладев тайнами природы, живем и распоряжаемся в области, соответствующей нашим познаниям, точно так же и человечество будет распоряжаться в этой области. Если бы мы дожили до того времени, не увеличив наших познаний, то из существ высших, могущественных превратились бы в людей самых обыкновенных... Мы идем впереди, вот и все! Мы идем впереди, но человечество быстро нас нагоняет. Во все времена будут люди, которые пойдут впереди, и человечество всегда будет нагонять их. Но как теперь мы, поднявшись на высоту знаний, живя и действуя в более широкой и светлой области, чем другие, не получили от

этого счастья, так и человечество, в какой бы высокой области познаний не оказалось, этим самым не достигнет еще счастья... А между тем ведь понятие о счастье существует, оно не звук пустой. Существо человеческое способно к счастью и, достигая его, возвышает и развивает свою душу более, чем знанием, более, чем силой и могуществом. Счастье есть венец жизни. Мы теперь должны, наконец, убедиться — не рассуждениями, а нашим внутренним чувством,— что познания не дают его и, значит, дает его нечто иное, чего у нас нет, что мы просмотрели в нашей мудрости. А между тем, так как счастье есть высшее благо, то какие же мы учителя, если не владеем им и не можем дать его ученикам нашим?! Мы несем с собою свет, но тепла не несем — какие же мы учителя и в чем значение нашего братства?..

— Тепло и свет!..— шептали губы старца.— Да, ты прав... свет и тепло — это величайшее сочетание... это истинная, единая жизнь; но если мы не владеем этой тайной... если мы пребываем в заблуждении,— поведай нам все, ты наш глава!..

— Если бы я открыл эту недоступную, неведомую нам тайну, я не задыхался бы, не страдал от голода и жажды! — с тоской в голосе сказал Захарьев-Овинов.— Но я знаю человека, которому тепло, который счастлив. Да, я его знаю; он сильнее меня, гораздо сильнее. Вы признаете меня своим главою, вы полагаете, что отныне я владею высшей властью, а я вам говорю, что я бессилен перед этим человеком. Склониться перед ним, вручить ему власть над братством? Но он с улыбкой отвернется от этой власти... она ему не нужна... У него нет никаких знаний, а между тем в руках его величайшее могущество — он владеет благом счастья. Вы знаете, что у меня есть сила исцелять человеческие страдания, болезни. И вот я пытал свою силу — и ее не оказалось, а этот человек пришел и в миг один исцелил разрушавшееся, страшно страдавшее тело...

— Ты встретил человека, обладающего высшим могуществом,— и я не знаю этого человека?— с сомнением покачав головою, перебил старец.— Тут что-то не так... тут какая-то странная ошибка...

— Ты не знаешь его, отец, потому что его путь — не наш путь. Я ничего не преувеличиваю. Человек этот во многом слабее меня, но во многом он гораздо сильнее. Я заговорил о нем, так как он доказал мне, что многие явления, которых мы достигаем только с помощью высших

знаний, иногда даются человеку помимо всяких знаний, и явления эти самого высшего порядка.

— Тут нет ничего невозможного — это проявление бессознательной, но могучей воли.

— Нет, не воли,— вскричал великий розенкрейцер, не воли, ибо воля — свет, а это — проявление тепла, того тепла, которого у нас нет! Человек, о котором я говорю, живет в области, высшей, чем наша.

— Где же эта область? Ты сам указал, что мы сумели отличить источник света от его отражения и перешли из области материи в область духа...

— Да, но то, что мы называем духом, еще не дух, а лишь тончайшая, высшая материя, грубые осадки которой производят мир форм. В своей гордости, распознав тончайший эфир и узнав его свойства, мы объявили его Высшим Разумом и решили, что он есть суть природы, ее первооснова, источник жизни и творчества. Мы сделали себя творцами, вместили в себя единый Высший Разум. Нам, на вершине розенкрейцерской лестницы, доступно все, мы все можем творить, а чего не можем, того и нет. Но вот мы творим одним светом, без тепла — и потому дрожим от холода... Значит, тепло не существует? Нет, оно существует, и мы со всеми нашими знаниями эфира, «астрального света», со всем нашим холодным, не дающим счастья творчеством — только жалкие безумцы! Мне не понадобилось далеко ходить за доказательствами того, что мы все несчастны, я взял первое, что мне попалось под руку,— и все вы сознались в своем несчастье, в полном неведении высшего блага, высшей истины!..

Все поднялись со своих мест. Старец кинулся было к Захарьеву-Овинову, стараясь помешать ему высказать до конца свою мысль, ту мысль, которая становилась теперь всем понятной. Но великий розенкрейцер поднял руку — и все будто застыли на месте.

— Братство розенкрейцеров объявило себя вместилищем высшей истины, знания и власти,— спокойно и твердо сказал он,— оно заблуждалось; но пока это заблуждение было искренно, братство не было за него ответственно. Теперь же заблуждение ясно: мы далеки от истины, знания и власти. Я, законный глава розенкрейцеров, признаю преступным обманывать людей обещанием того, чего у нас самих нет; я, зная свои силы, признаю себя слабым. Я не владею высшей истиной и лишен высшего блага — счастья. Вы все признаете себя еще более слабыми, ибо мое жалкое богатство несколько обширнее вашего. Но если мы слабы

и несчастны, у нас все же есть человеческое достоинство и то благородство, которое не позволяет нам быть авгурами. Мужественно перенесем наше поражение, снимем с себя принадлежащие нам знаки достоинства, которые, хотя мы до сего дня и не сознавались себе в этом, только тешили нашу гордость и наше тщеславие, превратимся в скромных искателей истины, а не учителей ее! Наше великое братство было заблуждением. Такое братство может быть только там, где воздвигнут храм истинного счастья, озаренный светом и теплом. Будем искать этот храм, и, только найдя его и получив в нем высшее посвящение, мы решим вопросы духовной иерархии, власти и славы. Только полная душевная гармония и ее следствие — невозмутимое довольство и счастье облекут нас истинной властью и действительными знаками этой власти. Поэтому я, глава розенкрейцеров, которому вы обязаны повиновением и ослушаться которого не можете, если бы и хотели, объявляю братство Креста и Розы в настоящее время несуществующим!

Все оставались неподвижными. Чудным светом вспыхнул таинственный знак на груди великого розенкрейцера. Но вот он снял с себя этот знак, и в то же мгновение тот погас в руке его: теперь это была золотая, тонкой ювелирной работы, усыпанная брильянтами драгоценность — и только.

— Вот наш великий символ!— сказал Захарьев-Овинов, показывая свой погасший знак Креста и Розы «отцу» и «братьям».— Я не умаляю его значения, в нем средоточие света и разума; в нем нет тепла, и, видите,— он может погаснуть. Вы называли меня «светоносцем», мне стоило обнажить грудь свою — и при блеске моего знака всякий розенкрейцер падал ниц, зная, что тот, кто смеет носить на груди своей этот свет, облечен силой и властью. Да, этот знак прекраснее и важнее всех знаков отличия, носимых монархами и государственными людьми мира! Когда я сумел найти и замкнуть чудный луч мирового света в этом драгоценном символе, моя гордость торжествовала... Но теперь я знаю, что моя тайна — не есть великая тайна, а только одно из тех открытий, к которым быстро придет человечество. Минует сотня лет — и лучи этого света будут освещать своим голубым чудным сиянием улицы городов, жилища людей, будут возвышать красоту женских украшений... Таинственный свет, который носить на себе теперь могу лишь я один, будет сиять на голове и груди танцовщицы на театральных подмостках,

его станут продавать в игрушечных лавках как красивую забаву. Сначала для его сосредоточия потребуются разные приспособления, потом все это упростится, и, наконец, люди поймут, что можно его добывать так, как это делаю я, без всяких видимых приспособлений...

— Итак,— заключил он,— пока мы не научились согласовывать свет с теплом и не нашли счастья, мы не принадлежим к высшему, всемирному обществу розенкрейцеров. Если когда-нибудь мы соберемся в день наших годичных заседаний под этими древними сводами, то это будет значить, что мы все открыли великую тайну тепла, что мы нашли счастье... Тогда и только тогда возродится наше братство.. О, если б этот великий день настал для нас! Пока же, братья, мы свободны от всех требований нашего устава; пусть каждый из нас идет в жизнь и найдет своим действительным знаниям и силам то применение, на какое ему укажут разум и совесть... Организация нашего братства такова, что временное или вечное прекращение его деятельности может произойти без всяких потрясений... Я сказал все. Отец, я жду твоего слова.

Старец поднял на него взгляд, в котором теперь ничего не было, кроме спокойствия.

— Сын мой,— произнес он,— гроза пронеслась над нами и оказалась животворной... В словах твоих и действиях видны та истина и мудрость, которые высоко вознесли тебя... Ты прав, и мы должны благодарить тебя за трудный и великий урок, который не унизит нас, а поможет нам возвыситься. Да, мы все должны приступить к испытанию... И мы разойдемся сегодня с надеждой, что настанет день, который снова соединит нас. Быть может, я не увижу этого дня... но он настанет! Вот и мое пророчество: под эти древние своды еще прибудут блаженные сыны человечества и в братском общении обменяются здесь такими сокровищами, которые будут заключать в себе все блага материи и духа...

Розенкрейцеры крепко обнялись и — каждый со своими мыслями и чувствами — разошлись по мрачным и сырым помещениям замка, где старый Бергман приготовил им постели.

XX

Прошло недели две, и все совершилось так, как было предназначено новым главою братства розенкрейцеров:

великое таинственное братство на неопределенное время прекратило свою деятельность.

В том ветхом доме на древней пустынной улице Нюрнберга, который принадлежал уже несколько столетий фамилии Небельштейнов и где Захарьев-Овинов в первый раз увидел отца розенкрейцеров, ежедневно, лишь наступала вечерняя темнота, происходили собрания братьев. Сначала поочередно каждый из четырех великих учителей собирал розенкрейцеров высоких посвящений, лично знавших своего великого учителя под его розенкрейцерским именем, а также — знавших о существовании носителя знака Креста и Розы и главы своего братства, но никогда их не видавших.

Великие учителя передавали посвященным, что вследствие очень важных соображений отныне — вплоть до нового распоряжения главы розенкрейцеров — периодические собрания братства прекращаются. Никто не будет теперь получать никаких инструкций, не будет отдавать отчета в своей деятельности. Каждый становится совершенно свободным в своих поступках и может распоряжаться как угодно своими знаниями. Конечно, связь между розенкрейцерами не прерывается, и всякий по-прежнему, если будет в том нуждаться и того желать, таинственными путями получит всю нужную помощь и все указания. Но только этим и ограничится влияние высших сфер розенкрейцерства...

Розенкрейцеры были изумлены, опечалены и даже потрясены таким сообщением великих учителей. Каждый, естественно, пожелал узнать истинные причины такого решения. Но учителя никому не хотели открыть тайны того, что произошло в стенах замка Небельштейн. Новый глава розенкрейцеров допустил это молчание, и великие учителя ограничились таким ответом: «Настало время испытания истинной силы каждого из братьев; когда испытания будут окончены, тогда выяснятся действительные результаты деятельности каждого».

Затем великие учителя потребовали от посвященных розенкрейцеров, чтобы каждый из них в свою очередь собрал порученных им неофитов и передал это решение. Все было исполнено — и внезапно, само собою, всемирное братство видоизменилось, распалось, потеряло свою крепкую, определенную форму, основанную на строгой иерархии и на ритауле.

При этом, надо сказать, в каждом из собраний братьев низших посвящений произошло нечто странное: каждый

из розенкрейцеров-неофитов, услышав объяснение своего руководителя, впадал в какое-то особенное состояние и, выйдя из заседания, забывал очень многое из того, что относилось к известной ему организации братства. Все, что совершилось, то есть неожиданное таинственное прекращение деятельности братства, представлялось ему естественным и мало-помалу переставало интересовать его...

Когда Абельзон, известный руководимым под именем Albus'a, собрал в старом доме Небельштейна свою секцию, в числе приглашенных не было Калиостро — ему было указано другое время. И, явясь в назначенный час, он, к изумлению своему не увидел никого, кроме Albus'a. При первом же взгляде в удивительные глаза маленького человека Калиостро понял, что если бы Albus мог на месте растерзать его, он сделал бы это без всякого промедления — такая жестокость, злоба и ненависть светились в этих страшных глазах. Но Калиостро был более чем когда-либо уверен в своей силе — ясновидение Серафины-Лоренцы не могло обмануть. Он знал наверное, что ему не предстоит никакой опасности.

«Благодетель человечества» почтительно поклонился своему учителю и спокойно ждал его слова.

— Джузеппе Бальзамо!— резким голосом воскликнул Абельзон, нервно дергаясь в кресле, на котором сидел.— Ты не должен изумляться, что вместо розенкрейцерского собрания, на которое ты явился в Нюрнберг, ты видишь меня одного. Твоя дерзость не имеет пределов, и только поэтому ты мог воображать, что будешь когда-либо присутствовать на собрании братьев...

Калиостро усмехнулся, и Абельзон едва сдержал себя, увидя эту усмешку.

— Я, твой бывший руководитель,— как-то прошипел он,— призвал тебя для того, чтобы объявить тебе о твоем исключении из нашего великого братства.

— Разве можно ислючить из братства посвященного розенкрейцера, достигшего моей степени?— спокойно и даже несколько вызывающим тоном спросил Калиостро.

— Ты нарушил все клятвенные обещания, данные мне тобою... Ты изменник!..

— Если бы я был изменником,— перебил его с всевозраставшим спокойствием Калиостро,— ты должен был бы меня уничтожить... Но ты меня уничтожить не можешь, а потому я прошу тебя, великий учитель, выражаться осторожнее... Никто никогда не слыхал от меня имени братства.

Абельзон должен был призвать на помощь всю силу своей воли, чтобы не кинуться на этого дерзновенного и не задушить его.

— Если бы ты хоть раз в жизни произнес кому-нибудь имя нашего братства — поверь, никакие соображения не остановили бы меня и теперь наступила бы последняя минута твоей жизни,— прошептал Albus.

— Моей или твоей — это еще неизвестно чьей!— таким же шепотом ответил ему Калиостро, пристально глядя прямо в страшные глаза и спокойно вынося взгляд их. — Ты видишь, великий учитель,— прибавил он,— что ты сплоховал, что ты меня мало знаешь. Еще неизвестно, кто из нас сильнее; во всяком случае, время твоего руководительства надо мною и моего естественного тебе подчинения окончено. Если бы я захотел — слышишь ли, если бы я захотел оставаться в братстве, я бы потребовал теперь, в силу своего права, признания меня великим учителем. Но я сам не хочу оставаться в братстве по многим причинам. Я и явился сюда для того, чтобы объявить эти причины моего свободного, твердо решенного мною выхода из братства...

— Какие же это причины? Что ты можешь сказать в свое оправдание?— подавляя в себе все свои чувства, спросил Абельзон.

— Тебе я не могу сообщить этого.

— Что такое? Кому же, как не мне?

— Тому, кто сильнее меня, а не слабее.

При этих словах Абельзон даже вздрогнул и так стиснул свои сухие крючковатые пальцы, что они захрустели. А Калиостро между тем говорил:

— Я объясню все носителю знака Креста и Розы. С тобою мне говорить больше нечего, а он здесь... Ты видишь — я не страдаю неведением...

Дверь отворилась, и вошел Захарьев-Овинов.

— Да, я здесь,— сказал он,— но... от неведения до истинного ведения еще очень далеко... Твое всеведение, Бальзамо, случайно! Оно принадлежит не тебе, а той душе, которую ты держишь в неволе... Ты меня понимаешь... Брат Albus, ты свободен... ваши объяснения не приведут ни к чему. Оставьте нас.

— Благодарю тебя за это освобождение!— воскликнул Абельзон.

Его глаза метнули злобные лучи свои не только на Калиостро, но и на Захарьева-Овинова. Он порывисто вскочил

с кресла и быстро вышел из комнаты. Калиостро проводил его насмешливым и торжествующим взглядом.

— Напрасно ты тешишь свои злые чувства!— оборвал его Захарьев-Овинов.— Если бы ты и Albus знали, сколько силы потеряли вы оба за эти краткие минуты взаимной злобы, то, может быть, отнеслись бы друг к другу по-иному, более человечно. Да и торжествовать тебе нечего: если Albus не сильнее тебя, то ведь я-то сильнее, и ты знаешь это; следовательно, если б я поручил ему наказать тебя как изменника, то ты бы и погиб. Но ты знаешь, что я не желаю твоей гибели. Значит, вся твоя храбрость происходит только от сознания твоей безопасности...

— Так ты считаешь меня трусом, светоносец?— бледнея, прошептал Калиостро.

— Нет,— отвечал Захарьев-Овинов,— я не считаю тебя трусом, но ты слишком любишь жизнь, слишком дорожишь ею, а потому не стал бы пренебрегать серьезной опасностью. Но не будем терять времени. Все причины твоего удаления из братства розенкрейцеров мне хорошо известны. Знай, что отныне ты не розенкрейцер. Я освобождаю тебя от всех твоих обязательств. Братство не возьмет на себя тяжесть твоей кары, можешь быть на этот счет спокоен: ты сам своими поступками готовишь себе страшную кару. Одно только ты должен обещать мне: это и впредь никогда ни при каких обстоятельствах не произносить имени розенкрейцеров — одним словом, поступать так, как будто ты никогда и не знал о существовании братства! Мало этого, ты не должен никогда пользоваться чужим ясновидением для того, чтобы узнавать что-либо, касающееся братства. Если ты сейчас дашь мне это обещание, я тебе поверю.

Калиостро склонился перед Захарьевым-Овиновым и голосом, в котором чувствовалась большая искренность, воскликнул:

— Великий светоносец, обещаю тебе исполнить все, чего ты от меня требуешь. Никакая пытка не заставит меня произнести имени братства, и я ничего не буду узнавать о нем!

— Я тебе верю, несчастный брат,— сказал Захарьев-Овинов.

— Не называй меня несчастным,—внезапно вздрагивая, прошептал Калиостро.— О, я вижу твою мысль!.. Пытка... да, к чему скрывать мне перед тобою, я уже не раз видел, закрывая глаза, картины того, что меня ожидает... они запечатлены в астральном свете, а потому неминуемы... Я

видел тюрьму... безжалостных, пристрастных судей... видел пытку... много ужасного... Но все же не называй меня несчастным... уже даже потому, что ты сам несчастлив, хоть, может быть, тебе и не предстоит телесной пытки... Ты помнишь нашу беседу в Петербурге? Все, что я говорил тогда, могу повторить и теперь... Ты доказал мне, что сильнее меня, и я должен был поневоле подчиниться твоему приказу... Я чувствую, что это ты подействовал на обстоятельства. Но, доказав мне свое могущество, ты не доказал мне, что счастлив.

— Не ты научишь меня счастью, не ты укажешь мне к нему дорогу!— мрачно произнес Захарьев-Овинов.

— Да, конечно, мы совсем разные люди, но все же и у меня ты можешь кое-чему научиться, несмотря на свою великую мудрость. Говорил и говорю тебе, что я знал и знаю минуты истинного счастья, и эти минуты так светлы, так прекрасны, что заставляют меня совсем забывать все беды и ужасы, грозящие мне в будущем.

— Быть может, ты прав,— сказал, глядя в глаза ему и читая в душе его, Захарьев-Овинов.— Но слушай эти последние слова мои, последние, так как вряд ли мы еще раз встретимся в этой жизни: воля человека видоизменяет судьбу и заставляет бледнеть и испаряться образы, витающие в астральном свете... Все те страшные картины, которые ты видишь с закрытыми глазами, навсегда исчезнут и не повторятся в материальной действительности, если ты изменишь жизнь свою, если уйдешь от всяких обманов и удовольствуешься скромной долей. Думается мне, что и минут счастья у тебя тогда будет больше, и правильно разовьешь ты свои духовные силы, и избегнешь заслуженной теперь тобою кары... Все еще от тебя зависит. Удержи свою руку, не подписывай себе приговора... подумай о словах моих...

Калиостро опустил голову. Взгляд его померк.

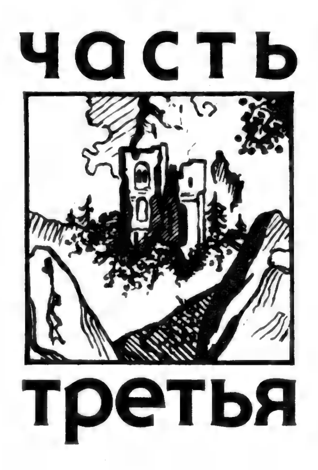
— Великий светоносец,— сказал он,— я, конечно, не раз буду думать о словах твоих... Только... я ведь уж не розенкрейцер, и не могу быть им... Есть вещи, которые сильнее моей воли... А ты... ты сам... К какой судьбе идешь ты?

— Я иду,— внезапно оживляясь, воскликнул Захарьев-Овинов,— я иду искать истинного счастья... Я уже вижу во мраке к нему дорогу... Я уже чувствую, что найду его!..

— Желаю тебе этого.

Они молча обнялись и вместе вышли из старого дома.

часть третья





I

В доме старого князя Захарьева-Овинова, в первой комнате того помещения, где продолжал жить отец Николай — да уж и не один теперь, а с женою,— перед столом, накрытым чистой белой скатертью, сидели две женщины. На столе стоял чан с горячим сбитнем, кувшин сливок и возвышалась целая гора свежих саек и баранок. Вся эта комната, остававшаяся нетронутой, внушительной и не походившая на жилую до самого приезда Настасьи Селиверстовны, теперь совсем изменила свой вид. Она казалась гораздо менее внушительной и богатой, но зато в ней сделалось как-то теплее, уютнее; тут царили теперь порядок, чистота. Видно было, что здесь живет добрая хозяйка, обладающая настоящим хозяйским глазом.

Эта добрая хозяйка, Настасья Селиверстовна, и была одной из женщин, сидевших за столом перед чаном с горячим сбитнем. Кончался уже третий месяц пребывания ее в Петербурге, и за это время она очень изменилась. Если б деревенские соседки ее сейчас увидели, то непременно всплеснули бы руками и завопили: «Матушка ты наша, Настасья Селиверстовна, какая беда тебе приключилась, кто тебя, сердешная, сглазил?..»

Действительно, Настасья Селиверстовна похудела и побледнела, хотя все еще оставалась достаточно полной. Излишне густой румянец сбежал с круглых щек ее, от чего они стали гораздо нежнее. Прекрасные черные глаза сделались как-то глубже, вдумчивее и удивительно выиграли в своем выражении.

Вообще Настасья Селиверстовна, на взгляд всякого истинного ценителя женской красоты, была теперь незаурядно красивой женщиной. А главное, с нее внезапно за это короткое время сошла вся прежняя деревенская грубость и угловатость. Она быстро огляделась в столице и сумела принять столичный вид: на ней было очень ловко сшитое темное шерстяное платье, густые волосы хитро и красиво причесаны. Никто не сказал бы, что она всю жизнь прожила в деревне и до сих пор почти и людей-то не видала. Она много стараний приложила на такое преобразование своей внешности, и старания эти увенчались полным успехом.

Оканчивая перед большим княжеским зеркалом, стоявшим в ее спальне, свой туалет, она сама себе говорила: «Ну, чем же я хуже их, этих здешних дам-мадамов?» И если бы при этом находился посторонний беспристрастный и вкусом обладающий зритель, он непременно бы воскликнул: «Матушка, Настасья Селиверстовна, не хуже ты, а не в пример лучше многих и многих здешних дам-мадамов!»

Другая женщина, сидевшая рядом с хозяйкой, тоже имела приятную наружность, и вообще вся ее фигура, голос, манеры сразу внушали к ней доверие. Она уже была немолода, на ее бледном изнуренном лице долгие годы страданий оставили свой неизгладимый отпечаток.

Женщина эта была Метлина. По-видимому, она пришла сюда не сейчас, а уже достаточное время беседовала с Настасьей Селиверстовной. По ее блестящим глазам и нервному оживлению, сказывавшемуся во всех движениях, можно было заключить, что она много и горячо говорила.

Она уже не первый раз видела жену отца Николая, но видела ее мельком, и впервые пришлось им разговориться и сблизиться. Она пришла теперь к отцу Николаю, но не застала его, и матушка, гораздо более обходительная и ласковая, чем в первое время по своем приезде, пригласила ее обождать, сказав, что отец Николай обещал вернуться через час, самое большое — через полтора. Заметив, что гостья озябла, матушка тотчас же распорядилась относительно сбитня, послала прислуживавшую ей дворовую девчонку за сайками и баранками и принялась угощать Метлину.

Они разговорились, и Метлина рада была рассказать ласковой матушке все свои обстоятельства. Она теперь чувствовала потребность говорить об этих обстоятельствах со всяким человеком, внушавшим ей доверие.

Настасья Селиверстовна, вся превратясь во внимание,

с большим интересом и участием выслушала печальную повесть о многолетних бедствиях семьи Метлиных.

— Сударыня моя!— воскликнула она, всплеснув руками, когда Метлина, дойдя в своем рассказе до времени перемен в их судьбе, остановилась, переводя дух, тяжело дыша и чувствуя большое утомление после этого горячего рассказа, во время которого как бы снова переживала все минувшие беды.— Сударыня моя! Да как это Господь дал вам сил перенести такое? В жизнь свою такой жалости не слыхивала, а горя-то людского немало навидалась... да и своя жизнь не больно красна, сколько раз на свою беду плакалась. А вот теперь и вижу, что и бед-то со мною никогда никаких не бывало... Какие там беды! Вот у кого беды, вот у кого горе! Ну как же, сударыня, как это так вдруг все у вас переменилось?

— А так вот,— снова оживляясь и вся так и просияв, заговорила гостья.— Привела я тогда святого нашего благодетеля, отца Николая, помолился он с нами, и вместе с его молитвой пришло к нам благополучие. Спас он моего мужа не только от лютой болезни, не только от телесной погибели, но и от душевной. Совсем спас человека, из мертвого живым сделал. Как сказал, уходя: «Верьте, молитесь, подождите малое время, все изменится», так по его слову и сталось. Двух ден, матушка, не прошло, как позвали моего мужа во дворец к самой царице. Сразу-то мы испугались, особливо он, дрожит весь: «Куда это меня вести хотят, говорит, на какие новые муки и обиды?! Не пойду я, никуда не пойду, зачем меня царица звать будет, не знает она меня и знать не может. Обман это один, в тюрьму, видно, меня ведут, совсем доконать враги хотят»... Да благо я очнулась вовремя и его на правду навела. А отец Николай-то, говорю, ведь сказал нам, что подождите, мол, немного — все изменится. Это беда наша уходит, это счастье наше приходит, говорю. Ну, тут и он понял. Снарядила я его, как могла, а сама ждать осталась. Полдня ждала, молилась. Сначала нет-нет, да и сомнение охватит: а ну как это не счастье, а беда новая? Только отгоняла я эти сомнения, а к тому времени, как мужу вернуться, уже знала, наверное знала, что никакой беды нет и быть не может, что он придет и расскажет мне о своем благополучии... Вернулся он такой радостный, такой светлый, каким я его ни разу в жизни не видала; кинулся ко мне, обнял — давно уж мы с ним не обнимались,— обнял, да и заплакал. Плачет и целует меня, говорить хочет — и не может. Наконец успокоила я его, он тут и рассказал все. Как привезли его во дворец к камер-

фрейлине Каменевой, она с ним и пошла к самой государыне. Государыня приняла его милостиво да так ласково, что он как вспомнил, так опять в слезы — и говорить не может... Потом немного успокоился и продолжал. Сначала он оробел было перед царицей, да, говорит, не такова она, чтобы несчастному человеку долго робеть перед нею. Справился он с собою, все ей поведал без утайки. Она его выслушала со вниманием и приказала красавице камерфрейлине со слов его все о делах наших записать относительно всех тяжб и тех людей, которые нас обижали неправильно... Все, как есть все выслушала царица и отпустила его, сказав, что на другой же день он узнает ее решение. «Терпели вы,— сказала государыня,— многие годы, потерпите еще один день, только один день!»— с тем его и отпустила. Ну, вот мы и потерпели, и на другой же день приехала к нам, будто гостья небесная, добрый наш ангел, Зинаида Сергеевна — от нее мы и узнали о решении царицы. Муж мой получил во самом дворце должность смотрителя с квартирою готовою и со всяким царским жалованием. В тот же день мы и переехали... Ничего подобного и во сне нам никогда не снилось! После нищеты нашей и грязи, после голода и холода — в теплых да светлых хоромах на всем на готовом! Ведь чуть с ума не сошли от счастья. Ведь первые-то дни нет-нет да и посмотрим друг на друга: наяву все это или во сне с нами? Наконец, очнулись и стали благодарить Бога. Теперь уж и отогрелись, сыты, довольны, в благоденствии... Это ведь люди, которые всегда в счастье живут, так те не чувствуют, а вот мы поняли и телом и душою, какая благодать в жизни, как хорошо и отрадно бывает на Божием свете... А главное не это... Ну, что уж мне... А то, поймите, матушка: ведь я мужа-то заживо хоронила! Ведь он образ человеческий потерял, на глазах моих душу свою навеки губил. А теперь-то уж его и узнать нельзя — другой человек совсем стал, да и какой человек!

Она не выдержала и зарыдала. Настасья Селиверстовна так к ней и кинулась.

— Успокойтесь, голубушка вы моя... Нет, плачьте, плачьте — это хорошие слезы, радостные! Поняла я, все поняла, как не понять! Истинно, после бед таких велико ваше счастье, благодать Божия...

И сама она плакала и обнимала, целовала Метлину. Наконец обе они мало-помалу успокоились.

— А государыня-то мудрая, великая царица,— заговорила прерывающимся голосом Метлина,— она ведь не оста-

новилась в своих благодеяниях, она все дела наши тяжебные приказала вновь переисследовать верным людям. Вчера муж пришел — сияет весь! «Правда, говорит, на свет Божий выходит, все неправильно у нас отнятое, все, что наше по праву,— все нам возвращено будет»...

II

Настасья Селиверстовна не слышала этих последних слов своей гостьи, она вся была поглощена чем-то. Темные брови ее сдвинулись.

— Да вы мне вот что скажите, голубушка моя,— горячо воскликнула она,— мой-то отец Николай при чем тут? К чему это вы его-то своим благодетелем называете, к чему так говорите, будто он захотел, да и сотворил вам все ваше благополучие?! Что он пришел к вам помолиться да наставление пастырское сделал? Так ведь то же самое сделал бы всякий священник... Тут еще благодеяния нету!

Метлина даже руки опустила и глядела на нее с изумлением.

— Как, матушка! Бог с вами, что вы такое говорите! Да кто же, как не отец Николай... Все он один... он!

Настасья Селиверстовна как-то передернула плечами и покачала головою.

— Много бы он сделал, кабы не камер-фрейлина! Много бы и камер-фрейлина сделала, кабы не царица! Что царица — ваша благодетельница, это верно!

— Да разве я умаляю ее благодеяния? — все с тем же изумлением проговорила Метлина.— И я, и муж век будем Бога о ней молить. Слово нам скажи она — и мы за нее, за нашу матушку, в огонь и в воду готовы... Но только не смущайте вы себя,— меня-то не смутите! Первый истинный благодетель наш — отец Николай, и никто другой. Погибали мы и погибли бы, да Бог сжалился и направил меня к нему, потому что только он один и мог помочь нам. Ведь я говорила вам, матушка: пришел он, святой человек, и принес нам милость Божию. Душу мою обновил и спас душу моего мужа. Сказал: «Верьте, молитесь, подождите немного — и все будет»,— и по слову его сталось...

Но брови Настасьи Селиверстовны сдвинулись еще больше, по недавно еще нежному и растроганному лицу ее мелькнула недобрая усмешка.

— Скажите пожалуйста!— всплеснула она руками.— Да что же вы думаете, сударыня, разве мне не приятно

было бы узнать, что муж у меня такой угодник Божий! Только от слов-то оно не станется... Ну, ладно, сказал он вам: подождите, все придет. Пошел он от вас, а здесь, вот в этой самой горнице, его поджидала камер-фрейлина... Вспомнил он о вас, рассказал ей про ваши беды, попросил ее поговорить с государыней. Ну, что же тут такого? Всякий на его месте сделал бы то же самое, святости в этом нету. А вот хотела бы я знать, кабы он эту самую камер-фрейлину не встретил, или кабы камер-фрейлина не взялась с государыней говорить, или не сумела бы — так ведь вы бы до сих пор благополучия ждали! Или не так?

И она пытливо поглядела на Метлину, в душе переживая, что слова ее покажутся убедительными и что Метлина сознается в своей ошибке, признает, что отец Николай во всем этом деле не при чем. И хотелось ей, страстно, хотя и бессознательно хотелось, чтобы Метлина ее убедила во всем том, в чем сама она, несмотря на все свое желание, никак не могла убедить себя.

— Нет,— спокойно и решительно возразила Метлина,— мне от вас, уж извините меня, тяжко и слышать-то слова такие... Зачем гневите Бога, зачем людям да случайности отдавать неправильно то, что принадлежит Богу?! Добра царица, добра Зинаида Сергеевна, а все же этой доброты ихней мы и не увидели бы... Не они тут, а батюшка...

Но Настасья Селиверстовна живо ее перебила:

— Бог, вы говорите? Это так, а муж-то мой при чем?.. К чему его-то вы к Господу Богу равняете?! Это уж и грешно даже, сударыня, коли знать хотите!

Метлина снисходительно улыбнулась и взяла Настасью Селиверстовну за руку.

— Эх, матушка, какая вы право... неразборчивая да горячая... А вы не торопитесь, подумайте. Вот мы с мужем много обо всем этот думали-передумали, и теперь-то все нам так видно, как на ладони... Да и увидеть-то немудрено вовсе — надо только приглядеться хорошенько... Все мы — создания и чада Божии, и Отец наш не может не видеть нас и не слышать... Только мы-то сами от него отвращаемся, смотрим всюду, только не на Него, а и захотим на Него взглянуть и к Нему обратиться, так уж и не можем, ибо сами так ослабили свои очи, что не в силах вынести света Его. Так, что ли, я говорю, матушка?

— Так, так!— с волнением в голосе воскликнула Настасья Селиверстовна.

— Вот и надобны Ему такие люди, которые могут выносить Его лицезрение, понимают волю Его. Таким

людям Он и дает способы творить Его волю и быть посредниками между Ним и ослепшими, в разуме затемненными творениями. Такие люди — святые, Божии посланцы, наши заступники и благодетели. Без них, думаю я, весь род бы людской погиб. Таков и батюшка отец Николай.

— Святой?— тихо спросила Настасья Селиверстовна, и уже в голосе ее не было задора, в нем прозвучал трепет.

— Да, святой,— с глубоким убеждением сказала Метлина.— Господи, да вам ли, матушка, не знать этого? Вам на долю выпала такая благодать, такая милость Божия, такое счастье великое! Вы жена, сердечная, Богом данная подруга жизни святого человека... и вы как бы сомневаетесь?! Да что же это такое? Я и ума не приложу... Не мы с мужем отыскали батюшкину святость — о том все, как есть все здесь знают... Ведь он ежечасно благодатью Божией да силою своей святой молитвы врачует недуги, осушает слезы, помогает всем страждущим, оживляет мертвых душою и приводит их к Богу!

Тихие слезы струились из глаз Настасьи Селиверстовны.

— Вот вы говорите,— шептала она,— мне счастье великое... сердечная, Богом данная подруга жизни я ему... Отчего же, отчего нет мне счастья?

Метлина глубоко задумалась.

— Вот что!— наконец проговорила она.— Не посетуйте вы на меня, матушка, на мое слово: думается мне, что ежели нет вам с ним счастья... стало быть, вы... его не заслужили...

— Да, не любит он меня, совсем не любит, не думает обо мне нисколько... чужая ему я — вот мое горе!— воскликнула Настасья Селиверстовна страстно, мучительно, с глубокой искренностью.

До приезда в Петербург она никогда не мучилась этим вопросом, даже никогда не спрашивала себя, любит ли ее муж или нет. Какое ей было до этого дело! Не требовала она от него любви и не нуждалась в ней. А тут вот, приехав сюда, с первых же дней так прямо и задала себе этот вопрос, и решила его в отрицательном смысле, и терзалась этим. Она теперь почти никогда не разговаривала с отцом Николаем, видимо, очень на него сердясь, но — странное дело!— совсем перестала на него накидываться, не бранилась, не кричала, не мучила его своими злобными выходками и насмешками. Когда он был дома, она все больше молчала да глядела на него как-то мрачно и загадочно.

— Не любит он меня, вот что!— повторила она с отчаянием.

Метлина даже встала с кресла почти в негодовании.

— Это он-то, батюшка отец Николай, вас не любит? Ах, грех какой! Да он каждого, он всех, как есть всех любит... Так как же ему не любить вас-то...

Она не договорила, потому что в комнату вошел отец Николай, и его светлый, сияющий взгляд сказал ей, что она права, что он любит всех, любит истинной, светлой и сияющей, как солнце, дающей свет и тепло любовью.

III

— Так вот это кто у нас в гостях?— радостно улыбаясь, воскликнул отец Николай.— Подождали меня, отогрелись!.. Хорошо это, Настя, что ты добрую госпожу задержала!

Он благословил стремительно подошедшую к нему Метлину и в то время, как она целовала его руку, другую руку положил ей на голову.

— Дочка? — спросил он.— Об ней ты пришла, моя госпожа добрая, поговорить?

— Батюшка, что ж вы спрашиваете,— дрогнувшим голосом отвечала Метлина,— ведь вы всегда в моих мыслях читаете... вам Господь все открывает, что есть в душе человека.

— Ну, этого, мать, не говори, что́ я за сердцеведец! Вон сказывают, чужая душа — потемки... Только и в потемках ощупью пройти можно!— весело добавил он.— Не смущайся, госпожа, не унывай: уныние — грех большой, ох какой большой грех!

Он подошел к столу и пододвинул себе кресло.

— И я прозяб, на дворе-то морозец знатный! Настя, ты бы мне сбитеньку горяченького, это бы хорошо... А вы, госпожа моя, присядьте... поговорим, мать, поговорим без уныния и с надеждой на милость Божию о твоей дочке.

Его присутствие, его бодрость, его слова уже возымели свое всегдашнее действие. Тень глубокой грусти, скользнувшая было по лицу Метлиной, исчезла, снова вернулось спокойствие; тишина и мир наполнили душу.

— Мне ли роптать, я ли не взыскана Божией милостью?— сказала Метлина.— Знаю я, что грех мне смущаться и быть нетерпеливой после того, что случилось с нами... Думаю я и так: за что же нам «все»... и так уже чрезмерно получили... Дано нам много, а это горе оставлено... Только не могу я без тоски глядеть на мое дитя единственное! А как тоска эта загрызет, вот и иду к тебе,

батюшка... чтобы ты тоску из души моей вынул да поддержал меня...

Отец Николай, только что с видимым удовольствием отхлебнувший сбитня, поданного ему Настасьей Селиверстовной, быстро поставил чашку на стол и замахал рукою.

— Нет, мать, не говори так!— воскликнул он.— Боже тебя сохрани от таких мыслей! К чему счеты подводить и мудрствовать: это, мол, Господь дал, а этого не даст. Благость и милосердие Божии неисчерпаемы, беспредельны, нет им счета, нет им меры! Это людская мудрость в сем видимом мире исчисляет, измеряет и взвешивает... Творец же выше всего этого... И как только ты свяжешь Его числом, мерою и весом, так тотчас же потеряешь истинное о Нем понятие и низведешь Его с неба на землю. В этом и есть великая ошибка человеческой мудрости, вся слепота ее... Говорю тебе, Божия благость неисчерпаема, дары Его неисчислимы, только мы не можем ясно видеть путей Божественного Промысла, а посему и склонны судить криво... Говорю тебе: верь, молись и гони от себя уныние. Придет спасение твоей дочери... Как она? Что с нею?

— Да все то же, батюшка! Даже еще хуже, чем прежде... Думала я, что все это зло в ней, все эти мысли грешные и ужасные от беды да от нищеты были. Думала, все пройдет при перемене жизни нашей. Вот теперь она в довольстве и спокойствии, в тепле да холе... Я ли ее не ублажаю? Всего у нее вволю, в светлых хоромах живет, сладко ест, мягко спит, ни работы никакой утомительной, ласку от меня да от отца видит; подумайте, батюшка, ведь она у нас одна, ведь кого же нам и любить да баловать, как не ее! Прежде-то и она нас любила, доброй дочерью была в самое тяжкое время, а теперь... будто у нее к нам ненависть. Ну, просто видеть нас не может, противны мы ей... все ей противно... Успокаиваю я ее, увещеваю, все ей показываю милость Божию над нами... Катюша, говорю, уж когда гибли мы, пропадали в работе, холоде, голоде, тогда можно было дойти до греха, до отчаяния... А теперь-то! Да погляди кругом себя — хорошо-то как! А отец-то — взгляни на него — ведь он возродился и духом и телом, ведь его узнать нельзя...

— Что же она?— спросил священник. Теперь в лице его уже не было веселья и оживления, только в глазах сиял все тот же ясный, бодрящий свет.

— Да что она, батюшка! Слушает, притихнет да вдруг как закатится! Платье на себе рвет, мечется, кричит: «Дышать мне нечем, давит меня! Где это хорошо? Ничего нет

хорошего и быть не может, на свете все дурное, темное...» Да потом такое начнет говорить — повторять не хочется...

— Нет, ты все мне скажи, без утайки, госпожа моя!— настаивал священник...

— Коли приказываешь... Да нет, я и без всякого приказу скажу... не осудишь... Про вас это она, батюшка, в безумии своем... К вам, благодетель наш, у нее особая какая-то злоба... Стану я ее уговаривать Богу помолиться, прошу ее со мною к вам съездить, так она как ваше имя услышит, так ее всю и начинает дергать. «Это, говорит, обманщик, лицемер! Видеть его не могу, ненавижу его!» Закричит, закричит, затопочет... на пол упадет и бьется... Батюшка, да ведь это что же? Ведь она бесом одержима!..

Настасья Селиверстовна, все время молча слушавшая, перекрестилась.

— Бесом?.. Да, конечно, сила зла велика!— после некоторого молчания произнес наконец отец Николай.— Велика сила вражды и ненависти, только ведь любовь все превозмогает... и Господь наш, Иисус Христос, оставил нам это оружие — всепобеждающую силу любви. В оружии сем все наше спасение... Госпожа моя, где же теперь дочь твоя?

— Да вот, батюшка, какое случилось,— разволновалась Метлина,— ведь она у нас неделю как стихла, не было этих ее беснований... я и решилась опять просить ее к вам поехать со мною. Уговариваю, а она молчит, смотрит так грустно, как будто ничего не видит, а потом и говорит: «Хорошо, матушка, поедем!» И сказала как-то странно так, со вздохом и будто не своим голосом. Обрадовалась я, одела ее, закутала, повезла. Отъехали мы немного, вдруг она кричит извозчику: «Стой!» Да так это у нее страшно вышло, что извозчик сразу остановился. Выскочила она из пошевней, бежит обратно домой и мне кричит: «Поезжайте вы, матушка, одна, а от меня ему скажите, чтобы он не ждал меня — я себе не враг!» Так, этими самыми словами и сказала... Что же мне было делать — поехала я одна...

— А уедешь не одна!— вдруг оживился отец Николай и поднялся с места.— Нечего время терять, поедем-ка, мать с тобою в дом твой. Поборемся с врагом и, коли Господь подаст, победим его. Обогрелись мы, Настя нас сбитнем хорошим угостила — так и в путь.

— Как мне и благодарить вас, батюшка, не знаю,— засуетившись и собирая свою теплую одежду, повторяла Метлина.— Окрылил ты меня, легко так вдруг стало...

— За что же благодарить?— весело говорил отец

Николай, надевая шубу.— Я рад, борьба с таким врагом — дело хорошее... Бодрость во мне, сила растет! И впрямь воином себя чувствую. Благослови, Господи! Не кровь человеческую проливать буду... Идем, мать, спешим! Прости, Настя!..

Настасья Селиверстовна молча обнялась с Метлиной и стояла, горделиво выпрямившись. Она побледнела и мрачно, загадочно, не мигая, глядела на отца Николая.

Вот и он, и Метлина скрылись за дверью.

Настасье Селиверстовне показалось, что в комнате вдруг стало ужасно тихо, ужасно пустынно.

— Да что ж это?— прошептала она, заломив руки.— Одна, всегда одна... чужая... никому не нужная... а ему — только помеха, тягость!..

И она понимала, что иначе быть не может, и она его не винила. Куда же ей, в самом деле: туда, за ними, в незнакомый дом, где он будет изгонять беса из порченой девушки? Что же она там будет делать — только мешать: кому она нужна?.. Он, которого она прежде так низко ставила, он всем нужен, он — святой... святой... А она — грешница, недостойная любви его... Ведь вот барыня эта так прямо и сказала. И барыня права...

Ей вспомнились прожитые годы, вся ее семейная жизнь, и все теперь представало перед нею совсем в ином свете. Она все яснее и яснее начинала видеть то, чего прежде не видела. Ей вспоминались отвратительные сцены, бывавшие между нею и мужем. Она всегда считала себя правой. Теперь же ей очевидно стало, что всегда она бывала виновата, а он прав. Он молчал, выносил спокойно и невозмутимо нападки, бессмысленные упреки, брань, побои... Он выносил все это не из слабости — теперь она начала понимать, что не из слабости...

Будто яркий свет ударил ей в лицо; она закрыла глаза, краска стыда залила ей щеки.

Она все поняла — и ужаснулась.

IV

Отец Николай, погруженный в свои мысли или, вернее, в духовное приготовление к той борьбе, которая его ожидала, совсем не замечал дороги. Метлина, видя его молчаливость и задумчивость и инстинктивно чувствуя его состояние, не развлекала его разговором. И дорога показалась ей длинной.

«Что-то там происходит?— она уж даже раскаивалась, что оставила дочь одну.— Можно было бы написать отцу Николаю, попросить его приехать, и он не отказал бы ей. А теперь мало ли что могло случиться с Катюшей, ведь прошло столько времени... Ну, да что уж там, Бог милостив!..»

Но мысль о том, что она возвращается не одна, а с отцом Николаем, ее успокаивала, и она принималась про себя горячо молиться за дочь.

Наконец доехали. Вот они у дверей. Дверь им отворила Зина. В этом, собственно говоря, для Метлиной ничего не могло быть странного: Зина нередко посещала их и старалась, хотя до сих пор и безуспешно, сблизиться с Катюшей, развлечь ее, помочь ей выйти из странного состояния, в котором она находилась.

Взглянув на лицо красавицы камер-фрейлины, Метлина невольно вздрогнула.

— Зинаида Сергеевна, голубушка вы моя... Что случилось?

— Успокойтесь, пожалуйста,— дрожащим голосом выговорила Зина и в то же мгновение увидала отца Николая.

— Ах, какое счастье,— воскликнула она,— батюшка, это сам Бог вас посылает!

Метлина уже бежала к дочери. Отец Николай поспешно снимал с себя шубу, а Зина отрывисто, почти задыхаясь, ему рассказывала:

— С час тому назад прибежала ко мне горничная девушка... говорит: с барышней худо, а ни отца, ни матери нет... Он с утра по своей должности в Царское уехал, а когда она вернется — не знают; ждут, а ее все нет... Я поспешила и застала Катюшу такою... Сами увидите, батюшка, что с нею делается... глядеть ужасно... Пойдемте ради Бога!

Но звать отца Николая было нечего, он не шел, а почти бежал, хотя лицо его и оставалось не только спокойным, а даже радостным. Он чувствовал в себе силу, приток необычайной бодрости, того особенного, неизъяснимого состояния, которое находило на него, когда надо было спасать ближнего.

И вот они в комнате Катюши. Метлина, как была, закутанная в шубу, склонилась над кроватью дочери. Та лежала неподвижно, бледная, с закрытыми глазами. Метлина обернулась в ужасе к отцу Николаю, зубы ее стучали:

— Батюшка!— простонала она.— Что же это... она умирает?

Отец Николай быстрым шагом подошел к кровати и

перекрестил Катюшу. В этот же самый миг ее всю передернуло. Девушка открыла глаза, со страхом и отвращением взглянула на священника, и все черты ее исказились до неузнаваемости. Она вдруг завопила страшным, не своим, голосом, поднялась с кровати, хотела бежать, но, обессилев, упала на пол.

С нею начались конвульсии. Быстро, быстро тело ее стало принимать самые неестественные положения: она откинула голову назад, оперлась теменем о пол и вся изогнулась, так что пятки ее почти касались головы. В такой позе без помощи рук она передвинулась до половины комнаты. Затем в мгновение ока, опять-таки без помощи рук, встала на ноги и выпрямилась, потом упала на грудь и так ползла, не шевеля ногами и руками.

Метлина, вся дрожа и обливаясь слезами, кидалась к ней, но ее как будто что-то не пускало. Зина, бледная, глядела, не веря глазам своим. Сам отец Николай в первую минуту как бы смутился: он никогда еще не видал ничего подобного. Губы его шептали молитву, и он время от времени издали осенял Катюшу крестным знамением.

Катюша его не видела, не могла видеть, так как зрачки ее открытых глаз совсем закатились, но каждый раз, как он осенял ее крестным знамением, она вся вздрагивала и неистовый ее вопль оглашал комнату.

Несколько десятков раз с ужасающей быстротою Катюша изгибалась в дугу, почти в круг, и затем мгновенно выпрямлялась. Потом она сделала какой-то невероятный прыжок аршина на два от пола и со всего размаху упала, ударяясь головою о стул.

Несчастная Метлина с раздирающим криком кинулась к дочери, боясь, что та разбила себе голову, так как спинка стула, о которую виском ударилась Катюша, от удара сломалась. Между тем на виске не было никакого знака. Катюша быстрым движением отстранила мать, подбежала к своей кровати и села на нее.

Теперь она как будто успокоилась. Так продолжалось с минуту. Отец Николай все громче и громче читал молитву и подходил к кровати. Вдруг опять визг. Но Катюша неподвижно сидит, будто окаменелая, зрачки ее глаз по-прежнему закатились, совсем их не видно. Лицо ужасное, неузнаваемое, красное, шея раздута...

— Зачем ты здесь?— воскликнула она хриплым голосом.— Зачем ты пришел меня мучить? Уходи, мне тебя не надо! Разве с тебя не довольно, что ты обманул отца

и мать... Меня не обманешь... Смотри!..— она показывала ему что-то: — Видишь?!

Отец Николай ничего не видел и не слышал. Весь углубленный в молитву, он чувствовал, определенно и ясно, что перед ним как бы какое-то препятствие, как бы какая-то стена обступила его со всех сторон, и через эту стену он должен проникнуть. Но стена эта страшно холодна — на него так и веет от нее ледяным холодом, и она только тогда его пропустит, когда он превратит этот холод в тепло... и тепло это он должен извлечь из себя.

Он напрягает всю свою силу, все свое сердце — и тепло растет, растет, усиливается, непрерывной струей льется на холодные камни... и камни теплеют... Все существо отца Николая наполняется неизъяснимым умилением, неизъяснимым чувством жалости и любви. Он давно уже забыл о себе и только любит, только верит, только множит в себе благодатное тепло, изливающееся на стоящую перед ним преграду...

А Катюша между тем говорит, говорит:

— Жутко и хорошо под этими сводами!..— озирается она кругом себя.— Какое богатство... какая роскошь! Все сокровища мира здесь собраны... золото... золото, камни самоцветные... Огонь, темно-красный огонь освещает всех. Гляди, обманщик, сколько здесь людей, все здесь, и все «ему» поклоняются! Вот он... «он»!..

Она задыхается, дрожит, но все же продолжает:

— Да, он страшен... ужасен! Но ведь, кроме него, ничего нет, он владыка надо всем, надо всеми; видишь, все преклоняются перед ним!.. Все упали, и он велит им, он велит... убить, ограбить... обмануть... лгать! И за это он дает куски золота, камешки со стен своего чертога... И все убивают, грабят, лгут за кусок золота, за камешек!.. Зачем же ты обманываешь, зачем говоришь, что есть кто-нибудь, кроме него, зачем ты меня мучаешь?!

Отец Николай пришел в себя и содрогнулся, расслышав последние слова ее. Он быстро подошел и положил руки ей на плечи. Девушка мгновенно затихла, в лице ее произошла перемена: оно мало-помалу бледнело, стало спокойным, зрачки, расширенные, тусклые, опустились, глаза продолжали оставаться открытыми. Отец Николай взял обеими руками ее голову и прижал к своей груди.

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его...— шептали его губы.

Теперь он чувствовал, как исчез леденящий холод, как распалась преграда, стоявшая перед ним, как благодатный

поток тепла, изливаясь из него, наполняет эту несчастную голову, которая прижата к его груди. Теперь он знал, наверное знал, что вся сила зла, сила лютой, неведомой и страшной болезни исчезла. Он склонился вперед и, поддерживая голову Катюши, осторожно положил ее на подушку, затем закрыл ее глаза, перекрестил и отступил на шаг.

— Встань,— сказал он спокойно и твердо,— встань! Господь избавил тебя от зла и болезни!..

Катюша открыла глаза. Но теперь ничего неестественного и ужасного уже не было в ее взгляде. Она провела рукою по лбу, как будто отгоняя какую-то тяжелую грезу, потом с изумлением взглянула на отца Николая, на мать, на Зину.

— Боже мой!..—воскликнула она.—Что со мною, какой ужасный сон... ничего не помню... только ужасное что-то!..

Она еще раз взглянула на священника, слабо и радостно вскрикнула и бросилась ему на шею.

— Батюшка,— шептала она, прижимаясь к нему,— благословите меня, перекрестите... Как хорошо, как хорошо, как тепло!..

Отец Николай радостно глядел на Катюшу и, обняв ее одною рукою, другой ласково гладил по распустившимся волосам. Метлина и Зина еще не успели прийти в себя после всех потрясающих впечатлений. Но вот они наконец все поняли и с криком радости кинулись к отцу Николаю и Катюше.

V

Велик и грозен беспросветный мрак, окутывающий мир. Ничего в нем не видно, и слышатся только из глубины его разнородные звуки — крики борьбы, ужаса, страдания, злобного торжества, вопль насыщающих себя и вечно ненасытных злобы и мести, бессмысленный смех, вздохи грубого мимолетного наслаждения, мольбы о пощаде, мольбы о помощи, безнадежные глухие рыдания, предсмертный хрип умирающей животной жизни. И все эти звуки сливаются в мрачную дисгармонию...

Что там происходит, в этом беспросветном мраке? Там царствуют слепые и немые, беспощадные законы материальной природы, там сознательная борьба невозможна, победа минутна и ее следствия ничтожны. Там страшный и загадочный Рок собирает свою созревшую жатву...

Велик и грозен беспросветный мрак, окутывающий мир;

и весь этот мир, со всеми своими тайнами, не видимыми в глубокой тьме явлениями, со всей мрачной дисгармонией своих звуков — только безобразный, неведомо зачем существующий клубок материи, кишащий созданиями ее удушливых испарений...

Но вот среди непонятной тьмы загорается искра дивного, божественно-прекрасного света. Эта малая искра сразу озаряет громадное пространство мрака; она несет в себе свет и тепло, изливает их из себя неиссякаемыми потоками — и к ней из глубины клубящейся и мятущейся бездны устремляется все, что способно воспринять свет и тепло. Только самые чудовищные исчадия мрака хоронятся в недоступных глубинах его, объятые ужасом безумия...

И все, что стремится к этой животворной искре, быстро меняет свои грубые, обезображенные формы, созданные мраком. Чем больше света и тепла, чем ближе их источник, тем больше красоты, гармонии, ликований. Не будь этой всеозаряющей, всепобеждающей искры — не было бы и мрака, ибо нельзя было бы осознать его. Было бы одно бесконечное страдание, одна бессознательная смерть, один неумолимый Рок со своими холодными, неизбежными законами.

Но все создано не для смерти, а для вечной жизни, не для безобразия, а для красоты, не для страдания, а для блаженства, не для лжи, а для истины, не для ненависти, а для любви! Жизнь, красота, блаженство, истина, любовь — все это и есть искра света и тепла, всепобедно озаряющая мрак материи. Это чудный пятиугольник, из которого ничего нельзя взять, не уничтожив его цельности; уничтожить один из пяти углов его — значит разрушить все, все обратить в призрак и ничтожество. Это святой символ, звезда истинного счастья...

Где светят и греют пять лучей звезды счастья, там все преображается. Всякое жилище человеческое — от дворца до бедной хижины, со всем своим сором и пылью — сразу превращается в лучезарный храм ликующего духа...

В такой храм превратилось и жилище Метлиных: весь мрак исчез, и все пять нераздельных лучей чудной звезды светили и грели. Проходили минуты, но никто не замечал их, все внешние проявления жизни воспринимались теперь безотчетно. Все находились в высшем духовном единении, забыли себя и наслаждались счастьем. Все разместились теперь вокруг отца Николая и блаженно глядели на его счастливое лицо, в его ясные глаза, изливавшие потоки ликующего света.

Священник первым нарушил долгое молчание. Он вздохнул всей грудью от избытка счастья и с умилением в голосе сказал:

— Боже мой, Боже мой, как нам благодарить Тебя? Как нам прославить Твое великое милосердие?! Были муки тела и духа, мрак и нищета, ложь и грех, а ныне сияет свет Твой и ликует победу любовь Твоя!!!

Все три женщины при словах этих заплакали и невольно, в бессознательном порыве, кинулись в объятия друг другу. Отец Николай радостно глядел на них.

В его сердце поднялся вопрос, и этот вопрос был: за что ему такое счастье? Чем заслужил он его и чем заслужит? Он чувствовал себя таким малым, ничтожным перед беспредельностью Божией благодати. Ему, конечно, и в голову не пришло, что это он сам превратил горе в счастье. Но вот Метлина, обратясь к нему и продолжая обнимать Катюшу и Зину, воскликнула:

— Батюшка... святой отец... благодетель наш... чудотворец!

Он вздрогнул, смутился, и даже строгость мелькнула в его взгляде.

— Мать, замолчи!— как-то растерянно прервал он ее.— Бога благодари, а не меня... Разве это я? Разве я хоть что-нибудь могу без Бога?!

Ему стало неловко, почти тяжело, но великое счастье, охватывавшее его, тотчас же вытеснило все иные ощущения. Метлина замолчала, боясь огорчать его, но в душе ее повторялось: «Бог через угодника Своего!»

В это время в соседней комнате послышались шаги.

— Это папенька... папенька вернулся!— радостно крикнула Катюша и в миг один была же у двери.

Метлина поспешила за нею, а отец Николай остался вдвоем с Зиной.

— Ну вот, голубушка моя,— сказал он, любовно на нее глядя,— привел Господь нам вместе переживать счастливые минуты... Где же твое горе, твои страхи?.. Разве не светло и не тепло на душе у тебя?

— И светло, и тепло,— отвечала Зина,— ничего и никого не боюсь я... и спокойна с тех пор, как вы меня успокоили...

Она как бы хотела еще прибавить что-то, но он понял мысль ее.

— И ждешь, и молишься, и надеешься!.. Так, дочь моя, так! Экий день-то для нас счастливый!.. Да и не исчерпана еще кошница Божией благостыни — вестью доброй я тебя

порадую: друг наш недалеко и вскоре будет с нами...

— Вы получили от него известие?— вся вспыхивая, с забившимся сердцем спросила Зина.

Отец Николай на мгновение как бы изумился — только не ее вопросу, а тому, что он так уверенно, так решительно сообщил ей свою весть.

— Нет,— ответил он,— не имею я от него известия, то есть письма или слуха какого, а только есть у меня, видите ли, милая моя боярышня, чувство такое — никогда оно меня не обманывает. Коли сказал я, что он скоро будет с нами — значит, оно так и есть...

Он замолчал и как будто прислушивался к чему-то, даже глаза закрыл.

— Да,— еще решительнее повторил он,— близко он, близко! И увидим мы его обновленным... Так и знай! Это Бог тебе такую радость посылает!..

Вошел Метлин в сопровождении жены и дочери. Они уже сказали ему все, уже горячие поцелуи и ласки Катюши яснее всяких слов доказали ему, что его единственная и нежно любимая им дочка спасена от страшной, непонятной болезни, что теперь уже не будет унылый вид ее отравлять счастье их новой, блаженной жизни. Жена шепнула ему также, чтобы он не смущал избавителя выражениями своей благодарности...

Метлина говорила, что ее муж стал совсем новым человеком,— и это была истинная правда. В этом бодром, красивом, барственного вида человеке невозможно было узнать недавнего, совсем опустившегося телом и духом, пьяницу. К нему вернулось все его достоинство прежних лет, в глазах светились ум и доброта. Он подошел к отцу Николаю и, приняв от него благословение, не стал благодарить, а лишь молча посмотрел на него, но так посмотрел, что священник еще раз обнял его и поцеловал.

— Радуюсь, радуюсь, сударь!— говорил отец Николай.— От супруги про все дела, про все ваши новости знаю: работаете, трудитесь... Доброе дело!.. Бог вам в помощь!

Но Метлин вдруг как-то смущенно опустил глаза.

— Стою ли я еще таких Божиих милостей? — усомнился он.— Ах, батюшка, как гадок человек, то есть я-то, как гадок! Ведь уж чего бы, кажется; ведь уж легко прозреть, а все слепота одолевает! Тяжбы мои вот разбираются... А я, узнав, что все мои вороги да обидчики в ответе теперь и жестокую кару по закону должны понести, так возрадовался, так возрадовался — вот будто сердце пляшет от радости!.. Так все и кипит во мне — посмотреть на них...

Унижали они меня — их теперь унизить, да десятерицею, да сторицею! На их муки налюбоваться!

— Что ты говоришь, что ты говоришь? Да ведь это грех смертный!— испуганно вскричал отец Николай.

— Знаю, отче, и каюсь!— продолжал Метлин.— Сутки целые, и день и ночь, тешил я в себе сию злобу... Утром стал на молитву, а молиться-то и не могу — покинул меня Господь!.. Тут я и очнулся... Ну, помогла мне сила небесная... поборол я себя, совсем поборол и от всего сердца за врагов помолился, и простил им. И так легко стало на душе, как никогда не бывало...

— Слава Тебе, Господи!— перекрестясь, воскликнул священник.— Только вот что, друже мой, ты это на деле покажи — свое прощение... свою молитву... От тебя будет зависеть — подвергнуть их, обидчиков-то твоих, всей каре закона или простить. Так ты их прости и заступись за них...

— Простил и заступаюсь,— просто и твердо сказал Метлин.

— Вот это ладно!— обнимая его и ласково похлопывая по плечу, говорил отец Николай.— И тебя Бог прощать будет... и за тебя заступится... Прощайте, други мои, порадовался я с вами и в радости вас оставляю... Мне же домой теперь пора — ждет меня кто-то... Да, должно быть, кто-то ждет...

Все вышли провожать его до крыльца, а когда вернулись в комнаты, то каждый почувствовал, что хоть он и покинул их, но оставил им все то великое счастье, которое принес с собою.

VI

Зимний морозный вечер уже стоял над Петербургом. В заледеневших окнах домов виднелся свет. Фонари тускло мигали по сторонам улиц, почти не освещая, а только указывая их направление. Густо выпавший, прохваченный морозом снег скрипел под ногами пешеходов, визжал под полозьями. Рабочий люд кончал свой дневной труд и приготовлялся к ночному отдыху. Праздный люд начинал вечерние удовольствия. Темное безоблачное небо все так и горело, так и переливалось мириадами ярких звезд.

Пошевни, в которых отец Николай возвращался домой, быстро мчались. Священник запахнулся в свою шубу, и ему было так хорошо в ней, так тепло. Он приподнял голову и, не замечая улиц, не видя домов, не слыша людских кри-

ков, любовался чудесными звездами, уносился в их беспредельную высь.

Ощущение бодрости и здоровья наполняло его тело, спокойно и радостно было на душе его, и все его мысли, все ощущения, весь он превращался в один порыв бесконечной любви к Творцу и ко всякому Его творению. Всем существом своим он поклонялся Богу и благодарил Его.

Но вот... Что это такое как бы дрогнуло в его сердце и смутило его безмятежность? Он вдруг подумал, что сейчас приедет домой, а там его ждет кто-то, кто нуждается в его помощи; он это чувствовал еще там, у Метлиных. Он и спешит, он и поможет... но ведь там... там и жена его, Настя, там она — это единственное испытание его счастливой и благодатной жизни! Когда же наступит конец этому испытанию?!

Вот Метлина какое о нем слово сказала: «чудотворец»... Отец Николай даже вздрогнул, вспомнив это слово, манившее его душу в область погибельной гордыни.

Он уже не раз слыхал подобные слова в последнее время: ежедневно кто-нибудь из тех, кому он помог по Божией милости, называл его чудотворцем, святым, угодником, благодетелем. И каждый раз его будто ножом резало от слов этих. Была минута, когда он совсем почти допустил врага побороть себя. Миг еще — и он бы возгордился, и он бы возомнил о себе.

Это была страшная борьба. Он вышел из нее победителем — смирился и осознал глубоко, всей душой, все свое человеческое ничтожество. Но ведь враг силен, он караулит, он ежечасно шепчет:

«Забудь, что я враг, забудь, что я грех, забудь, что я зовусь гордыней; впусти меня в душу, я дам тебе великие, неизреченные наслаждения!»

«Господи, помилуй, избави от лукавого!» — молитвою отвечает отец Николай на этот соблазняющий голос и осеняет себя крестным знамением, спасаясь от погибели.

«Святой... Хорош святой!— шепчет теперь он, глядя на чудные звезды.— Не святой, а великий грешник! На миг один оставит Господь — и так вот и полечу в бездонную пропасть, где нет звездного сияния, нет этого дивного небесного хора, немолчно поющего славу Предвечному!.. Угодник! Хорош угодник, когда не могу спасти и поднять эту бедную, томящуюся около меня душу! Да и где мне поднять кого-либо! Бог поднимает моей слабой рукою. И ее Он поднимет, не даст ей погибнуть»...

— Настя, бедная ты моя!— вдруг почти громко произнес он.

Много любви, много нежности, много глубокого горя прозвучало в словах этих. Если бы она могла их слышать, то не сказала бы, что он ее не любит. Она была ему чужая, совсем чужая, но часто, часто размышлял он об этом отчуждении, размышлял с тоскою в сердце.

Она думала, что он не замечает ее, что она тяготит его. Последнее было, конечно, правдой. Да, она являлась великой тягостью его жизни, единственным его горем. Но если это была единственная тягость, единственное горе, как же он мог не замечать ее? А уж как он за нее молился!

Он и теперь кончил размышление свое горячей молитвой, и эта молитва, как и всегда, принесла ему надежду, прогнала его тоску, вернула душевное спокойствие и радость...

Пошевни въехали во двор княжеского дома. Отец Николай расплатился с извозчиком, благословил его и поспешил к себе. В первой комнате никого нет, тихо. В углу перед образами зажжена лампада, на столе горит красивая лампа, недавно принесенная матушке услужливым дворецким из верхних княжеских покоев.

«Где же тот, кто ждет меня?»— подумал отец Николай.

А ждет кто-то, чувствует он, что ждет!.. Дверь во вторую комнату отворилась, и вошла Настасья Селиверстовна.

— Настя,— сказал отец Николай, снимая шубу и вешая ее на крюк в маленькой прихожей,— есть кто-нибудь у тебя?

— Никого нет,— тихо ответила она.

— И меня никто не ждал, не спрашивал, за мною никто не присылал?

— Нет, никто. Я все время, с той поры как ты уехал, одна была. Никто не приходил, не слыхала...

Кто это говорит? Это совсем не ее голос, он никогда не слыхал у нее такого голоса. Она стояла у двери, не трогаясь с места. Он подошел к жене и остановился, с тревогой на нее глядя.

Не она, совсем не она! Он уже и так замечал в ней перемену, а теперь она бледна, как никогда не бывала, веки ее красны, опухли от слез.

— Настя, что с тобою? Ты больна? Что у тебя болит, скажи, родная? — быстро спрашивал он, беря ее за руку.

Ничего ему не ответив, она вдруг упала перед ним на

колени, поклонилась до земли, потом охватила руками его ноги, прижалась к ним и зарыдала.

— Прости меня, прости! — расслышал он сквозь ее отчаянные, потрясающие душу рыдания.

VII

Отец Николай давно уже приучил себя не пугаться и не смущаться никакими неожиданностями, встречающимися в человеческой жизни. Во всех обстоятельствах — как печальных для него, так и радостных, как понятных ему, так и непонятных — он всегда оставался спокойным и владел собою.

Но теперь, увидя жену безумно рыдающею и обнимающей его колени, расслышав ее слова «Прости меня, прости!», он растерялся, испугался. Лицо его изменилось до неузнаваемости, потому что в нем померк весь тот безмятежный свет, который придавал этому простому по чертам лицу необыкновенную красоту и привлекательность.

— Да что такое, что случилось? — растерянно говорил отец Николай, склоняясь над женою. — Ну, перестань... не плачь... зачем, к чему так отчаиваться... Бог милостив... Да успокойся же, Настя, скажи: что случилось?

Но рыдания ее не прекращались. Все крепче охватывая его своими сильными руками, будто боясь, что он вырвется от нее и уйдет, она все отчаяннее, все мучительнее, из самой глубины души, повторяла:

— Прости меня, прости!..

Он не знал, что и подумать, на чем остановиться. Что она сделала?.. Что-нибудь ужасное, бесповоротное, какой-нибудь грех тяжкий, смертный?

Но еще миг, и он уже преодолел свое смущение, поборол испуг. К нему возвращалось то душевное спокойствие, при котором нет ничего страшного, так как все пересиливает твердая надежда на Бога.

И чем он становился спокойнее, тем яснее делались его мысли, его понимание. Еще несколько мгновений — и он уже видел, что тут не беда, не грех, а, наоборот, спасение. Он вдруг почувствовал, что именно теперь настал тот час, о котором так долго молил Бога, что именно теперь, в этот светлый день чудес Божией благодати, уходит и его горе, и его тяжесть готова упасть с плеч его.

Да, он все понял, и поток счастья озарил его; снова

радостный свет блеснул в его глазах, снова лицо засияло духовной красотою.

— Настя,— сказал он, счастливый,— встань!

Заслыша этот счастливый голос, она повиновалась. Он обнял ее, подвел к дивану и посадил на него, а сам сел рядом и взял её за руку. Перестав рыдать, она еще не сразу подняла на него глаза — ей было это трудно.

Наконец она подняла их, и взгляды их встретились. Она глядела теперь на это доброе, счастливое, озаренное внутренним светом лицо так, будто видела его в первый раз. Настасья Селиверстовна действительно видела его впервые: прежде она была равнодушна к этому лицу и никогда в него не вглядывалась, а теперь, в это последнее время, погруженная в свою внутреннюю борьбу, она хотя и глядела часто на мужа, но видела его совсем не таким, каким он был в действительности, а таким, каким он представлялся ее обманувшемуся воображению.

И женщина поразилась этой духовной красотою, этим светом.

— Так ты простил меня, простил! — боясь верить своему счастью, прошептала она.

Она спрятала голову на груди мужа и опять зарыдала. Но уже теперь в ее рыданиях не слышалось отчаяния и муки. Он крепко ее обнял, прижал к себе, и на глазах его показались слезы.

— Господи, благодарю тебя!..— произнес он, и в словах этих прозвучали такая глубокая благодарность, такая несокрушимость веры, такое истинное, действительное общение с Богом, что все это передалось и ей, и она будто не устами, а душою повторила слова его.

Она подняла голову, еще раз на него взглянула, и они заключили друг друга в объятия. В тишине комнаты прозвучал крепкий счастливый поцелуй. Это был первый истинно супружеский поцелуй в их жизни. Им они породнились, им они осуществили таинство брака. Прежней розни, отчужденности, тяжести, враждебности с ее стороны и грусти — с его не было, и не могло уже все это вернуться. Они сидели рядом, плечо к плечу, и держали друг друга за руки. И одинаковый свет сиял теперь в глазах отца Николая и жены его. Этого света никогда прежде не было в ее глазах.

— Голубчик ты мой,— шептала Настасья Селиверстовна,— ведь я не сейчас, я давно уже поняла свое окаянство перед тобою, поняла всю свою неправду... Только злоба во мне была велика да гордость... Ломала я себя, ло-

мала — и сломать не могла... А потом тяжко так стало, что ты меня не любишь...

Он улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и покачал головою.

— Как же это... откуда взяла ты, что я не люблю тебя?

— Да и любить-то не за что было! — воскликнула она, и минутная тень мелькнула по лицу ее.— Не за что меня любить было!.. И потом... ведь я видела, что я тебе чужая, что я тебе помеха. Вот это-то меня и изводило...

— А не видела ты,— тихо сказал он,— что от тебя только и зависело, чтобы ты стала мне не помехой, а помощницей, другом единственным, Богом данным? Не видела ты, что я многократно призывал тебя к этому? Не понимала, что ежечасно Бога молил я об этом нашем единении в крепости, любви и разуме? Никогда не видала и не чувствовала ты этого?

Она отрицательно покачала головою.

— Ну, а теперь-то, Настя, видишь ты это? Чувствуешь ли?

— Да, золотой мой, я теперь совсем как бы другая стала; ведь я была очень, очень несчастна — от этого и злоба во мне родилась, и в мыслях затмение. Вот теперь гляжу я на тебя — и ты мне совсем иным кажешься. Ведь я тебя, Николушка, прости ты меня, в слепоте своей да в гордыне как низко почитала! Называла тебя лицемером и так, так ведь про тебя и полагала.

Отец Николай задумался, как бы глядя в глубь души своей, и произнес:

— Нет, Настя, я грешный человек, но лицемерия во мне никогда не было.

— Да знаю я, знаю! — перебила она, порывисто и страстно поднося его руку к губам и целуя ее.— Знаю я... Теперь-то я все вижу, всю твою святость истинную, всю чистоту души твоей, твое терпение... Все мне теперь Господь открыл. Потому я и ждала тебя, молясь и плача, и боялась одного — как бы Бог не наказал меня за мое окаянство перед тобою, как бы мне не умереть, тебя не увидя, не упав перед тобою, не вымолив себе прощения...

Вдруг она остановилась, глаза ее погасли, лицо побледнело.

— А теперь-то как же? — растерянно спросила она.

— Что такое, Настя?

Но она не слышала слов его и внезапно сама себе громко ответила:

— Я уеду.

— Теперь-то?! — изумился он.— Зачем же тебе уезжать?

— Нет, мой золотой, я тебя недостойна, я тебе здесь мешаю. Что возмущало меня, сердце мне надрывало, гордыню во мне терзало, теперь ведь мне понятным сделалось. Я тебе здесь мешаю, какая я тебе жена! Ты хотя и считаешь себя грешным человеком, только все же перед моей греховностью ты святой — да таким тебя и все почитают,— какая же я тебе жена! Да тебе вовсе и женатым-то быть не дóлжно, ты живешь для Бога, для несчастных, для больных... Я тебе мешать не буду. Я...— голос ее дрогнул, и на глазах показались слезы,— я буду там, у себя дома, замаливать грехи... Кабы до моего приезда сюда мы расстались, мне бы это было не горе, а теперь это мне горе великое, но я его заслужила... Оно мне и будет наказанием...

Она делала над собою отчаянные усилия, чтобы подавить рыдания, которые так и просились из груди ее. Отец Николай взял обеими руками ее голову и крепко поцеловал.

— Нет, Настя,— сказал он,— оставь... все это не так. По милосердию Господнему теперь мы с тобою истинные муж и жена; Бог благословил нас на общую жизнь, и теперь, когда отверзлись очи твоей души, теперь ты не можешь быть мне помехой... Или забыла ты, Настя, что мы венчались в храме Божием, что над нами совершилось святое таинство? Или забыла ты, в чем мы обещались перед Богом?.. Мы только сами могли осквернить брак наш и превратить его из Божиего таинства в мерзость. Если же мы не хотим этого, если мы не унижаем себя, то нам не только не дóлжно, не только нельзя расходиться, но мы и не смеем этого... Да, Настя, вот тебе казалось, что я не люблю тебя, что я тебя чуждаюсь; теперь ты сама видишь, что не я был в том виновен. Не любить тебя я не мог — я всех люблю, но чуждаться тебя я был должен, ибо видел, что брак наш, по твоему ослеплению, из таинства превратился именно в ту мерзость, которая претила душе моей, которая есть греховна!.. Мало перед людьми быть мужем и женою, мало обвенчаться в церкви — надо сохранить в себе таинство, иначе же это тяжкий обман Бога и людей! Подумай, между нами не было никакой общности — ты не понимала меня, а я не понимал тебя. С твоей стороны стояла какая-то вражда ко мне, с моей — невозможность ее уничтожить, невозможность поднять тебя и привести в тот духовный мир, в котором я живу и вне которого не

могу существовать. Поэтому мы и не были мужем и женою перед Господом, и я — служитель алтаря, священник — я не мог оскверняться одной только животной похотью, которая для меня не иное что, как величайшая, омерзительная пагуба души... Но теперь, когда Господь просветил тебя, когда я вижу и чувствую, что ты пришла ко мне с пониманием, что входишь в тот Божий мир, где я живу, ты становишься моей подругой, Богом мне данной, моей истинной женою. Теперь между нами должна быть и та супружеская любовь, которая не есть грех, не унижение достоинства человека, а прямой закон Божий для каждого живого человека. Теперь, Настя, я тебе муж — и не стыдно мне ни перед Богом, ни перед собою быть им. Обними же меня, голубка, ныне ведь первый день нашего истинного брака! Прошлые годы забудь — пусть память о них не тревожит ни тебя, ни меня. Поклонимся Творцу и Жизнедавцу, благословляющему нас на общую жизнь, на общий труд и взаимную поддержку, на печали и радости, на все, что дано человеку. Возблагодарим Его за великое ниспосланное нам счастье!

Они вместе, в одном порыве, упали перед иконами, и души их слились в общей горячей молитве.

VIII

«Наш друг возвращается»,— сказал отец Николай Зинаиде. Захарьев-Овинов действительно возвращался, не теряя ни дня, ни минуты. «Он возвращается обновленным» — и это была правда. Да, полное обновление, полное возрождение началось в нем.

С каждым днем, несмотря на происходившую в нем временами мучительную борьбу, он чувствовал себя все лучше и свободнее. Ему казалось, будто над ним разрушилось великолепное колоссальное здание, которое он воздвигал в течение всей своей жизни и должен был носить на себе. Он высвободился из-под его обломков и мог уже оглянуться и увидеть, что такое он воздвигнул, что такое носил как величайшее сокровище, в чем полагал высочайший смысл и своей, и общей жизни.

И он видел развалины, состоящие из самых разнородных материалов: из чистого золота и никуда негодной глины, из благоуханного кипарисового дерева и распадающихся в прах гнилушек. Цементом, соединявшим весь этот разнородный материал и придававшим ему цельность, бы-

ла гордость. Ее не стало — и все обрушилось, и все приняло свой настоящий вид, вернуло себе свое истинное значение.

Хотя и видел великий розенкрейцер в этих развалинах золото и кипарис, но он видел также, что негодной глины и гнилушек было в них гораздо больше, чем золота и кипариса. А главное, не было в разрушенном здании того, что одно могло противиться и времени и человеческому произволу. Что это такое — великий розенкрейцер уже знал, но как и скоро ли найдет он этот единый, истинный цемент для постройки нового здания своей духовной жизни, ему еще не сразу стало ясно...

Однако ведь он никогда не был ни шарлатаном, ни обманывающим себя и других мечтателем. Огромные знания, поставившие его во главе братства розенкрейцеров, не были подобны жалкой фантасмагории тех некрепких умом и почти всегда невежественных искателей философского камня, алхимиков, кабалистов, магнетизеров, которых столько расплодилось в то время в Европе. Его знания весьма многих тайн природы, как уже известно, были истинными, глубокими, изумительными. Они были только не то великое «все», каким он почитал их в течение своей жизни, до самой смерти графини Зонненфельд.

Эти его знания и оказывались тем чистым золотом, тем душистым кипарисовым деревом, которые он видел в спавшей с его плеч и рассыпавшейся на свои составные части тяжести. Он не мог двинуться в дальнейший путь, не забрав с собою все это золото, весь этот кипарис; не мог, если бы даже ему вдруг показалось, что они не стоят того, чтобы брать их с собою: ведь человек, сохранивший свои способности и свою память, не может отказаться от того, что ему известно. И он знал то, что знал.

Не считая эти знания преступными, а только убедясь в их недостаточности и в том, что они не составляют высшего, главного блага жизни, он продолжал пользоваться ими. Он снова допытывал теперь свою судьбу, приподнимая покров будущего, творил ту сложную, таинственную работу, которой научили его долгая, блистательно пройденная школа мудрости, его тонкая, изощренная способность проникновения в суть вещей и, наконец, мудрые наставления Ганса фон Небельштейна, бывшего живым источником всех тайн древних познаний.

Результаты таинственной работы, которой отдавал теперь Захарьев-Овинов все свои свободные минуты, были достаточно ясны. Он прочел в своем будущем такие обеща-

ния, такое счастливое сочетание электромагнитных влияний, что имел все основания бестрепетно ждать грядущего. Он знал, что найдет все, чего ищет, и найдет все это там, на своей родине; что ему помогут во всем два близких для него существа — мужчина и женщина.

Он знал, кто они: это его брат Николай и Зина. Они оба неизбежно входили в судьбу его. И особенно, исключительно судьба эта была связана с женщиной, то есть с Зиной. Ведь он и прежде вглядывался в свою будущность, и прежде видел в ней неизбежный, тесно связанный с ним образ женщины. Но, несмотря на всю свою мудрость, он ошибся — принял эту женщину за покойную графиню Елену. Он стремился тогда к высшему духовному единению с этим жаждавшим света, томившимся и страдавшим существом — и погубил его в своем печальном ослеплении.

Но ведь тогда в своих отношениях к Елене он был другим человеком. Теперь в душе его все изменилось. Теперь перед ним стояло ощущение той минуты, когда он познал весь ужас одиночества. Он понимал уже и чувствовал, что всей душою любит Зину — не так, как любил умершую графиню, совсем не так, гораздо выше, гораздо чище, полнее, но все же любит как человек, не может отделить представления о чистой и прекрасной душе ее от представления о прелестной женщине.

Итак, опять материя, победителем которой он считал себя! Перед ним стояла мучительная, неразрешимая загадка. Ему предстояла снова борьба, но перед этой новой борьбою все прежние были — ничто. Он выходил на бой с самим собою — с мудрецом, достигшим высших пределов человеческого знания, исполненным понятиями и взглядами, накопленными со времен глубокой древности в тайных святилищах, куда собирались высшие представители высшего звания.

Во всех этих святилищах мудрецы Древней Индии, Египта, Греции, а затем их верные ученики, скрывавшиеся по монастырям и замкам средневековой Европы и передавшие все свои накопленные тысячелетиями сокровища в развалины Небельштейна,— все они знали и провозглашали великую, непреложную, по их глубокому убеждению, истину. Истина эта гласила:

«Всякий, кто желает достигнуть высших познаний и приобрести несокрушимую власть над природой, должен быть одинок. Никакая земная страсть, никакая привязанность не должны смущать его душу. Он должен всегда нахо-

диться в полном обладании всеми своими духовными и телесными силами, не тратить, а постоянно множить запас их. Если же он соединится с другим существом, то выйдет немедленно из состояния гармонии, и неизбежным следствием этого явится ослабление как духовного, так и физического его организма. Человек, соединивший свою судьбу с судьбою женщины, полюбивший эту женщину и сделавший ее своей женой, как бы велики ни были его знания, потеряет всю свою власть над природой. Из ее властелина он превратится в ее раба. И горе такому человеку, ибо он уже вкусил от плодов знания. Он будет вечно томиться муками Тантала и безнадежно оплакивать свое ужасное падение».

Вот что стояло в основе всего, вот что приходилось преодолевать великому розенкрейцеру. И он все ближе к тому, чтобы принять в свой духовный мир живое существо, соединиться с ним и отказаться этим самым от всей своей силы, от всей своей власти. Какое страшное падение!..

Но ведь на высоте могущества так ужасно, так невыносимо холодно, что он задыхается от этого холода! А там, в глубине падения, в объятиях этой любимой души — там тепло, отрадно, там, может быть, истинное счастье!

Или все это один только манящий, обманчивый призрак, или это и есть именно тот величайший соблазн, над которым надо восторжествовать?.. Он уже восторжествовал над подобным соблазном однажды, но торжество это принесло только смерть, только муки, томление возмущенной совести, всевозрастающий ужас невыносимого холода... О, природа еще не сдалась, она только казалась побежденной, она переменила только оружие. Вот она, эта знаменитая цепь из роз! Вон они, эти погибельные, дивно благоухающие, манящие розы!

Нет, там нечем дышать; надо жить, а вне счастья жизнь невозможна. Одно ясно и верно: все, в чем он до сих пор видел высшее счастье, не только не может дать никакого счастья, но несет с собою смертный холод. Все прошлое, несмотря на замечательные, чудные результаты знаний,— обман, все это одна только гордость. А потому прежде всего надо покончить с этим.

Мы видели, как великий розенкрейцер покончил с прошлым, признав недостаточность знаний, уничтожив братство, высказав на знаменитом собрании все, что было у него на душе. Он этим самым одержал первую значительную победу над собою, над своей гордостью. Это был первый шаг, самый трудный. И после этого шага он оказался

уже близок к тому, что должно было стать или его окончательной, величайшей победой над природой, или его полным падением.

Итак, великий розенкрейцер возвращался теперь в Россию, и каждый день, приближавший его к родному дому, к тем людям, которые, как он знал, должны сыграть решающую роль в его жизни, приближал его и к этой победе или поражению. И в то же время на душе у него становилось все легче. В течение всей своей жизни холодный, равнодушный ко всему и ко всем, безразлично относившийся к людям и к местам, теперь он испытывал новое, незнакомое ранее ощущение: при въезде в Россию, он почувствовал, как сердце его радостно забилось.

Он наконец на родине! А ведь до сих пор он не признавал никакой родины и вообще ничего такого, что имело отношение к чему-либо земному. Ему легко было бы победить в себе эту радость как нечто недостойное, но он не сделал этого.

Когда он, приехав в Петербург, подъезжал к отцовскому дому, глаза его светились, на бледных щеках вспыхивал румянец, сердце учащенно билось и замирало. И он радовался, что оно бьется и замирает. И уж не думал о том, что это непроизводительная затрата жизненной силы.

«Безумец, что же ты сделал с долгими годами упорного труда, борьбы и всевозраставших чудесных знаний? Жалкий безумец! Ведь ты легкомысленно влечешь себя на вечную погибель!» — вдруг расслышал он внутри себя негодующий голос.

Это был голос прежнего холодного и гордого человека, голос великого розенкрейцера, мудрейшего из людей, светоносного победителя природы. Захарьев-Овинов вздрогнул, но сердце забилось еще сильнее...

Из отворившихся перед ним дверей отцовского дома на него пахнуло вдруг теплом, и он властно приказал негодующему голосу: «Молчи!»

IX

— Добро пожаловать, ваше сиятельство! — с низкими поклонами говорил дворецкий, провожая Захарьева-Овинова в его комнаты.

Чудной и суровый княжич, которого все в доме отчегото страшились и чуждались, отвечал на это приветствие так весело и ласково, что старый дворецкий совсем расте-

рялся. Он взглянул на князя и почти не узнал его — так велика была происшедшая в нем перемена.

«Что за чудеса,— подумал старик,— тот да не тот! И лицо словно другое... Кто это видал — ведь улыбнулся он; кабы таким вот и остался... А то ведь, если как «тогда», то как жить-то нам будет? И подумать страшно!..»

Захарьев-Овинов спешно снимал с себя дорожное платье, не дожидаясь прислуживавшего ему человека. В сразу охватившем его довольстве, так ему непривычном, он был очень рассеян. Он уловил мысль дворецкого и, не сообразив, что тот ничего не сказал, а только подумал, весело ему ответил:

— Надо, чтоб и «тогда» и теперь всем жилось как можно лучше: об этом, старина, я позабочусь.

Старик вытаращил глаза, разинул рот да так и остался, не в силах будучи произнести ни звука.

«Батюшки мои! Да что же это?.. Насквозь он, что ли, видит, что на мысли твои тебе отвечает!.. Или это я, старый дурак, из ума выживать стал и мысли свои, сам того не примечая, вслух выговариваю?»

Он остановился на этом последнем предположении и начал сконфуженно и низко кланяться.

— Не обессудьте, ваше сиятельство, за дурость мою холопскую,— робко говорил он,— сызмальства я на службе барской, и вашей княжеской милости, видит Бог, по гроб жизни служить буду верой и правдой, как служу родителю вашему...

Не в силах сладить со своим смущением, он заторопился.

— Что же это они, людишки негодные, где это все запропастились?! Князь приехал, а их нет никого!.. Побегу...

И он действительно, несмотря на свои годы и толстые, уже ослабевшие от шестидесятилетней барской службы ноги, побежал, спасаясь этим бегством.

Захарьев-Овинов улыбнулся ему вслед. Но улыбка его сейчас же исчезла, он подошел к умывальнику, вытер себе наскоро лицо и руки мокрым полотенцем, вынул из шкапа домашний свой кафтан, поспешно надел его и пошел наверх, к отцу.

Сердце его опять забилось и замерло у отцовской двери. Он увидел старого князя таким же точно, каким оставил его, уезжая. Старик, уже извещенный о приезде Юрия, но никак не думавший, что тот сейчас, в первую же минуту войдет к нему, слабо вскрикнул и протянул к сыну руки.

Они обнялись, и это было долгое, крепкое объятие, какого никогда не бывало у них прежде. Им обоим вдруг стало тепло и отрадно.

— Юрий, друг ты мой, спасибо тебе, что вернулся... Не ждал я тебя так скоро...— прошептал старый князь, прижимая к себе сына слабыми руками.

— Ведь я обещал, батюшка, поторопиться... Вы говорите — скоро, а вот мне кажется, что я слишком долго был в отсутствии.

— Ну, как... как съездил? Все ли благополучно? — спрашивал старик, пока Захарьев-Овинов придвигал себе стул и садился рядом с отцовским креслом.

— Съездил я хорошо, и все благополучно... А вот как вы, батюшка?

Старый князь не сразу ответил — он пристально всматривался в сына, будто видел его в первый раз. Все, о чем он часто говорил с отцом Николаем и что священник всегда обещал ему, исполнилось. Это не прежний Юрий! Это не тот неведомый, таинственный, страшный и холодный человек, который жил в его доме, занимался его делами, которому он передал свое имя и завещал свое состояние. Это сын! Родной его сын!.. Какое у него новое, прекрасное и доброе лицо, как он глядит!.. О чем он думает?

— Я думаю, батюшка, о том, что будто я в первый раз здесь, с вами, что будто я в первый раз с вами встретился и не видал вас с самых лет детства — такое у меня ощущение! — сказал Захарьев-Овинов.

Ответил ли он на мысль отца, которую разглядел, или это само так сказалось? Во всяком случае, старый князь, пребывавший в великой радости, не заметил этого совпадения своего мысленного вопроса с его словами.

— Да,— продолжал Юрий,— мне кажется, что я в первый раз возле вас, в этой комнате... Батюшка!..

Он не договорил и прильнул губами к холодной руке старика, лежавшей на ручке кресла. И снова ему стало тепло, да и дрогнувшая под его поцелуем старческая рука потеплела. Он начал расспрашивать отца обо всем, что происходило во время его отсутствия, не пропускал ни одной мелочи, которою мог интересоваться больной князь, и сам, по-видимому, интересовался всем этим.

В нем совсем уж не было всегдашнего отношения свысока ко всему, чувствовавшегося пренебрежения к тем вопросам, которые не имели связи с никому не ведомыми, таинственными предметами, составлявшими содержание его жизни. С холодной и пустынной своей высоты он

спустился на землю, но ничего не потерял от этого — ему только и самому стало теплее и в то же время теплом веяло от него на старого отца.

Они больше двух часов беседовали вдвоем, и ни тот ни другой не испытывали и тени прежней неловкости, которая неизбежно всегда появлялась, когда им долго приходилось оставаться вместе. В эти два часа они больше сблизились и сроднились, чем за все время их жизни до этого дня. Старый князь открывал сыну свою душу, передавал ему с живостью, свойственной старикам, когда они вспоминают давно пережитое, многие обстоятельства своей жизни. И сын слушал эту исповедь с всевозраставшим интересом. Эти события, рассказы из жизни, совсем ему прежде неизвестной, уже не казались ему недостойными внимания, мелочными и даже презренными, как это было прежде. Теперь он признавал и чувствовал, что на свете не он один, что его жизнь — не все, что рядом с нею существуют и другие жизни, имеющие такое же точно значение и право на внимание, как и его собственная.

— Батюшка,— сказал он,— я хорошо понимаю, что вы испытали много всякого горя, что в последние годы, лишась семьи, вы очень страдали... но скажите мне, бывали ли вы когда-нибудь счастливы? Подумайте хорошенько, бывали ли так счастливы, чтобы ничего не желать более?

Старик понурил голову, мысленно переносясь в прошлое.

— Да, Юрий,— твердо ответил он,— нечего Бога гневить... Бывал я и счастлив на своем веку — так счастлив, что вот теперь, как только вспомнил я те краткие часы, у меня так и просветлело на душе...

— Что же бывало причиной такого счастья: страстная любовь, почести, удовлетворение каких-либо прихотей?

Старый князь покачал головою и слабо улыбнулся.

— Нет, друг мой, не то, совсем не то. Я вот давно уж, со времени болезни моей, и днем, и в ночи бессонные все думаю да думаю, всю свою жизнь заново переживаю. Так я в этих думах моих многое такое разобрал, чего прежде-то и не понимал совсем, о чем прежде-то вовсе и не думалось. И вижу я, на себе вижу, что счастье не в том, в чем полагают его люди. Мое счастье, за которое благодарю теперь Создателя, всегда приходило ко мне тогда, когда другие бывали довольны и когда это их довольство от меня происходило. Говорю — не понимал я тогда этого и не ценил, и сам лишил этим себя ох как многого!..

«Разными словами, а и он, и Калиостро говорят одно и то же!» — подумал Захарьев-Овинов.

Между тем он видел, что оживленный долгий разговор все более и более ослаблял отца.

— Вы утомлены, батюшка,— ласково сказал он.

— И радость утомляет,— прошептал старый князь,— заснуть бы теперь, да сон мой плох... или не приходит!

— Авось придет! — и с этими словами Захарьев-Овинов осторожно приподнял отца с кресла, подвел его к кровати и уложил. Он положил отцу руку на голову — и в то же мгновение старик спокойно заснул. Тогда великий розенкрейцер бережно, будто опытная сиделка, поправил подушку, тихонько прикрыл ноги спавшего теплым одеялом и вышел из комнаты. Воспоминание о том, как он производил на этом самом месте свой ужасный опыт над умиравшим, невыносимо страдавшим человеком, не пришло ему в голову. Но если бы оно вдруг пришло, он показался бы себе отвратительным.

X

Выйдя из спальни старого князя, он почувствовал настоятельную потребность как можно скорее увидеться с тем человеком, который уже начал играть такую значительную роль в его жизни, то есть с отцом Николаем. Да, он должен был видеть брата как можно скорее, войти с ним в соприкосновение и еще более согреться и успокоиться от этого дружеского, сердечного общения.

Он чувствовал, что горячо и нежно любит теперь этого товарища своего детства, брата, о котором еще не очень давно вовсе и не думал, которого забывал совсем в течение долгих лет своей жизни. Он не называл еще нежной братской любовью чувство, влекшее его теперь к отцу Николаю, но тем не менее именно это чувство наполняло его.

На мгновение он остановился, сосредоточиваясь, вызывая в себе те изощренные долгим трудом и опытом способности, которые без помощи внешних действий, необходимых для каждого человека, не обладавшего его знаниями и необычайной высотою развития духовных сил, давали ему возможность узнавать многое из того, что он хотел узнать. Способности эти лучше всякого посланца показали ему, что отец Николай дома, ждет его и что теперь именно самый благоприятный час для их встречи.

Закрыв глаза, он ясно, как бы в зеркале, увидел свя-

щенника, сидевшего в своей комнате у окна с молитвенником в руках и о чем-то очень горячо говорившего с каким-то существом, бывшим возле него. Но существа этого великий розенкрейцер не видел, так как о нем не думал. Ему было только понятно, что брат ждет его и никто и ничто не помешает их встрече.

Итак, великий розенкрейцер, несмотря на все свое отречение от прошлого, на всю борьбу, кипевшую в душе его, на все предостережения негодующего внутреннего голоса, твердившего ему, что он падает и слабеет, все же сохранил в полной неприкосновенности все свои силы, способности и знания. Значит, падения еще не было; значит, он еще ничем не нарушил тех основных законов, на которых утверждено было высокое его положение в сфере премудрости и власти над природой.

И ему не пришло в голову — ибо и величайшая человеческая мудрость способна иногда не догадываться о самых простых и ясных вещах,— ему не пришло в голову, что великие учителя его, пожалуй, и ошибаются в самом существенном. По их убеждению, человек для сохранения всех своих тайных сил и способностей должен быть одинок и свободен, должен никого не любить, ни в ком не нуждаться. А вон он нуждается в брате! Его сердце вмещает в себе именно ту опасную, погибельную нежность, то стремление к другим существам, именно все то, что должно его ослабить. И между тем он обладает по-прежнему всем своим сокровищем, добытым работой и усилиями всей жизни, он так же ясно, почти без всякого ощущаемого напряжения воли, видит на расстоянии, или, по выражению адептов тайных наук, «читает в астральном свете».

Он поспешно зашел к себе, накинул на плечи теплый плащ, надел шляпу и, пройдя черным ходом — при этом встречавшаяся с ним прислуга почтительно, робко и недоуменно ему кланялась,— вышел в сени и постучался у двери в помещение отца Николая.

Ему отворила Настасья Селиверстовна.

Он, конечно, знал об ее существовании, знал даже, что перед его последним отъездом в Нюрнберг она приехала и находится под одной с ним кровлей. Но тогда он был еще далеко не в том состоянии, в каком находился теперь, еще не сошел со своей холодной высоты и с бессознательным презрением относился к людям. Тогда он даже и не поинтересовался взглянуть на жену такого близкого ему человека, каким был отец Николай. Тот же никогда прямо не говорил с ним о жене.

Потом, уже во время своего путешествия, и в особенности подъезжая к Петербургу, Захарьев-Овинов, думая о брате, остановился мыслью и на жене его. Ему нетрудно было ясно себе представить по двум-трем намекам, сохранившимся у него в памяти из разговоров с отцом Николаем, всю неудачность этого брака.

Но вот теперь, при первом же взгляде на Настасью Селиверстовну, он изумился: она оказывалась совсем не такой, какою он себе ее представил. Он прочел в ее красивом и смущенном лице нечто такое, что так сразу и повлекло его к ней. И в то же время ему, может быть, в первый раз в жизни, стало за себя совестно, за свое пренебрежение.

Отец Николай, быстро закрыв и положив на стол свой молитвенник, поднялся к нему навстречу, широко раскрывая объятия.

— Здравствуй, гость желанный, здравствуй, дорогой наш путешественник! — радостно воскликнул священник.

— Здравствуй, брат мой милый! — еще радостнее отвечал ему Захарьев-Овинов, обнимая его.— Благослови меня,— вдруг прибавил он, неожиданно для самого себя.

Чудным светом блеснули глаза отца Николая, когда он поднял руку для крестного знамения, благословляя этого дорогого, близкого его душе человека, который до сих пор ни разу не просил о благословении.

Затем Захарьев-Овинов, еще раз крепко обняв отца Николая, подошел к Настасье Селиверстовне с такой хорошей улыбкой, что она от нее вся так и просияла.

— Давно бы пора мне с вами познакомиться,— сказал он, крепко пожимая ее руку.— Прошу любить да жаловать, ведь мы не чужие.

Настасья Селиверстовна совсем растерялась: и неожиданность-то была велика, и страшновато ей стало, да и князь этот, который теперь говорит ей, что они не чужие, всегда представлялся ей не только чужим, но даже и совсем сказочным, недоступным. А вот он перед нею, жмет ей руку и так хорошо улыбается, и говорит так просто и ласково, по-родственному. Чудной он какой-то и совсем, совсем не такой, каким она себе его представляла.

— Ваше сиятельство,— растерянно шептала она, борясь с невольной своей робостью, с деревенской своей простотою и в то же время отдаваясь чувству, которое вдруг повлекло ее к этому важному барину.— Ваше сиятельство... ах, да что же это такое? Неужто это вы?.. Как же это вы... такой...

Он любовался ее смущением, но быстро уничтожил его крепким пожатием своей руки:

— Какой же я такой, матушка? — весело спросил он.

Она уже стала совсем сама собою, смущение и робость ее прошли, осталась одна радость, одно влечение к этому человеку.

— Простой, добрый да ласковый, хороший! — говорила она.— А красавец-то вы какой, князенька, молодой какой — чудо, право!..

Захарьев-Овинов звонко засмеялся и даже не заметил своего смеха, не услышал его. А между тем это был первый смех, первый веселый смех в его жизни после детства.

Рука отца Николая легла на его плечо.

— Вот и хорошо, князь мой, вот все и ладно,— с таким же веселым смехом воскликнул священник.— Совсем по нраву пришелся ты моей Насте. А я-то думал: перепугается она, страшным ты ей покажешься!.. Да и показался бы страшным,— прибавил он, понижая голос и переставая смеяться,— если бы встретился с нею пораньше. Большая в тебе, мой князь, перемена, и перемена эта, по милости Божией, к лучшему. Так ли?

— Так, брат мой, так,— отвечал, тоже посерьезнев, Захарьев-Овинов.

— Много перемен, много милосердия Божиего надо всеми нами,— сказал отец Николай.— Вот ты и у нас, князь, застаешь праздник, большой праздник! Давно мы с Настей повенчались, а были друг дружке совсем чужими, и было то большим для нас горем. Теперь же вторично соединены мы с нею самим Богом, мир и любовь между нами... и радость великая.

Слова эти объяснили Захарьеву-Овинову все. Теперь он понял, почему представлял себе жену брата совсем другою: она и была до сих пор «другая».

— А ведь я так и знал, что ты нынче к нам будешь. Сердце сказало! Спроси вот Настю.

— Да, да,— тут же подтвердила Настасья Селиверстовна,— как проснулся, так и говорит мне: думается, говорит, ныне я моего князя увижу. Так и сказал. Ох, князенька... да кабы вы знали...— Она не договорила.

— Знаю,— перебил ее Захарьев-Овинов,— знаю, что многое ему доступно.

Отец Николай взглянул на жену, и она поняла взгляд его.

— Пойду-ка я,— сказала она,— навещу тут больную женщину, не замешкаюсь...

Минуты через две Захарьев-Овинов остался наедине с братом.

XI

Отец Николай взглянул на великого розенкрейцера с такой непривычной, редко посещавшей его грустью, что тот почувствовал смущение и даже трепет. Он не мог не понять ясного смысла этого взгляда. Глаза брата говорили ему: «У тебя легко на душе, ты смеялся, а между тем не пришло еще для тебя время радости и смеха, ты должен плакать!»

— Брат,— сказал Захарьев-Овинов,— с самых дней нашего общего с тобою детства я не знал, что такое радость и что такое горе. Слыша людской смех, видя людские слезы, я считал то и другое признаком слабости. Но всюду, где жизнь — там и смех, и слезы. Пока я не был способен ни смеяться, ни плакать — я не жил. Мое существование было очень мрачно и холодно, хотя я и не понимал этого. Когда понял — я стал задыхаться, стал просить той жизни, которую потерял. Понемногу она ко мне возвращается; кажется, я уже способен теперь смеяться — значит, могу и плакать... Я вот пришел к тебе... У тебя хорошо, светло и весело. Я увидел твою жену. Прежде я никогда не видел людей, с которыми встречался,— теперь я их вижу. Ну, вот: я понравился твоей жене, а она понравилась мне, хотя мы с нею совсем различные люди и далеко, далеко находимся друг от друга. Далеко и близко. Я не думал, что это может быть, и увидел, что это есть. И я возрадовался этому. У меня на душе стало хорошо и весело, но ведь это — минутное, и вот я уж не могу удержать такого состояния моей души... Я пришел к тебе не потому, что мне хорошо, а потому, что мне плохо. Я ищу твоей помощи, и мне надо открыть тебе мою душу.

Отец Николай сел рядом с ним, взял его руку обеими руками и не выпускал ее.

— Помнишь наши беседы? — заговорил он.— Ведь я уже не раз повторял тебе, что ты несчастный. Теперь, князь мой, ты сам это видишь. Слава Богу — ты видишь это!.. У тебя великий разум, великая ученость и мудрость; я же — простой, малоученый человек; но говори, говори мне все без утайки. Пусть слова твои будут настоящей

исповедью... Бог поможет мне уразуметь, сердцем почувствовать то, что недоступно моему пониманию.

Тогда началась исповедь Захарьева-Овинова. Он ничего не скрыл от священника и брата. Он увлек его за собою в самую глубину своей души, куда не допускал никого. Он чувствовал всевозраставшее удовлетворение, по мере того как вводил брата в эти тайники души своей. Его гордость молчала. Он охотно признавался в своей слабости, в необходимости для себя поддержки, совета, разъяснений.

Отец Николай понимал все. Мало того, ничто в братней исповеди не было для него новым и неожиданным. Он уже давно знал и чувствовал, что брат его был «волхвом», человеком, владевшим тайными знаниями, достигнутыми без Божией помощи, и полагал в этом величайшее несчастье для брата, почитая этого дорогого, любимого брата большим грешником.

Давно, уже давно молился он о том, чтобы Бог простил этого грешника, помиловал и просветил. Он уже знал, что пришло время благоприятное. Братняя исповедь показала ему, однако, что хотя уже началось великое обновление души человеческой, хотя уже гордость поколеблена, но сознания греховности еще нет, нет еще смирения, нет еще стремления к Богу и поклонения Ему. Душа еще не очищена искренним, глубоким раскаянием, еще не омыта спасительными слезами.

Захарьев-Овинов остановился, думая, что сказал все, и пристально своими горящими, будто мечущими искры, глазами глядел в спокойные, тихие глаза брата. Да, он чувствовал большое удовлетворение, высказав ему все, приняв этого близкого, полного какой-то особенной благодатной силы человека в свой духовный мир, открыв ему все тайники души своей. Но в то же время он чувствовал и глухую боль, ноющую тоску, которая так и давила теперь его сердце.

— Куда же ты поведешь меня? — спросил он грустно.

Отец Николай внезапно оживился, встал и быстрым, нервным шагом стал ходить по комнате.

— Тебе один путь,— вдохновенным шепотом начал он, все возвышая и возвышая голос,— один только путь — к Богу!

— К Богу?! — почти простонал от внезапно прорвавшейся сердечной муки Захарьев-Овинов, и в стоне этом прозвучало не то восклицание, не то вопрос.

— Ты не знаешь этого пути! — подходя к нему и весь сияя каким-то особенным светом, ясно видимым Захарьеву-

Овинову, воскликнул священник.— Я не могу указать тебе его, пока ты сам его не узришь, а узреть его ты можешь лишь тогда, когда почувствуешь всю свою греховность, почувствуешь, что тебе нельзя ни часу, ни малой минуты оставаться в этой греховности. Да, брат мой, ты великий грешник — пойми же это!.. Пади ниц, плачь, рыдай, моли себе пощады!.. Будем вместе молить о ней Бога!

— В чем же грех мой? — мрачно спросил великий розенкрейцер, весь содрогаясь и чувствуя в словах священника великую, мучительную правду.

— Твой грех? Он в том, что ты до самого последнего времени жил, никого не любя, служа злу, так как там, где нет любви,— одно только царство зла, а где зло — там преступление, там грех и ужас. Тем, что ты никого не любил, ты уже совершал ежечасно тяжкое преступление и губил свою душу. Но за тобой еще один великий грех... Неужели забыл ты его? А ведь от твоего этого греха возмутилась вся природа, возмутилась сама смерть... и выслала к тебе твою жертву! Ведь не ты один, но и я ее видел, эту бедную жертву,— с того света пришла она к тебе и назвала тебя убийцей!

Будто страшный удар грома разразился над головой Захарьева-Овинова, будто в самую душу его ударила молния. От огромного потрясения колени его подкосились, и он упал на пол, закрывая лицо руками. Он все понял.

— И я думал, что для меня возможно счастье!..— прошептал он.

Но могучий, глубоко убежденный голос священника уже звучал над ним:

— Для тебя возможно еще счастье, ибо бесконечно Божие милосердие! Поверь в него! Почувствуй Его, и тогда ты спасен. Ведь Он сотворил и тебя, и всех, и все! Ведь Он истинный Отец, пойми — Отец! Ты мог постигнуть все чудеса Его творения, но Его не мог ты постигнуть разумом — и низринулся в безумие, ибо разве не безумие признавать творение без Творца, следствие без причины?! Плачь, рыдай, молись, забудь твою мудрость! Зови в себя любовь, зови ее немолчно, неустанно, и она придет на зов твой... Она войдет в твою душу — и тогда ты будешь спасен, ибо кем бы ты ни был — ты ничто, ничто без нее! Ты несчастнейший, преступнейший из смертных, пока нет любви в тебе... Плачь и молись!

Его голос сорвался. Он сам упал на колени рядом с братом и, охватив его крепко рукою, прижавшись головой к

его голове, будто стараясь с ним слиться, войти в него, воскликнул, обливаясь слезами:

— Господи, помилуй! Господи, спаси нас!!!

XII

Когда Захарьев-Овинов простился с отцом Николаем, внушившим ему твердую надежду на спасение и уничтожившим безнадежное отчаяние, которое было охватило его душу, он не пошел к себе. Он машинально прошел большой двор, вышел из ворот и направился по улице.

Он не замечал дороги, не видел встречных. Ему попалась возвращавшаяся домой Настасья Селиверстовна. Она уже было кинулась к нему с радостной улыбкой, но взгляд на его лицо ясно сказал ей, что он ни ее, да и никого не видит. Она отшатнулась, не посмела его окликнуть — и он прошел мимо.

Он бродил до самого вечера по улицам, а затем пришел и заперся в своих комнатах. Никто так и не видел его весь день: двери были на запоре, а прислуга не посмела стучаться. Приготовленный ему обед остался нетронутым. Наконец, дворецкий решил, что, верно, князь обедал где-нибудь у знакомых, и распорядился, чтобы убирали со стола.

Но князь нигде не обедал. Он ничего не ел весь день и даже не помнил, что существует пища, что человеку необходимо питаться. Ему не в новость были дни, проведенные в полном воздержании от пищи. Наконец, если бы голод напомнил ему о себе, у него был запас таинственного подкрепляющего силы человека вещества, которым щедро снабдил его Ганс фон Небельштейн...

До потребностей ли тела было теперь великому розенкрейцеру, когда в душе его кипела необычная, решающая всю дальнейшую судьбу его, деятельность. Беседа с отцом Николаем, все, что он пережил и перечувствовал во время этой беседы, внезапное просветление, осознание своей преступности, прорвавшиеся рыдания и слезы, общая молитва с братом, принесшая ему совсем новые, неизъяснимые ощущения,— все это было для него подобно кризису тяжкой болезни, после которого начинается медленное выздоровление...

Да, выздоровление начиналось. Жизнь, со своим светом, со своим теплом, приходила мало-помалу. Но слабость была велика, страданий оставалось еще очень много. Великий розенкрейцер уже не мог теперь, раз признав и увидя

глубину своего нравственного падения, снова закрыть глаза и уйти в свой прежний мир. Теперь уже никакие доводы рассудка, ничто из его прежних знаний не способно было убедить его в том, что смерть несчастной Елены Зонненфельд была не делом его рук, не делом его преступной воли, а естественным событием, совершившимся по непреложным законам, управляющим природой. Он *виноват* в этой смерти.

Если бы такое убеждение явилось как довод рассудка, тот же самый рассудок мог бы представить, пожалуй, иные доводы. Но раз человек почувствовал свою виновность, раз голос сердца и совести сказал ему о ней, тут уже некуда было деваться, тут уже не могло быть ошибки — совесть не обманывает. Страшно, тоскливо становилось на душе великого розенкрейцера, и в миг один он, всю жизнь считавший себя выше других людей, сделался в своих собственных глазах ничтожным, жалким существом. Всю жизнь чувствуя в себе необычайную мощь и силу, он ощущал себя теперь слабым, беспомощным, неспособным подняться без высшей помощи.

Его душа давно уже готовилась к тому, что совершалось теперь в ней, но все же борьба была жестокая: весь прежний мир, со всеми обольщениями гордости, власти и силы, заявлял свои права и не хотел сдаться. Новый мир мог противопоставить ему только одно оружие, но оружие это, однако, было непреоборимым, и оно вырастало с каждой минутой в душе великого розенкрейцера. Это оружие было — любовь. Да, происходил таинственный процесс возрождения души человеческой. Цветок любви, истинной, горячей любви, пробился наконец сквозь холодную почву. Он быстро рос, распускался. Дивная красота его выделяла уже из себя сладкое благоухание.

Великий розенкрейцер еще не пришел к Богу, уста его еще не произнесли имени Отца, но распускающийся благоуханный цветок уже вел его по Божьему пути. Он уже верил в возможность спасения, в возможность уничтожения всего зла, содеянного им. «Отдай всю жизнь любви и добру!» — таковы были последние слова, которыми напутствовал его отец Николай. И эти слова звучали теперь над ним, и, когда они звучали,— замирала его тоска, стихали его муки...

Поздно вечером услышал он стук у своей двери. Это был отец Николай, принесший с собою новую силу, новое утешение.

— Не смущайся,— говорил он ему,— начинай новую

жизнь, и тяжкий грех твой станет твоим спасением. Многие, многие спасались грехом и нареклись сынами Божиими. Я пришел к тебе, брат мой, чтобы сказать нечто весьма для тебя важное. Ты просил у меня совета, и вот тебе совет мой: если хочешь быстрого и полного исцеления души своей, если хочешь, чтобы жизнь твоя была полна счастьем, любовью и благом, не оставайся один. Много и долго я о тебе думал и вижу, что тебе никак нельзя быть одному. Соедини судьбу свою с другою судьбою, твою душу с другой душою. В таком благом единении ты найдешь спасение свое.

Захарьев-Овинов вздрогнул.

— Дозволь мне,— между тем продолжал отец Николай,— дозволь благословить тебя на честный брак с Зинаидой Сергеевной.

— Николай, возможно ли это?! — растерянно прошептал Захарьев-Овинов.

— Возможно и должно. Честная жизнь с доброй женою, которая будет тебе верной помощницей, которая уврачует все твои недуги,— вот что тебе надо. А лучшей жены, чем эта духовная дочь моя, не найти тебе. Сам Бог ее посылает. Душа ее чиста, и чистота этой юной души очистит и твою душу.

— А я? — нахмурясь, произнес Захарьев-Овинов.— А я своим мраком и преступлением, я разве не загрязню ее душу?

— Нет,— с глубоким убеждением воскликнул отец Николай,— нет, вы будете только в помощь друг другу. Ты из прекрасного, чистого ребенка сделаешь угодную Богу жену — как бы сказать тебе... словами вот я не умею выразить, ну, да вот: вы пополните друг друга, вы будете воедино...

— Но разве она?..— не договорил Захарьев-Овинов.

— Тебе нечего спрашивать, ты так же хорошо, как и я, знаешь, что она ждет тебя. Не иди против судьбы, ее посылает тебе Бог! Гляди на этот брак высоко и чисто, приступи к нему со страхом Божиим и не отказывайся.

Несколько мгновений длилось молчание. Наконец Захарьев-Овинов поднял глаза свои на отца Николая и сказал:

— Брат, но ведь и твоя вера говорит тебе, что безбрачие выше брака!

— Как для кого,— ответил священник.— Для тебя такой брак — спасение... и брак истинный — великое таинство. Люби ее, посылаемую тебе Богом подругу, через

нее ты полюбишь весь мир, через нее узришь все заблуждения человеческой гордости.

— Да, такова судьба моя,— прошептал великий розенкрейцер,— и вряд ли я пойду против нее...

XIII

Проходят часы, ночь сменяется бледным утром, а великий розенкрейцер не раздевался и не ложился. Сон ни на минуту не сомкнул его глаз, и с тех пор, как вышел от него отец Николай, он не тронулся с места.

Он сидит неподвижно перед своим рабочим столом. Свечи давно догорели, но он не замечает этого. С каждой минутой ночные тени все бледнеют. Широкие полосы света, врываясь из-под спущенных занавесей окон, уничтожают мрак тихой комнаты. Все резче, яснее обозначаются предметы...

Наступил день.

Сквозь едва заметный просвет в тяжелой драпировке прорвалась струйка солнечного луча — и все озарилось ликующим, теплым светом. День проник и в эту немую, будто застывшую, будто мертвую обитель.

По-прежнему чувствуется здесь все пропитавший странный, душистый и крепкий запах. По-прежнему на полках книжного шкапа стоят старинные книги, в ящиках бюро лежат исчерченные непонятными письменами, знаками и символами рукописи. По-прежнему на столе таинственная шкатулка, заключающая в себе непонятные для непосвященного предметы,— крепчайшие эссенции, кусочки темного вещества, способного заменить пищу для человека.

Одним словом, здесь по-прежнему собрано все то, что добыто тайной деятельностью, тайными знаниями естествоиспытателей-розенкрейцеров, все, что неведомо пока еще, но когда-нибудь сделается общим достоянием человечества, неизбежно идущего вперед по пути познания природы.

Да, все здесь, как было, и в то же время все это потеряло смысл для жильца этой тихой комнаты. Здесь в недавнее еще время в часы тихой ночи и раннего утра он бывал погружен в свои таинственные работы, производил иной раз изумительные опыты с теми предметами, с теми веществами, которые заключены в таинственной шкатулке. Теперь же, если бы он даже и вспомнил, что может снова отдаться прежней работе, что может снова производить

свои опыты, он махнул бы на все это рукой, как на детскую забаву. Но он даже и не помнит обо всем этом.

Эта ночь, это утро — последняя ночь, последнее утро его внутренней борьбы. Две силы борются в нем: одна сила — холод и мрак, другая — тепло и свет. И как день, ворвавшийся в комнату сквозь все препятствия, победил и уничтожил ночные тени, так же и в нем свет и тепло, одолев все препятствия, гонят мрак и холод...

«Нет жизни без счастья! — все громче и громче повторяется в его мыслях.— Жизнь без счастья есть смерть. В чем же счастье? В знании?»

Нет. Так казалось до последнего времени, так всегда думалось — в течение всей жизни, с тех самых дней, когда впервые пробудился разум и ощутилась мучительная, могучая жажда духа. Так торжественно объявили мудрецы древности, так учил старец, отец розенкрейцеров. Но теперь уже ясно, что это не так: ошибся разум, ошиблась древняя мудрость, ошибся великий старец. Счастье — в любви. Так говорит скромный деревенский священник, так говорит светлый образ девушки-ребенка, то и дело рисующийся в воображении, так говорит вся душа, рвущаяся к теплу.

«Любовь выше знания,— говорит себе великий розенкрейцер,— сердце выше разума. Кто свел разум в сердце и поселил его в нем, тот достигает счастья, тот проникается любовью. А знание? Знание приходит, неизбежно приходит, когда разум сведен в сердце... Да, это так, это так! Я чувствую это всем существом моим!»

Итак, свершилось: все старое, все прежнее было навсегда разрушено, и человек не мог уже вернуться к этим развалинам. Он уже не помышлял о том, что такое произошло: победа или падение. Ни о каких победах, ни о каких падениях он не думал. Побежденный разум был именно сведен в сердце, но еще не мог очнуться, не мог еще понять себя в этом новом состоянии и слышал только над собою немолчный, могучий голос, которого необходимо было слушаться. Да ослушание и не было уже возможно.

Прошли еще минуты.

— Зина! — прозвучал нежным призывом голос великого розенкрейцера: — Зина!..

И все вокруг внезапно осветилось. Он поднялся со своего кресла, на котором просидел всю ночь, подошел к окну и широким движением распахнул драпировки. Снопы солнечного света ворвались в комнату, и последние тени бесследно исчезли.

И тут великий розенкрейцер почувствовал в себе не то что утомление, а потребность освежиться, очиститься от всей ночной копоти и пыли. Он пошел к себе в спальню, умылся свежей водою, опрыскал себя чудной благовонной эссенцией и переоделся тщательно, будто собираясь на праздник. Но все это он сделал почти бессознательно. Праздник и ликование были в душе его, в ней немолчно повторялся призыв: «Зина! Зина!»

Он закрыл глаза и увидел ее в холодном, серебристом тумане зимнего утра... Закутанная в пушистый мех, она прижалась в угол кареты... Он видит, ясно видит разрисованное морозными узорами каретное стекло... Но глядит он не на это стекло, а на прелестное лицо Зины, в ее глаза и ясно читает в них. Он видит и знает, что она думает о нем, что в ответ на его призыв и она зовет его, и она повторяет его имя...

«Зина! Ко мне, скорее!» — всей душой зовет он и видит, что ей слышен его голос.

Вот она вздрогнула... Будто прислушивается...

И еще неудержимее, еще призывнее повторил он: «Зина!»

Он открыл глаза и постоял так несколько мгновений, будто боясь, что это только обман воображения, что вот он закроет глаза и ничего не увидит. Он спешит закрыть их. Нет, все ясно! Опять перед ним разрисованное морозным узором стекло... Опять глаза милой девушки... С каждой минутой он чувствует, что она все ближе и ближе к нему...

Что это? Откуда эти звуки? То бьют часы. Он машинально считает удары: десять. Десять часов.

Едва замолк последний звук и едва успел он произнести: «Десять», как дверь отворилась — перед ним была Зина.

XIV

Когда она выехала из дому, то вовсе не думала, что едет к нему, и даже не знала, что он уже вернулся. Она ехала к отцу Николаю. Но дорогой с ней произошло нечто странное, повторилось то же ощущение, которое она испытала на празднике в Смольном, когда в первый раз встретилась со взглядом человека, сразу овладевшего ее душою. Но тогда в ее ощущениях было больше муки, чем радости, теперь же радость возобладала и росла с каждым мгновением.

Без борьбы и волнения она отдавалась тому, что происходило с нею. Она чувствовала устремленный на нее взгляд, и в этом взгляде не было уж ничего страшного, загадочного и злого — в нем были любовь, надежда и печаль как тень прошлого. Она услышала призывный, произносящий ее имя голос; откуда он, где звучит — она не знала, но ни на миг не сомневалась в том, что это его голос, что он зовет ее.

Его призыв становился все слышнее. Она вся так и рвалась к нему и, когда ее карета остановилась у дома князя Захарьева-Овинова, уже не владела собою. Она действовала под могучим наплывом неведомой силы, с которою не хотела и не могла бороться. Она не помнила, каким образом взошла на крыльцо, что говорила встретившим ее людям. Та сила, которая влекла ее, была настолько могучей, что все препятствия разлетелись перед нею.

Дверь отворилась, и перед нею он. Она глубоко вздохнула всей грудью, словно освобождаясь от какой-то тягости, провела рукою по лбу, будто отгоняя какой-то туман и чад. От этого движения легкий меховой плащ упал с плеч ее. Еще миг — и она была в объятиях того, кто так изучил ее душу, кого она так страшилась еще недавно и кого так любила своим неопытным, но уже закаленным и готовым на все испытания сердцем.

Она не уклонялась, да и не могла уклониться от этого объятия, она передавала им себя на всю жизнь, навеки, тому, кто был ей предназначен. А он? Он уж не спрашивал себя, что это — падение или победа? И если бы в этот миг весь ад, вооруженный всеми своими ужасами, грозил ему, если б все силы земли и неба твердили ему, что он себя губит, ему даже и в голову не пришло бы обратить на них внимание и смутиться духом.

— Простишь ли... можешь ли ты простить меня? — с мольбою и надеждой шептал он, глядя ей в глаза сияющими глазами и боясь очнуться, боясь убедиться, что это сон, греза, а не действительность.

— Что? Что простить? — растерянно, едва слышно спрашивала она, понимая только одно: все совершилось.

— Мое прошлое... холод и жестокость души моей... и... то тяжкое преступление, содеянное в безумии моем... в ослеплении! — расслышала она его голос.

Она поняла, наконец, смысл этих слов, содрогнулась и невольным движением от него отстранилась. Перед нею пронеслось всё, все испытанные впечатления, все ужасные сцены, которых она была свидетельницей. Образ истер-

занной муками ревности, обезумевшей, умирающей у ног ее графини Елены вернулся, будто живой, и сердце ее заныло. Счастливый свет в ее глазах померк, а вместе с ним померкло и лицо Захарьева-Овинова.

— Я... разве... я... могу прощать? — прошептала она.— Бог может простить... и она...

В это мгновение им показалось, что перед ними мелькнуло что-то белое, прозрачное, неопределенное, и оба они испытали такое ощущение, будто рядом с ними, близко-близко, почти касаясь их, есть кто-то. Они явственно услышали как бы тихий музыкальный аккорд и потом... потом слабый, неземной, но все же знакомый, понятный голос произнес над ними:

«Я все поняла... я прощаю...»

Снова они одни... Спокойно и радостно на душе их... Они взглянули друг на друга и увидели, что оба знают, кто это был сейчас с ними, кто понял и все простил...

Жизнь вступила в свои права. Солнце светило ярко. Все таинственное, непонятное исчезло. Захарьев-Овинов взял Зину за руку и сказал:

— Пойдем к моему отцу... Пусть он увидит тебя и благословит нас.

И они пошли. Когда Захарьев-Овинов, оставив Зину в соседней комнате, вошел к отцу и все сказал ему, старый князь не сразу понял, но, поняв, так весь и затрепетал от радости.

— О Господи!.. Да как же это?.. Кто ж она такая?.. Юрий, друг мой, не томи... скажи скорее!

Из области своих мечтаний он сразу вернулся к прежней жизни, к прежним понятиям и боялся сыновнего ответа. А вдруг Юрий выбрал такую невесту, которую он не будет в состоянии назвать дочерью? То, что сказал ему сын о Зине, хоть и не совсем его удовлетворило, но все же успокоило.

— Что ж, друг мой,— ответил он, поправляясь в своем кресле и запахивая полы мехового халата,— я тебе перечить не могу и не стану... поспеши... Извинись перед своею невестой за то, что я по болезни своей и слабости не могу ее как следует встретить, и приведи ее ко мне.

Сын поспешно вышел из спальни, а старик, приободрясь, ждал.

Ждал, и в то же время губы его шептали имя любимой дочери, которую у него так рано, так безжалостно похитила смерть. Но стоило ему взглянуть на вошедшую Зину, и он забыл все. Предубеждение против нее, вдруг невольно за-

кравшееся к нему в сердце при воспоминании о покойной дочери, сейчас же и пропало бесследно.

— Батюшки-светы! Да какая ж вы красавица! Отродясь такой не видывал! — в волнении повторял он, когда Зина склонилась перед ним и, взяв его руку, почтительно ее поцеловала.

— Голубушка ты моя, видишь, я какой... И руки-то поднять не могу... обнять тебя не могу... Наклонись, дочка милая, дай я тебя поцелую...

Она почувствовала на своем лбу его крепкий поцелуй и в то же время услышала, что он плачет. Да, он плакал от радости.

— Юрий, Юрий,— говорил он сквозь слезы,— вот уж порадовал ты меня... вот уж кралю себе нашел... Слава Тебе, Господи! Признаться, такого счастья я и не ждал и Бога-то о нем просить не смел. Ну, теперь я умру спокойно, без помехи... На душе хорошо стало... Только, дети, исполните вы мою просьбу? Юрий, друг ты мой, обещай мне исполнить великую мою просьбу!

— Что прикажете, батюшка? Свадьба чтобы наша была скорее? — понял он сразу.

— Да! — воскликнул старик.— Не дожидайтесь моей смерти — она придет теперь скоро, а я хочу увидеть вас уж мужем и женою... Красавица моя, исполнишь мою просьбу?

— Да, конечно,— совсем просто ответила Зина,— только вот... как царица?

— Царица мне не откажет,— уверенно сказал князь,— я сегодня же, сейчас же напишу ей, а ты, Юрий, свези... она тебя примет.

В это время вошел отец Николай, и старый князь так весь и просиял, его увидя. Через несколько минут отец Николай благословил жениха и невесту.

XV

Захарьев-Овинов перед царицей. Движением руки она указала ему на стул, на который он и присел, а сама, откинувшись на спинку своего любимого кресла у письменного стола, стала читать письмо старого князя.

На лице Екатерины заметно было некоторое недовольство. Она уже часа за два перед тем имела объяснение с

Зиной. Она привязалась к доброй и прекрасной девушке и вот теперь должна расставаться с нею. Ей самой уже не раз приходило в голову, что было бы жестоко из-за эгоистического чувства не устроить как следует жизнь Зины, не выдать ее замуж. Но ведь девушка еще очень молода — год-другой подождать можно. А потом надо ей найти хорошего жениха, с именем, со средствами, с положением. И притом — непременно хорошего человека. Бог знает кому, какому-нибудь легкомысленному петиметру, невозможно отдать этого чудесного ребенка.

Нет, она, царица, позаботится о ней, как истинная мать, разглядит жениха со всех сторон и устроит ей такой брак, который действительно составит счастье ее Зины...

И вдруг Зина с волнением, но в то же время с такой решимостью, какой царица даже в ней и не предполагала, объявляет, что нашла себе жениха, и жених этот не кто иной, как князь Захарьев-Овинов!..

Если бы Екатерина ясно и обстоятельно помнила все, касающееся этого человека, у нее в руках оказалось бы достаточно доводов, чтобы сразу решительно объявить свое несогласие на их брак. Но дело в том, что под влиянием непонятной силы у нее сохранилось только какое-то смутное, неопределенное воспоминание — и больше ничего. Она знала, что Захарьев-Овинов был близок к покойной графине Зонненфельд, что Зина встретилась с ним у гроба этой несчастной молодой женщины. Потом был священник, о котором Екатерина уже не раз слышала много хорошего. Этот священник — духовник Зины — живет в доме Захарьева-Овинова. Зина у него бывает — значит, и там она могла встречаться с князем...

Виделась она с ним и здесь, когда царица «призывала» его. Свою беседу с этим странным и ученым человеком она хорошо помнит — это была интересная беседа. Он достаточно оригинален, но ведь он фантазер, у него все какие-то отвлеченные, какие-то мистические идеи! Он казался ей чем-то вроде сурового и холодного аскета. И вдруг этот аскет и мистик самым заурядным образом пленился красивой девочкой, сделал ей предложение и хочет жениться...

Старый князь пишет, умоляя ее в виду своей болезни и приближающейся, как он уверяет, смерти, дать свое разрешение на этот брак и дозволить, чтобы свадьба была как можно скорее. Царице все это досадно. Она привыкла, что все делается так, как она того хочет, как она задумает,

а тут вышло совсем иначе, совсем неожиданно, и притом еще ее торопят...

Да ведь он более чем на двадцать лет старше Зины, ведь ему за сорок, а она почти совсем ребенок — ей нет еще двадцати лет. Он ей не пара!..

Екатерина положила письмо на стол и взглянула на Захарьева-Овинова. Этот взгляд показал ей, что лучше и не останавливаться на вопросе о возрасте: он изумительно, невероятно моложав; он крепок, бодр, красив, у него такое необыкновенное лицо. Зина не могла им не увлечься, заметив, что производит на него впечатление. А он, видно, очень увлечен ею; он совсем не таков, каким был прежде: стал как-то проще, во взгляде нет ничего странного, загадочного, что так ее поразило при их первой встрече. Глаза его смотрят светло и ясно — видно, что он счастлив.

— Итак, князь,— сказала Екатерина,— вы желаете прекратить вашу жизнь ученого анахорета, ваши вечные путешествия и превратиться в доброго семьянина. Все это весьма похвально, и я не имею ничего возразить вам. Но вы просите руки моей камер-фрейлины...

— Я был бы очень доволен, если б Зинаида Сергеевна не была камер-фрейлиной вашего величества,— отвечал Захарьев-Овинов.

— А почему бы это, сударь? — быстро спросила царица.

— Потому что тогда мне не пришлось бы лишать ваше величество не только камер-фрейлины, но и лучшей девушки, какая только может существовать в мире.

— Да, это для меня крайне неприятно, и даже гораздо более того,— согласилась Екатерина.— Но если дело идет об ее счастье...

— А вы сомневаетесь, ваше величество, что она будет со мной счастлива, не так ли?

— Может быть...

— Конечно... только одно время решит вопрос этот.

— Да, время,— в раздумьи произнесла царица и затем пожала плечами.— Что же, я не имею никаких оснований запрещать вашего брака. Ваш отец просит, чтобы свадьба была как можно скорее. И против этого я ничего не могу возразить, только...

— Только вы очень недовольны нами, ваше величество.

Екатерина сдвинула брови. Она была очень, очень недовольна, но не хотела показывать этого.

— Не то,— возразила она,— я хотела спросить вас: вы совсем ее у меня возьмете?

— Ее сердце навсегда принадлежит вам,— спокойно и серьезно ответил Захарьев-Овинов.— Она любит ваше величество не только как государыню, но и как истинную мать. Это я знаю и уж, конечно, не стану я уничтожать в ней такое чувство... Но вы не о том спрашиваете. И я должен сказать вашему величеству, что при дворе моя жена остаться не может...

— Я знаю ваши идеи! — с некоторой резкостью перебила Екатерина.— Вы крайне невысокого мнения обо всем, что меня здесь окружает.

— Ничуть, ваше величество,— все так же спокойно и серьезно сказал Захарьев-Овинов,— но человек должен быть там, где он нужен... Где буду я с женою — это вопрос будущего, на который я не могу еще ответить. Я хорошо понимаю неудовольствие вашего величества. Если бы я нашел для вас полезным мое присутствие здесь, то принял бы всякое дело, какое вам угодно было бы поручить мне, всякую службу. Не сердитесь на меня, государыня, и дозвольте мне высказать вам мою большую просьбу...

— Что такое? Говорите.

— Если когда-нибудь я найду нужным что-либо сообщить вам, дозвольте мне, когда бы это ни случилось, лично обращаться прямо к вам.

— Против исполнения такой просьбы я ничего не имею. Я всегда вас выслушаю, и если сообщение ваше будет заключать в себе нечто более или менее важное, либо какой разумный совет, то останусь вам за сие премного благодарна.

— Больше мне ничего не надо,— облегченно вздохнул Захарьев-Овинов.— Такое обещание царицы может стать во многих отношениях неоценимым сокровищем для подданного...

Императрица милостиво простилась с ним. Он уходил вполне удовлетворенным, хотя ясно видел, что она все же им очень недовольна.

XVI

Направляясь к выходу, в одной из дворцовых зал Захарьев-Овинов встретился с Потемкиным. Светлейший был один, без всякой свиты. Он медленно передвигался, тяжело ступая по паркету, и нес, размахивая рукою, небольшой

портфель с бумагами — очевидно, для доклада царице. За это время он еще больше как-то обрюзг. На лице его выражалось не то утомление, не то скука. Он громко зевнул раза три и привычным движением перекрестил себе рот. Подойдя ближе к Захарьеву-Овинову, но еще не узнавая его, он прищурился и вдруг остановился.

— Князь, ты ли это, голубчик?..— воскликнул он, протягивая руку.— Какими судьбами, из каких стран и странствий? Не часто мы с тобой встречаемся... Рад я тебя видеть... поцелуемся...

Они трижды поцеловались.

— А и взаправду любопытно мне, за каким это ты здесь делом?

— За большим, князь,— ответил Захарьев-Овинов.— Я прямо от царицы.

— Что ж так? Или человеку, которому ничего не надо, что-нибудь да понадобилось?

— Понадобилось!

И Захарьев-Овинов рассказал Потемкину, по какому делу был у царицы. Тот с изумлением глядел на него и вдруг засмеялся.

— Ушам своим не верю! — все продолжая смеяться, говорил светлейший.— Ты жених!.. Поздравляю! Да и вид у тебя вон какой счастливый... Чудеса!..

Он прервал свой смех и махнул рукою.

— Эх, брат!..

— А что?

— А то, что вот, знаешь ли ты... такая есть песенка: «И зачем было огород городить, и зачем было капустку садить...» Один только ты мне и казался стоящим внимания. Один только ты и был для меня магом, волхвом, мудрецом... И был ты несчастлив, и узрели мы с тобою тоску нашу безысходную и несчастье наше... Эх-ма! Не велико, видно, было твое несчастье, коли ты нашел от него такое лекарство!.. А меня еще спасал он бесовских прелестей... Женится, и от этого счастлив... Вишь ты!..

— Не глумись, князь,— сказал Захарьев-Овинов.— Не глумись над тем, чего не знаешь. Кабы ты нашел то, что нашел я, и ты увидел бы себя счастливым.

— Не резон! — покачал головою Потемкин.— То, что ты сейчас сказал, скажет и всякий мальчишка, влюбленный в свою невесту.

— Да я говорю не о невесте... Я нашел не одну ее... а все!

— Что же это такое? Расскажи, братец, я послушаю.

Лицо Захарьева-Овинова вдруг стало печально. В его глазах, за мгновение перед тем веселых и счастливых, мелькнуло прежнее выражение, и загорелись они прежним пламенем. Потемкин почувствовал эту внезапную перемену. Он увидел, что перед ним опять прежний непонятный человек и что он напрасно поспешил спихнуть его с высокого пьедестала на землю.

— Нет, князь,— странным металлическим голосом, от которого невольная дрожь пробежала по телу Потемкина, произнес Захарьев-Овинов.— Ничего я не могу рассказать тебе, ибо не услышишь ты теперь слов моих душою, не поймешь их тайного смысла. Ничему я не научу тебя, ибо человек только сам может научить себя тому, чему я научился и что теперь знаю. И для тебя придет день и час, когда все тебе станет ясно.

— Загадки? Опять загадки! — воскликнул Потемкин.

— Да, загадки,— все тем же жутким голосом продолжал великий розенкрейцер, смотря куда-то вдаль и будто вглядываясь во что-то.

— Ну, так когда же придет этот день и час мой?..

— Он придет, когда ты будешь... среди поля... близ дороги... под открытым небом расставаться с жизнью; когда вокруг тебя будут ненужные тебе, чужие лица и ни одной родной души, ни одной истинно любимой руки, которую мог бы ты пожать перед разлукой... В тот день и час ты поймешь все и почувствуешь, в чем истинное счастье.

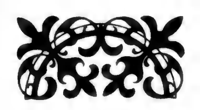
Лицо Потемкина стало мрачным, грудь его высоко поднималась.

— Предсказатель! — прошептал он.— Печальную смерть ворожишь ты мне!.. Среди поля... под открытым небом... в одиночестве... Когда же это будет? Скоро, что ли?.. Говори все!

— И да, и нет,— сказал Захарьев-Овинов.— И мало пройдет времени до того дня, и очень много... Вспомни юность свою: много ведь прошло с тех пор времени и вместе с этим мало. Ведь стоит тебе вспомнить какое-нибудь далекое событие — и кажется, что оно было так недавно, и спрашиваешь ты себя: да когда же это прошло столько времени?! Вся жизнь наша — и долгий путь и миг один... Больше я ничего не скажу тебе. Да забудь и эти слова мои, если можешь...

И они расстались.

ЭПИЛОГ



I

Западная Европа переживала страшное время. Гроза революции разразилась над прекрасной Францией. Будто из глубины ада поднялись зловредные испарения, и люди обезумели от этих испарений.

В тишине ученых кабинетов витали, как светлые, неосязаемые грезы, отвлеченные прекрасные идеи братства, равенства и свободы. Стремящийся к правде разум, согретый сердечным вдохновением, пытался, как мог, как умел, воплотить в слове красоту неясного идеала. Горячие слова вылетали из тишины кабинетов и проникали всюду, падали на всякую почву. И почти всюду почва оказывалась неподготовленной. Адские испарения извращали значение слов, низводили идеал на землю и придавали ему фантастические очертания. Непонятое добро превратилось в ядовитое зло, и вместо братства, равенства и свободы наступило мрачное, неслыханное царство ненависти, произвола, торжества грубой силы. Под знаменем свободы распространилось самое мучительное и жестокое рабство, перед которым бледнели все ужасы невольничества. Кинжал и гильотина работали день и ночь, разливая потоки горячей человеческой крови, от которой сатанели шайки всесильных разбойников. Умственное и нравственное ничтожество, невежество, зависть и злоба объявили себя цветом земли и безжалостно давили все, что было выше их.

Наконец, оказалось недостаточным уничтожить все, что так или иначе заявляло свои неотъемлемые права на земле, и вот Бог был объявлен несуществующим. Провозглашено было единое божество — разум. Но это был не разум, а безумие, справлявшее свой отвратительный шабаш, упивавшееся кровью и задыхавшееся от преступлений...

В это страшное время в Древнем Риме, в знаменитом замке Святого Ангела, среди грозной тишины и векового смрада мрачных и душных темниц по-прежнему томились преступники и жертвы римской инквизиции. Кто раз попадал в эту тюрьму, тот уже знал, что никогда из нее не выйдет. В тот миг, когда за человеком запиралась ржавая железная дверь темной и сырой камеры, человек этот исключался из списка живущих.

Перед нами покрытый плесенью, пропитанный сыростью и миазмами подвал. Над головою низкий сводчатый потолок, и посредине его небольшое отверстие, ведущее неизвестно куда, из которого по временам мерцает слабый свет — печальный призрак сияющего где-то дня. Тяжелая железная дверь заперта на крепкие засовы и замки, и никакая человеческая сила не справится с этими засовами и замками. В углу ворох соломы; на соломе лежит кто-то, но кто — разглядеть трудно.

Вот эта фигура поднимается и начинает, как зверь в клетке, метаться от стены до стены тесного подвала. Это мужчина в отрепьях когда-то богатого наряда, бархат которого давно превратился в грязную, заскорузлую тряпку, а золотое шитье стерлось и почернело. Голова покрыта густыми, длинными, спутанными и наполовину поседевшими волосами. Такая же полуседая длинная борода закрывает половину лица; черные большие глаза горят, высокий лоб покрыт глубокими морщинами.

Кто же это? Это человек, которому несколько лет тому назад оказывали царские почести, перед которым преклонялись, чьи несметные богатства и чья баснословная слава затмевали собою богатство и славу монархов. Это Джузеппе Бальзамо, «божественный» граф Калиостро. Вот что осталось от него и от его прошлого!

Далеки те безоблачные дни, предсказанием которых на долгие годы он утешал свою Лоренцу в Страсбурге. Они и были продолжительны, но в то же время пролетели, как быстрый, мимолетный сон, как и все в этом мире. Три года прожил «благодетель человечества» в Страсбурге, по временам исчезая, но скоро возвращаясь и продолжая все так же щедро раздавать бедным деньги и излечивать больных.

Калиостро достиг своего: Париж, жадный до всякой новизны и полнившийся всевозможными рассказами и сказками о чудесах этого необыкновенного человека, все громче и громче призывал его. Но Калиостро медлил и решился на отъезд из Страсбурга только тогда, когда уже окончательно убедился, что в «Новейшем Вавилоне» его ожидают все, начиная с самого короля. Для успехов при дворе у него оказался верный друг и союзник в лице знаменитого кардинала Рогана...

Наконец, после долгих и томительных ожиданий Париж узнал, что Калиостро в стенах его,— и было забыто все, все интересы отодвинулись на задний план, парижане думали и говорили только о Калиостро. Весь город обожал его, и фанатизм этого обожания рос с каждым днем. Портрет «божественного» сделался величайшей драгоценностью, которую каждый хотел иметь не только у себя, но и на себе — как талисман. Художники, делавшие миниатюры Калиостро на табакерках, кольцах и веерах, быстро обогащались и едва успевали исполнять заказы. По всем улицам на стенах были расклеены афиши, в которых объявлялось, что король Людовик XVI признает виновным в оскорблении величества всякого, кто осмелится оскорбить Калиостро. Под бюстами Великого Копта из бронзы и мрамора и под гравированными его портретами помещалось такое четверостишие:

De l'ami des humains reconnaisez les traits.
Tous ses jours sont marqués par de nouveaux bienfaits,
Il prolonge la vie, il secourt l'indigense;
Le plaisir d'être utile est seul sa récompense*.

Однако, что же делает он в Париже? Его помощь нищим не могла быть особенно заметной в таком огромном городе. От лечения больных он почти отказывался теперь, быть может, не желая ставить себя в явно враждебные отношения с факультетом. Он творил только чудеса. И что это были за чудеса!.. (Сохранился, например, подробный рассказ об устроенном им ужине, на котором половина гостей были современные знаменитости, а другая половина — тоже знаменитости, но уже умершие: герцог Шуазель, Вольтер, д'Аламбер, Дидро, аббат Вуазенон и Монтескье.) Затем

* Вот черты друга человечества, все дни которого ознаменованы новыми благодеяниями. Он удлиняет жизнь, помогает нищим, и его единственная награда — сознание своей полезности.

он учреждал свои таинственные масонские египетские ложи и собирал со всех сторон обильные приношения. Лоренца оставалась его послушной помощницей. Золото сыпалось на них, и казалось — ему счету не будет. В свободные часы Калиостро предавался своим кабалистическим, астрологическим и алхимическим занятиям, и существуют многие свидетельства, что он делал удивительные предсказания и открывал самые сокровенные тайны.

Ждать опасности было неоткуда. Поклонниками Великого Копта оказывались все, начиная с короля, а враги были ничтожны и совсем бессильны... И вдруг все стало рушиться. Случилось нечто неуловимое, не поддающееся никакому определению, и удача уступила место неудачам, бедам, несчастью. Началось в Париже знаменитое дело об «ожерелье королевы».

Дело это слишком известно, суть его можно передать несколькими словами. Мрачная судьба уже простерла свою руку над Францией и над королевской семьей. Стали твориться такие ошибки, в которых были виновны все и — никто. Маловажные причины вызывали, по-видимому, совсем несообразные с логикой последствия. Умные люди превращались в слепых безумцев... Королева Мария-Антуанетта, как бы по какому-то предчувствию, ненавидела кардинала Рогана, одного из первейших и знатнейших сановников Франции. Кардинал же, в свою очередь, во что бы то ни стало стремился завоевать благосклонность королевы. Придворный ювелир Бемер, собрав удивительной красоты бриллианты, сделал из них чудное ожерелье и предложил королеве купить эту драгоценность. Но цена была слишком велика, и Мария-Антуанетта, несмотря на свою страсть к бриллиантам, решила, что лучше на эти деньги построить новый корабль, который нужнее для государства, чем для нее наряды. Бемер остался ни с чем, и ему грозило разорение, так как никому не было по средствам такое ожерелье.

Обо всем этом проведала ловкая и смелая авантюристка, графиня Ла Мотт, и явилась к кардиналу Рогану; уверяя его, что если он выкупит у Бемера ожерелье, которым бредит королева, та, в свою очередь, будет ему благодарна и представит все доказательства своей к нему милости. Легкомысленный кардинал, поверив обманщице, стал выплачивать Бемеру огромные суммы, а графиня Ла Мотт завладела ожерельем. В конце концов эта проделка открылась. Началось дело — король допустил до этого — и Ла Мотт и кардинала Рогана судили, а королева должна была оправды-

ваться. Кем-то было произнесено имя Калиостро — и вчерашнего кумира схватили и заперли в Бастилию.

На суде выяснили все обстоятельства, и Ла Мотт понесла должное наказание. Кардинал Роган был оправдан, но лишился королевских милостей за свое легкомыслие, за то, что осмелился поверить в такие поступки королевы, на которые она не была и не могла быть способна. Все дело велось гласно и оказалось первым страшным ударом, нанесенным величию и престижу Марии-Антуанетты...

Но, даже читая и перечитывая все документы, исследования и рассказы относительно этого дела, все же невозможно понять, в чем заключалась роль Калиостро, на каком основании его засадили в Бастилию. Это было фатальное недоразумение, это была судьба. Правда, его освободили, ни в чем не обвинив, но заставили немедленно покинуть Францию. Звезда его удачи и счастья начинала меркнуть.

Калиостро и Лоренца оказались в Англии. Отсюда Великий Копт послал свое знаменитое «письмо к французскому народу». Это письмо было тогда же переведено на все языки и распространено по всей Европе. В нем, между прочим, заключается такое предсказание: «Бастилия будет разрушена до основания, и место, на котором она стоит, сделается местом для прогулок». Кроме того, он также верно предсказал и многие другие события.

В Лондоне Калиостро жилось хорошо, но судьба его подстерегала... Он отправился с Лоренцой в Италию и там попал в руки инквизиции. Лоренца испугалась пыток, и ее показания окончательно погубили Калиостро. Ей удалось освободиться, и она вернулась в родительский дом, где стала скрываться под вымышленным именем. Дальнейшая судьба ее неизвестна.

Великий Копт мужественно вынес все пытки. Он отрицал свою виновность в чем-либо. Он объявил себя католиком, признающим высшее главенство папы в церковной иерархии. Когда его спрашивали о тайных науках, он говорил очень темно, загадочно. Судьи долго слушали со вниманием, но затем остановили, сказав, что его ответы нелепы и всем им непонятны.

— Каким же образом можете вы знать, что они нелепы,— воскликнул он вне себя,— когда вы их не понимаете?!

Судьи очень рассердились, и один из них закричал:

— Назовите сейчас все смертные грехи!

Калиостро назвал: скупость, зависть, любострастие, обжорство и леность.

— Вы забыли гордость и гнев,— сказал ему судья.

— Извините,— спокойно возразил он,— я не забыл ни гордости, ни гнева, но не хотел называть их из уважения к вам и боясь вас обидеть.

Говоря это, он имел такой величественный вид, что казался вовсе не осужденным, а обвинителем.

Его приговорили сначала к смертной казни, но так как он не выказал при этом ни малейшего смущения, то судьи решили, что пожизненное заключение в душной темнице замка Святого Ангела будет ему лучшим наказанием.

Для того чтобы отвратить от него народные симпатии — а он и в Италии пользовался большой популярностью,— стали распускать слухи, что он, подобно Нерону, собирался сжечь Рим. Потом рассказывали, что он сошел с ума и страдает припадками бешенства.

II

Тайный суд над Калиостро тянулся полтора года, и во все это время несчастного подвергали самым ужасным и разнообразным пыткам, на какие только оказалось способным воображение католических монахов. Он все вынес, ни разу не ослабел духом, не выдал себя ни одним словом и только смертельно бледнел каждый раз, когда на допросе ему читали показания Лоренцы, подписанные ею. В показаниях этих была смесь правды с ложью: обезумевшая от страха Лоренца наговорила на своего недавнего властелина все, что ей подсказывали инквизиторы.

Суд кончен. Двери душной темницы, пропустив истерзанного Калиостро, закрылись за ним навсегда. Два года прожил он в тюрьме, но тюремщики никогда не слыхали от него жалоб, не видели признаков его отчаяния. Могучий организм узника вынес все — пытки, тоску, любовь и ненависть к Лоренце, все лишения тела и духа. В это время Калиостро еще лучше, чем когда-либо, доказал, какие великие силы вложила в него природа, как далеко он мог бы пойти, как высоко мог бы подняться, если бы с юности не избрал себе ложную дорогу.

Но что же делал он в эти бесконечные дни, в эти бесконечные ночи? У него не было ни книг, ни бумаги — ничего для умственной работы, а между тем он только и жил теперь ею. Он занимался ею без всяких внешних орудий,

с помощью одной своей памяти. Шаг за шагом проверял он в уме все свои знания и шел дальше. Это была необычайно трудная работа, однако она давала ему возможность убивать время. Он старался читать дальнейшую судьбу свою, мысленно делая различные астрологические вычисления.

На сырых плитах пола своей комнаты с помощью соломы он составлял свой гороскоп; и вот мало-помалу к нему явилась уверенность, что он не умрет в этой тюрьме, что для него настанет освобождение, кто-то придет и спасет его. Его еще ожидает великое торжество, новые блестящие успехи. Луч надежды закрался в его душу. Надежда росла, росла; он считал минуты, часы, дни и ждал своего освобождения.

Но прошло два ужасных года, а освобождения все нет. Вокруг него все тот же мрак, те же сырые каменные стены, тот же молчаливый подозрительный тюремщик, по два раза в день приносящий ему скудную пищу.

Единственным разнообразием в его жизни были те редкие случаи, когда три-четыре раза в год приходили тюремщики, налагали ему на ноги и на руки оковы, выводили из подвала и вели в капеллу, находившуюся тут же, в конце длинного темного коридора. Здесь он присутствовал при божественной службе, здесь он видел нескольких монахов и выбирал себе из них духовника. В числе этих монахов был один по имени брат Иннокентий, который поразил его некоторым сходством с ним самим: у этого монаха была такая же точно фигура, как у него, тот же самый рост, даже лицо было несколько похоже.

В последнее время совсем незаметно для самого Калиостро стал в уме его созревать ужасный, отчаянный план. Он видел, что освобождение не приходит извне, никто не является спасти его, а между тем оставаться долее в тюрьме уже невозможно: силы его слабели, он чувствовал, как жизнь мало-помалу уходит из его тела, ноги трясутся, голова то и дело кружится. Еще несколько месяцев этой невыносимой жизни — и он умрет...

Но ведь гороскоп, все тайны которого он постиг, не может обмануть его. Его ждет спасение, и торжество, и успехи. Он еще изумит мир своими знаниями, своими чудесами. Он еще много пользы принесет человечеству и восторжествует над всеми своими врагами. Ему предстоит только один шаг — тяжелый, трудный шаг... но ради всей будущности надо решиться! И он решился...

И вот он как зверь мечется по своей тесной тюрьме,

отгоняя от себя последние сомнения, последние колебания... Наконец настало время, когда тюремщик обычно приносит ему пищу. Калиостро лег на свою соломенную постель и стал жадно прислушиваться. За железной дверью в коридор слышны шаги. Дверные засовы скрипят... Перед ним тюремщик. Калиостро стонет.

— Что с тобой? — грубо и равнодушно спрашивает тюремщик, ставя на пол посуду с пищей.

— Я болен... умираю...— слабым голосом произносит Калиостро.

— Давно пора! — замечает тюремщик.

— Но ведь... не могу же я так умереть — без покаяния, без исповеди... Позови скорей духовника!

— Какого же духовника тебе надо?

— Брата Иннокентия...

— Ну, это я могу,— решает тюремщик,— кстати, брат Иннокентий непременно будет сегодня вечером в капелле, так я и приведу его.

— Ах, только бы дожить мне до вечера!

— Доживешь, еще и до завтра доживешь,— ворчит тюремщик, уходя и запирая за собою дверь.

Как лев, вскочил Калиостро, оставшись один. Глаза его метали искры. Он почуял приближение свободы — и одна эта мысль уничтожила всю его слабость. Он едва дождался вечера и, заслышав приближавшиеся шаги, лег на солому и принялся стонать.

Тяжелая дверь отворилась и закрылась снова. Перед ним брат Иннокентий с маленькой лампой в руке. Эта лампа озаряла мрачные серые стены, низкие своды, всю грязь, весь ужас смрадной тюрьмы.

«Вон отсюда! Вон!» — звучало в душе Калиостро, и он забыл все остальное. Монах присел рядом на солому, наклонился над ним и спросил:

— Что с тобою? Ты очень страдаешь?

— Да, я ужасно страдаю! — воскликнул Калиостро и, прежде чем монах успел шевельнуться, обхватил его горло руками. Его пальцы, будто железные, все больше и больше сжимались, не выпуская свою жертву.

Миг — и он почувствовал слабую предсмертную судорогу монаха. Еще миг — и монах недвижим, бездыханен. При свете лампы с лихорадочной быстротой Калиостро раздел еще теплый труп, разделся сам, потом одел монаха в свои лохмотья, а сам оказался в одежде брата Иннокентия. Он уложил труп на солому и затем, найдя в кармане монашеского платья небольшой складной нож, быстро, недрог-

нувшей рукой, изрезал все лицо мертвеца до неузнаваемости.

Сделав все это, он надел себе на голову капюшон, искусно прикрылся им и, взяв в руки лампу, стал стучать в дверь. Тюремщик, находившийся в коридоре, услышав этот стук, отворил ему. Когда дверь отворилась, будто струя воздуха загасила лампу, и Калиостро с тюремщиком оказались почти в полном мраке.

— Запирай двери... он заснул... проживет еще день-другой! — шепнул Калиостро голосом брата Иннокентия.

Тюремщик запер двери. Калиостро неспешным шагом пошел по коридору и вошел в капеллу. Там были два монаха, но они не обратили на него внимания, приняв за брата Иннокентия. Он вышел из капеллы и через несколько минут без особого труда, без всяких препятствий оказался вне замка Святого Ангела.

Чем больше удалялся он от замка, тем быстрее становились шаги его. Свежий воздух опьянял его, голова кружилась, во всем теле чувствовалась слабость. Но он превозмогал себя и все шел, спешил скорее из Рима, на свободу... Теперь надо быть как можно дальше отсюда!..

И вот уже позади остались последние жилища «вечного города»; он на воле, среди простора. Тут только почувствовал Калиостро всю свою усталость, всю боль, с каждой минутой усиливавшуюся в его сердце. Он не мог идти дальше и почти упал на землю.

Невозмутимая тишина стояла кругом. Темная ночь глядела на него бесчисленными звездами.

«Куда же дальше? Что теперь делать? — Но он не мог об этом думать, мысли его путались...— Что совершил он? Убийство!.. Но ведь оно было вынуждено обстоятельствами. Сама судьба, ясно им прочитанная, приказывала ему это неизбежное убийство... А вдруг он ошибся? Вдруг спасение его было близко и пришло бы помимо этого преступления... Вдруг то, что он сделал, было совсем не нужно?..»

Но что это с ним? Как кружится голова, как трудно дышать! Все темнеет в глазах, а в ушах откуда-то, словно отовсюду, повторяется одно только слово: «убийца! убийца!» Невыносимый, отчаянный страх охватил его — такой страх, какого он не испытывал ни разу в жизни. Ему чудится, будто его преследуют, гонятся за ним какие-то страшные призраки...

Он с трудом поднялся на ноги и, собрав последние силы, побежал, но не успел пробежать и сотни шагов, как в груди

его будто оборвалось что-то. Он слабо вскрикнул, потом захрипел и упал на землю бездыханный...

Немного времени прошло с тех пор, и французские войска заняли Рим. Французы обступили замок Святого Ангела и ворвались в него с целью освободить Калиостро. Предполагалось с большим торжеством вывести из темницы «благодетеля человечества» и устроить в его честь всякие празднества. Не только у каждого офицера, но и у каждого солдата были в памяти исполнившиеся теперь предсказания знаменитого чародея, обращенные им к французкому народу.

Но узника не нашли — его тюрьма была пуста, и никто не мог сказать победителям, где тот, кого они ищут.

«Божественный» Калиостро не дождался обещанного ему судьбою спасения, совершил тяжкое преступление — и погиб.

III

Дикая горная местность в окрестностях Небельштейна. Такой же ясный холодный вечер, какой был в этот самый день десять лет тому назад, когда Захарьев-Овинов спешил к древнему замку на последнее собрание великих учителей-розенкрейцеров, где его должны были провозгласить главою братства. Солнце уже зашло, как и тогда, и точно так же быстро сгущаются ночные тени. Горный ветер свищет в лесу, и от его порывов качаются и шелестят, соприкасаясь, ветви вековых елей. По заросшей дороге к замку, как и тогда, спешит всадник... И всадник этот тот же — Захарьев-Овинов.

Прошло десять лет; незаметными они кажутся в явлениях неподвижной для поверхного взгляда природы, но великую перемену произвели эти десять лет в человеке, который спешит к развалинам старого замка. Ничего общего нет в его душе с тем настроением, какое в ней было десять лет назад.

Уже совсем стемнело, когда Захарьев-Овинов остановил своего коня у маленькой, едва выглядывавшей из кустов железной двери замка. Он вынул из кармана свисток, и, как в былые годы, раздался среди скал и развалин призывный пронзительный звук. Потом звук замер... все было тихо. Захарьев-Овинов свистнул еще раз — ответа не было.

Тогда он быстро спрыгнул на землю, крепко привязал

коня к большому кусту и постучал в дверь. Полное молчание было ему ответом. Ему стало жутко.

«Неужели?! — подумал он, и дрожь пробежала по его членам.— Нет, я бы знал, так или иначе он известил бы меня! А может быть... может быть, я уж и не мог получить от него известий иначе как обычным для всех людей путем? Или он не успел, или не хотел написать мне... Неужели здесь смерть, и я не знал об этом?»

Он схватился за ручку двери и увидел, что она не заперта изнутри. Не зная, радоваться этому или смущаться, он поспешно вошел, запер дверь за собою и очутился в знакомом темном коридоре.

В то же мгновение Захарьев-Овинов почувствовал, что великий старец еще жив. Сознание это сразу его успокоило, и он твердым шагом пошел вперед, нашел в конце коридора дверь и отворил ее.

Он в заветной древней комнате собраний. Как и десять лет тому назад, на столе горит лампа, всюду разложены фолианты, а рядом в старом высоком кресле человеческая фигура. Это он — древний мудрец!

С сильно забившимся сердцем Захарьев-Овинов кинулся к нему. Глядит — старец неподвижен. Глаза закрыты... «Неужели?!.— он наклонился.— Нет, жив, жив, он только спит!..»

Старец открыл глаза; глаза эти совсем почти потухли, в них едва теплилась искра жизни.

— Сын мой...— прошептали бледные слабые губы.

— Отец! — воскликнул Захарьев-Овинов, чувствуя и радость, и грусть, и подступившие к сердцу слезы.

Он обнял старца, радуясь, что застал его живым и невольно ужасаясь происшедшей в нем перемене.

— Я знал, что ты придешь ко мне сегодня. Я звал и ждал тебя, я чувствовал твое приближение... а вот заснул!— между тем говорил глухим голосом Ганс фон Небельштейн.— Слаб я теперь — заснул и не слышал твоего свистка... Впрочем, ведь дверь не заперта... Она не запирается с тех пор, как я простился с моим добрым Бергманом и похоронил его два года тому назад...

— Бедный друг, бедный Бергман! — произнес Захарьев-Овинов, вспоминая доброе лицо старого верного слуги и друга далеких дней.

— Скажи: счастливый Бергман! — поправил фон Небельштейн, дрожащей рукою вынимая из кармана маленький ящичек и кладя себе в рот кусочек таинственного вещества, способного поддерживать человеческие силы.

Через две-три минуты древний старец заметно оживился: в глазах прибавилось жизни, старые исхудалые руки уже не так тряслись, сгорбленная спина выпрямилась. Захарьев-Овинов не отрываясь глядел на него.

— Отец! — невольно вырвалось у него.— Отчего в тебе такая перемена? Зачем допустил ты ее?

— Перемена произведена временем,— сказал старец,— время делает свою законную работу. И не во мне одном перемена, она и в тебе, сын мой. И я с бо́льшим правом могу спросить тебя: ты-то зачем допустил ее, зачем ты расстался со своею молодостью? Зачем в эти десять лет пропала нежность твоих щек, а на лбу появились морщины?

— Я не думал об этом,— ответил Захарьев-Овинов.— Я никогда, как тебе известно, не употреблял никаких средств для того, чтобы сохранить свое тело и поддержать свою молодость до сорокалетнего возраста. Молодость во мне поддерживала та жизнь, какую я вел: я слишком мало, несмотря на свои большие занятия, расходовал свою жизненную силу; во мне работал один мозг, работал привычно, правильно и постоянно, а сердце мое оставалось без всякой жизни. Ну, а тебе известно, отец, что жизнь сердца помогает разрушению материи. Да, наверно, во мне большая перемена, но перемена эта не важна...

— Как не важна? — перебил его старец.— Ты добровольно сокращаешь дни свои?!

Захарьев-Овинов улыбнулся.

— Во всяком случае, не тебе упрекать меня в этом! Сам ты что сделал с собою?

— Я? Я другое дело, я вот уже прожил на свете сто двадцать лет и рад уйти. Да, с тех пор, с самого дня нашего последнего свидания, когда ты причинил мне такое горе, против которого я оказался беспомощен и за которое не могу винить тебя, я перестал поддерживать жизнь моего тела и предоставил ему разрушаться. Два года тому назад я не помешал Бергману умереть, потому что он желал этого — и я понимал его желание. Теперь и я умираю. Я ждал тебя только для того, чтобы проститься с тобою и чтобы ты похоронил меня по правилам нашего братства — рядом с моими предшественниками. Вот зачем ты здесь. Вот зачем звал я тебя.

Захарьев-Овинов опустил голову, и несколько мгновений продолжалось молчание.

— Отец,— наконец сказал он,— мне тяжело и грустно

слышать слова твои, но я понимаю твою усталость, твое желание смерти.

— Смерти! — усмехнулся Ганс фон Небельштейн.— Какое дикое, отвратительное слово... Услышишь «смерть» — и нечто невыразимо ужасное представляется, по привычке, человеческому воображению. А между тем ведь это покой, это блаженство. О, если бы знал ты, сын мой, как я в эти последние годы стремлюсь к светлой минуте, которую люди называют смертью! Больше столетия неустанно шел я вперед, собирая сокровища знаний... Собрал все, что мог, а и этого мало! И вот, еще ранее того дня, когда ты нам здесь десять лет тому назад сказал горькую правду, я понял, хотя и тяжко было признаться в этом перед собою, как ничтожно мое сокровище... Понял я и то, что не могу уже ничем его дополнить, что ничего уже не найду нового. А между тем ведь мне мало того, что у меня есть, мне нужно еще, нужно так много!.. Ну, так пора, давно пора узнать больше... О, как я боялся, что ты не почувствуешь моего зова, что ты потерял силу меня чувствовать!

— Отец,— перебил его Захарьев-Овинов,— не знаю, быть может, я и потерял эту силу. Я здесь не потому, что ты звал меня.

Старец поднял на него изумленный взгляд.

— Я здесь во исполнение того условия, которое было заключено между нами десять лет тому назад,— продолжал Захарьев-Овинов.— Ведь каждый из нас должен был сюда возвратиться в годовщину прежних наших собраний, если почувствует и убедится, что достиг того блага, которого нам недоставало, то есть счастья. Отец, ты видел здесь кого-нибудь из нас за это время?

Старик покачал головою.

— Никого, сын мой. Вот уже десять лет, как ничья нога не переступала порога замка.

— Я почти был уверен в этом,— сказал Захарьев-Овинов.— Но я здесь, и мог бы явиться даже гораздо раньше, если бы не назначил себе этого последнего срока. Отец, перемена, которую ты видишь во мне, мои морщины, все признаки лет — только свидетели того, что я живу, что я счастлив!

Старец недоверчиво покачал головою.

— Ты заблуждаешься, сын мой,— уверенно произнес он.— Здесь счастья нет, в этой материальной оболочке мы его не достигнем.

— Абсолютного счастья — да,— согласился великий розенкрейцер.— И за эти десять лет у меня было немало

горя, немало черных дней я пережил, но все же я счастлив, все же в сравнении с этими десятью последними годами вся предшествующая жизнь моя мне кажется страшной и душной тюрьмой. До тех пор, пока я жил одним только разумом и не понимал, что у меня есть сердце и что истинная жизнь исходит только из него, из его постоянного развития,— я задыхался. С того мига, как проснулось мое сердце и наполнилось любовью, я живу: я страдаю и радуюсь, я могу смеяться и могу плакать. Любовь и добро, которое неизбежно является ее следствием, дают мне минуты таких наслаждений, такого тепла, такой благодати, что каждая из них искупает долгие дни страданий!

Старец слушал его, сдвинув брови, слушал напряженно, собирая последние силы своего слабеющего разума, чтобы постигнуть все значение сказанного. Но слова эти казались ему только словами. А между тем ведь он знал, кто перед ним. Он знал, что этот человек, им же самим доведенный до вершины знаний и теперь еще полный ими, не может произносить слова без значения, не может так жестоко ошибаться... Если он считает себя счастливым, если он полон бодрости духа, доволен жизнью,— значит, что-то все же нашел он...

— Но то благо, которое далось тебе,— прошептал старец,— ведь должно было уничтожить все твои высшие способности, все твои тайные силы! Ты мог сохранить знания, но силу свою сохранить не мог и теперь так же ничтожен, как тот слабый и темный искатель истины, который в первый раз подходит к храму мудрости и собирается постучаться в его двери!..

— Может быть,— сверкнув глазами, воскликнул Захарьев-Овинов,— может быть, но я об этом никогда не думаю, да и незачем мне думать: у меня есть все, что необходимо для возможного на земле счастья, и до сих пор я не нуждался в проверке моих оккультных сил. Я ни разу не напрягал их.

— А между тем я вижу, что в близком будущем — да, скоро, очень скоро, быть может, через несколько дней,— тебя ожидает большая опасность, которую предотвратить ты можешь именно только оккультными силами. Их в тебе нет, а опасность велика! И я не знаю, вернешься ли ты туда, откуда теперь приехал...

— Отец, будущее не страшит меня,— спокойно ответил Захарьев-Овинов.

Долго они еще беседовали. Захарьев-Овинов ясно видел, как старец все слабеет. Он даже хотел испробовать свою

прежнюю силу, для того чтобы поддержать в нем жизнь, но Ганс фон Небельштейн запретил ему это.

— Не вмешивайся в действия природы,— сказал он ему,— и не противься моей воле. Я хочу расстаться с этим давно уже надоевшим мне и тяжким для меня телом. Час мой пришел. Солнце еще не успеет взойти, как я покину бренную мою оболочку, которая начнет поддаваться обычному разрушению. Сын мой, завтра утром ты меня похоронишь в готовой уже для меня могиле в известном тебе подземелье этого замка, в склепе, куда я не раз тебя водил в прежние годы и где покоится прах великих розенкрейцеров... Там и для тебя есть место...

— Я лягу там, где придется,— тихо произнес Захарьев-Овинов.

— А теперь,— слабеющим голосом сказал старец,— теперь возьми книгу, в которой я записал великих двадцать два правила, переданных от древности посвященным... Перечти мне их — мои глаза уже почти ничего не видят...

IV

Великий розенкрейцер исполнил желание старца и начал читать ему двадцать два правила развития воли, постигнув и исполнив которые человек делается победителем и владыкой природы. Эти двадцать два правила, преподанные от древности легендарным Гермесом-Тотом и затем разъясненные и дополненные величайшими адептами оккультизма, составляли драгоценное сокровище розенкрейцеров. В них действительно заключалась глубокая человеческая мудрость.

Хотел ли умиравший старец в последний час своей земной жизни еще раз окунуться в ту холодную глубину, откуда он почерпал все свои силы? Или, быть может, надеялся он, что погибший, заблудившийся, как ему казалось, разум великого розенкрейцера, увидя себя вновь в знакомой, полной очарований и соблазнов сфере, почувствует свою ошибку и вернется на тот путь, по которому когда-то шел так победоносно?

Как бы то ни было, он слушал чтение, весь превратясь во внимание и не спуская глаз с Захарьева-Овинова. Но через несколько минут всевозрастающая слабость охватила его, голова стала кружиться, сердце все медленнее

и медленнее билось, кровь в жилах начала останавливаться. Он понял, что умирает.

— Сын мой,— прошептал он едва слышно,— прощай!..

Захарьев-Овинов отложил книгу и кинулся к старцу. Тот хотел приподнять руку — и не мог, хотел сказать что-то, но язык уже не слушался. Да и мысли остановились. Когда Захарьев-Овинов приложил ухо к груди старца, сердце учителя уже не билось. Тогда он закрыл глаза почившего, поцеловал его холодный лоб и долго стоял, печально глядя на черты того, кто играл такую роль в его жизни.

Было время, когда он почитал этого старца высочайшим существом в мире, когда каждое слово того было для него истиной и законом. Он и теперь знал, что в этот час на земле не стало человека, обладавшего истинными, высшими познаниями сил и действий природы. Человек этот имел дар пророчества и знал все тайны, имел всякое познание и всю веру, так что мог и горы переставлять... Но этот человек не имел л ю б в и, прожил всю свою долгую жизнь, питаясь только своим разумом, вдали от жизни и презирая ее, а потому он был — ничто. Он умер утомленным, неудовлетворенным, с сознанием, что все его силы и знания не принесли и не могли принести ему счастья. Эти силы и знания убили в нем все чувства, сделали до того ко всему безучастным, что он не испытывал даже потребности пользоваться ими. Они лежали в нем как никому не нужный клад. Подобно безумному скряге, он не употреблял их ни для себя, ни для других — и теперь унес их с собою в могилу. Все эти чудные силы и знания только скудно питали его гордость и оказались бесполезными, а потому он, их владелец, был — ничто. В течение столетия он достигал знания, почел себя на его вершине, а, умирая, не знал, что ждет его за той дверью, которая теперь перед ним открылась...

Всю ночь просидел Захарьев-Овинов перед трупом старца, погруженный в свои мысли и будто снова переживая все свое прошлое. Когда настал день, он приступил к исполнению своего долга перед почившим учителем. Он омыл его тело и, принеся из лаборатории все необходимые предметы, посредством семи легких уколов и впрыскиваний некой известной ему эссенции превратил труп в мумию, уже не способную подвергнуться разложению.

Затем он перенес останки учителя в склеп и похоронил его там с соблюдением всех правил — похоронил именно так, как с основания братства каждый новый глава розенкрейцеров хоронил своего предшественника.

Весь день провел Захарьев-Овинов в этой печальной

работе и к вечеру почувствовал большое утомление. Но прием оставленного старцем вещества быстро восстановил его силы. Он сидел теперь в знаменитой розенкрейцерской лаборатории — и был единственным ее хозяином, единственным законным наследником развалин Небельштейна и всех заключенных в нем сокровищ. Только он один понимал сущность всех работ старца и был в состоянии продолжать их: почти все высшие химические открытия, над которыми еще долго будет бесплодно трудиться человечество, были ему известны. Остальное заключалось в рукописи старца, лежавшей теперь перед ним и написанной условными знаками, значение которых было ему понятно...

Но он знал теперь, что обладает таким сокровищем, при блеске которого бледнеют все эти открытия. Он знал также, что человечество не достигнет счастья, получив все эти знания, а потому незачем до времени, упреждая ход общего развития, открывать их ему. Он знал, что если бы решился теперь открыть всем и каждому двери этой таинственной лаборатории, то результатом явилось бы относительное благо и безусловное зло. И зла было бы столько, что все благо оказалось бы ничтожным. В этом случае адепты тайных наук были всегда правы, тщательно охраняя свои тайны: в неразумных или недобросовестных руках эти тайны способны породить только самое ужасное зло и самые неслыханные преступления.

Осмотрев всю лабораторию, он надавил в известном ему месте в стене невидимую пружину, и стена раскрылась. В ней оказался ряд поместительных полок, куда великий розенкрейцер и убрал все инструменты и все содержимое лаборатории. Часа через два стена снова закрылась — лаборатория была пуста.

Еще сутки работы, и Захарьев-Овинов мог покинуть развалины Небельштейна с полной уверенностью, что никто, забравшись сюда когда-либо, не найдет здесь ничего, кроме старых, покрывающихся плесенью и мохом стен да рассыпающейся прахом древней мебели.

Но кто же мог сюда забраться? Только великие учителя-розенкрейцеры знали сюда дорогу. Из них двое уже умерли: граф Хоростовский и барон фон Мелленбург. Роже Левек покинул Париж, находится в Америке, и уже три года, как о нем нет никаких известий. Один Абельзон смущал Захарьева-Овинова. Он знал, что этот бывший великий учитель после прекращения деятельности братства и его распада дал волю всем своим инстинктам и страс-

тям и что все свои знания, отрешась от розенкрейцерской клятвы, обратил во зло. Этот палач братства, настаивавший на казни изменников, теперь сам превратился в изменника...

«Абельзон! Абельзон!» — повторялось в мыслях великого розенкрейцера, и вместе с этим именем вспомнилось ему предсмертное предсказание старца. И он понял, что опасность грозит ему со стороны Абельзона.

Он был теперь в комнате заседаний, в той комнате, где умер Ганс фон Небельштейн. Разбирая оставшиеся манускрипты и книги и готовясь спрятать их в потайное помещение в стене, а затем уехать отсюда, среди полной тишины он вдруг услышал шаги в коридоре. Ему нетрудно было догадаться, кто это. Действительно, через несколько мгновений дверь отворилась, и он увидел перед собою Абельзона. Он невольно вздрогнул — таким ужасным показалось ему лицо маленького человека, так страшно горели глаза его.

Они обменялись обычным в братстве приветствием, но при этом великий учитель не выразил главе братства должного почтения.

— Я знаю все,— прямо начал Абельзон,— я еще не лишен моих сил и знаний, а потому мне своевременно стало известно, что ты направляешься в Небельштейн. Я поспешил за тобою, но, подъезжая сюда, понял, что опоздал, что нашего отца уже нет между живущими.

— Да, все это так,— сказал Захарьев-Овинов.— Чего же тебе надо, Albus?

— Если ты уже потерял способность читать мои мысли,— с презрительной усмешкой ответил Абельзон,— так я тебе прямо и скажу, чего мне надо. Десять лет тому назад мы признали тебя главой братства розенкрейцеров, но ты в этот же день уничтожил своей властью братство. Затем ты перестал быть не только главою розенкрейцеров, но ты уж и не розенкрейцер первых посвящений — ты пал чересчур низко. Мне известно, что ты, как последний из безумцев, отказался от всего, чем владел, предался самым жалким похотям. Я встретил тебя братским приветствием, но это только по привычке. Наследником и преемником нашего отца ты быть не можешь, потому что сам отказался от этого. У тебя, конечно, остались твои знания, но нет никаких сил. А без сил — что такое знание? Двух из учителей нет на свете, третий скрывается — значит, один я законный преемник великого старца! Поэтому я прошу тебя

удалиться и оставить меня в замке. Я здесь у себя, на своем месте, ты же, по безумию своему, здесь чужой!

— Ты заблуждаешься,— спокойно сказал Захарьев-Овинов.— Ты хочешь взять даром то, что покупается дорогой ценою. Преемник великого старца или я, или никто... Ты же ни в каком случае не можешь быть его преемником... Я вовсе не желаю входить с тобою в спор, беседа между нами излишня, и я прошу тебя оставить меня и удалиться...

Глаза Абельзона загорелись, на лице изобразилась адская злоба.

— Жалкий безумец! — воскликнул он.— Когда-то ты, может быть, и имел право так говорить со мною, но теперь это праздные слова с твоей стороны, и только. Я хотел пощадить тебя и предоставить твоей печальной участи, но вижу, что необходимо наказать тебя как изменника... Погибни!

Это было одно только мгновение, но в это малое мгновение целый мир ожил и забурлил в душе Захарьева-Овинова. «Так вот где опасность!» — пронеслось в его мыслях, и, поняв это, он вдруг соединился посредством могучих, неразрывных нитей со всем, что было ему близко теперь, дорого, чем существовал он. Он почувствовал себя не одиноким: к нему на помощь явились и жена, со всей своей любовью и душевной чистотою, и отец Николай, с могучим оружием, на котором дивно светились слова: «сим победиши», и сотни, тысячи тех людей, которым он сделал сознательно добро, которых спас своей живой деятельною любовью в эти десять лет, пролетевших со времени его возрождения. Всё, сколько было теперь в нем света и тепла, светлых мыслей и горячих чувств, относившихся не к себе, а к другим,— все это сразу поднялось в нем и наполнило его такой силой, какой он никогда еще не ощущал в себе.

— Погибни! — страшным, нечеловеческим голосом повторил Абельзон. Он не шевельнулся, произнося это слово, не кинулся на Захарьева-Овинова с кинжалом или пистолетом, он только протянул по направлению к нему руки и устремил на него взгляд своих ужасных глаз. Но если б кто-нибудь мог видеть его в эту минуту, тот, несмотря на какой угодно скептицизм, понял бы, что этот человек, или, вернее, это чудовище в образе человека, владеет оружием более страшным, чем кинжалы и пистолеты, и носит это оружие в себе самом, во взгляде своих горящих глаз: эти глаза жгли, обессиливали, уничтожали, в них заключалась

та ядовитая, обезволивающая и зачаровывающая сила, которою змея останавливает и парализует намеченную жертву!

Но сила змеи бессознательна, инстинктивна, а здесь свободный разум человека, неустанно работавший над изучением природы, сознательно развил в себе эту силу путем укрепления воли. Абельзон хорошо знал, чтó он может: в это последнее время он произвел несколько ужасных опытов.

Слабый трепет своей совести и прежних розенкрейцерских понятий он успокаивал необходимостью проверки знаний и сил. Теперь он был уверен в себе и знал, что при более или менее упорном напряжении и сосредоточении воли может завладеть душою всякого человека, превратить его в бессильного раба своего, может, наконец, мгновенно умертвить его, направив на него смертоносную силу своей злой воли.

Он испытал это и видел, как под действием его взгляда человек падал и в страшных судорогах внезапно умирал. Абельзон сосредоточивал в себе огромное количество электромагнитной силы и мгновенно передавал ее всецело другому живому организму. Никакой живой организм не был в состоянии выдержать подобного удара, переполнялся электромагнитным током — и погибал.

Неизбежно должен был бы погибнуть и Захарьев-Овинов, если бы он не был защищен тем высоким подъемом духа, который всегда торжествует над силами материи и ослабляет их... Он нашел защиту в иных, более могущественных силах, наполнявших его безмятежным спокойствием. Он вовремя отрешил себя от каких-либо внешних влияний и остался «свободным» — вошел в такое состояние, когда организм человека оказывается нерушимой скалою, которую нельзя ни сжечь, ни взорвать, о которую притупляется всякое оружие природы, кроме высшей духовной силы, силы Творца всяческой жизни.

— Несчастный! — воскликнул он, отворачиваясь от Абельзона.— Что ты сделал?! Разве забыл ты, что такая сила, не найдя себе исхода, неизбежно возвратится к тебе же... Что ты сделал?!

— Спаси! — в ужасе, задыхаясь и падая на землю, прохрипел Абельзон.

— Ты знаешь, что я не в состоянии спасти тебя.

Но Абельзон уже не слышал. Когда Захарьев-Овинов наклонился к нему, то мог уловить лишь последнее содрогание отлетавшей жизни. Все было кончено. Исполнился

неизбежный закон природы, хорошо известный розенкрейцерам из «правил» Гермеса-Тота: «Хотеть зла — значит покоряться смерти. Злая воля есть начало самоубийства. Свет есть электрический огонь, предоставленный природой в распоряжение воли; он просвещает и озаряет тех, кто умеет владеть им, и поражает, подобно молнии, тех, кто им злоупотребляет»...

...Исполнив человеческий долг свой — вырыв могилу близ развалин замка и похоронив в ней Абельзона, Захарьев-Овинов запер древним ключом железную дверь, за которою скрылось все таинственное и холодное прошлое его жизни, и поспешил вернуться в Россию, где его ждала новая жизнь.

Чувство глубокой и светлой радости охватило его, когда в дымке ясного морозного утра разглядел он покрытые серебряным инеем деревья старого сада, где провел свое детство. Его встретила жена, бодрая и светлая, встретили дети, встретили самые близкие, дорогие люди — отец Николай со своею счастливой, преображенной Настей. Он очутился в мире любви и счастья — и снова потекла жизнь его, отданная навеки всем, кому он был нужен. А нужен он был многим, и много было в нем сил для всякой помощи ближним...

Годы проходят, люди умирают, имена их забываются. Но дела людей никогда не проходят, не умирают, и плоды добрых дел вечно, вечно питают человечество. Этими плодами живы народы... Никому не приходит на ум, вкушая сочный, душистый плод, утоляющий голод и жажду, допытываться, кто был садовник, кинувший доброе зерно в добрую почву, берегший и холивший первые ростки его и следивший за развитием дерева, плоды которого должны были увидеть лишь последующие поколения. Так и с добрым делом человека. Далеко не всегда, конечно, но часто, гораздо чаще, чем это кажется на первый взгляд, истинные благодетели человечества, сеятели того вечного добра, которым живы народы, остаются неизвестными. Да они и не ищут преходящей земной славы, ибо нет в них гордости.

Герои моего рассказа были такими людьми. Прошли годы — они умерли, имена их забылись. Но дела их живой любви вечно живы... На смену этим забытым людям приходили, приходят и будут приходить новые носители великой тайны счастья. Тайна эта — живая, деятельная любовь, без которой человек, со всеми своими знаниями, силами и

талантами, со всей своей властью и могуществом — ничто...

Мой рассказ кончен, и мне покуда нечего к нему прибавить. Это не сказка. Это, во всяком случае, не более сказка, чем любой роман из современной нам жизни, носящий на себе все признаки повседневной действительности...

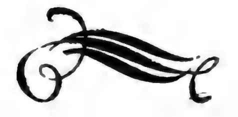
Но пусть даже это и сказка! Я рассказал эту сказку не для любителей «легкого» чтения, помогающего убивать скуку. Я поднял в ней, как мог и как умел, не праздные вопросы. Я вложил в нее сердце и душу. И, несмотря на все свои несовершенства, мой труд не погибнет. Он всегда, среди грубого непонимания или злонамеренного искажения моих мыслей, найдет сердца и души, которые громко откликнутся на призыв мой и поймут меня.

Е. П. Карнович

КАЛИОСТРО В ПЕТЕРБУРГЕ



Исторический очерк



I

Кроме личностей, оказавших более или менее сильное влияние на ход политических событий — если не в целой Европе, то в отдельных ее государствах,— заслуживают внимания со стороны исторической литературы еще и такие личности, которые, не имея политического значения, не только оставили после себя заметные почему-либо следы в каких-нибудь местных летописях, но даже успели приобрести себе громкую известность в разных концах Европы. Подробные исследования о таких личностях интересны преимущественно в том отношении, что при этом обрисовывается до некоторой степени состояние того общества, среди которого являлись эти личности. Так, среди одного общества они имели громадный успех, среди другого они прошли не слишком заметно и, наконец, среди третьего деятельность их должна была прекратиться при первых же своих проявлениях. Такая неодинаковая участь постигала порою как предвестников таких истин, которым готовилось торжество в будущем, так и тех людей, которые впоследствии были признаны наглыми обманщиками, желавшими обратить легковерие общества в свою пользу. Разумеется, что все это обусловливалось весьма много качествами и способностями таких лиц, а также и теми средствами, какие они пускали в ход для распространения своего влияния не только на умы, но — что очень часто было еще важнее для них — и на карманы своих современников. Понятно, что общество, среди которого находили для себя не только радушный, но иногда даже и восторженный прием, а вместе с тем приобретали там и громадные денежные выгоды разные ис-

катели приключений, эмпирики, шарлатаны, духовидцы и другие разного рода обманщики, должно было чем-либо отличаться по своему складу и по господствовавшему в нем направлению от такого общества, в котором, наоборот, подобные личности не возбуждали к себе особенного доверия и не находили для себя легкой наживы.

Было бы, впрочем, не совсем основательно измерять успехи или неуспехи таких предприимчивых личностей только степенью умственного развития того или другого общества, так как удача многих лиц, сделавшихся известными своими похождениями, не зависела исключительно от одного этого, но обусловливалась и всей слишком разнообразной общественной обстановкой, а также и некоторыми особенными случайностями. Нередко бывало, что смелые пройдохи пробивались вперед там, где, по-видимому, достаточная степень умственного развития должна была служить главной помехой для удачи их проделок, и, напротив, они нередко испытывали неудачи там, где — как казалось — слабые задатки просвещения могли бы скорее всего благоприятствовать их успехам. Довольно замечательный пример подобной противоположности представляют похождения самого знаменитого во всей Европе шарлатана — известного под именем графа Калиостро. Нельзя не остановиться на том обстоятельстве, что этот мистик и чародей, изумлявший самую образованную часть публики в Париже и в Лондоне своими необыкновенными, сверхъестественными действиями и находивший себе множество приверженцев в Германии, не встретил в Петербурге ни приема, соответствовавшего его европейской известности, ни широкого применения для своей заманчивой практики. Между тем несомненно, что во второй половине прошлого столетия и Франция, и Англия, и Германия в сравнении с Россией стояли на высшей степени умственного развития. Казалось бы, что господствовавшее тогда у нас еще во всей своей силе суеверие в противоположность безверию, охватившему Францию, и рационализму, постоянно проявлявшемуся в Англии, должно было заранее обеспечить в России успехи Калиостро, действовавшего с такой силой не столько на умы, сколько на воображение. Поэтому, если жизнь его, исполненная и загадочности, и приключений, представляет сама по себе много интересного, то вопрос о его чудодейственной практике собственно в России оказывается вопросом весьма занимательным в истории нашего общества, среди которого явился Калиостро, предшествуемый молвой о творимых им чудесах.

Известно, что в прошедшем столетии Россия была как бы обетованной землей для иностранных авантюристов: здесь многие из них не только приобретали себе почет и богатство, но нередко достигали и самых высших государственных должностей, и вот почему с первого взгляда кажется довольно странным, что такой смелый, ловкий, предприимчивый и, можно даже сказать, такой необыкновенный человек, как Калиостро, успевший изумить две первенствующие европейские столицы, не воспользовался той, во всех отношениях благоприятной обстановкой, какая представлялась для него в тогдашней России. Между тем он сам поездку туда считал как бы завершением всех своих долголетних подвигов и, по собственным его словам, ему, быть может, пришлось бы в Петербурге явиться во всем своем величии и объяснить миру загадочность своего происхождения. По некоторым особым обстоятельствам, не без вероятности, можно заключить, что Калиостро чрезвычайно много рассчитывал на свое пребывание в Петербурге при дворце императрицы Екатерины II, а такие его расчеты, конечно, основывались на каких-нибудь соображениях относительно той среды, в которой пришлось бы ему проявить и свои знания, и свою деятельность. Быть может, Калиостро при поездке своей в Петербург думал о том, чтобы, заручившись благосклонным вниманием императрицы Екатерины II, обратиться в таинственное орудие ее политических планов. Наклонность к деятельности такого рода заметно проявляется в Калиостро, несмотря на всю его шарлатанскую обстановку.

II

Джузеппе Бальзамо, известный впоследствии под разными вымышленными именами, преимущественно же приобретший себе славу под именем графа Калиостро, родился 8 июня 1743 года в Палермо. Родители его, набожные католики, были честные торговцы сукном и шелковыми материями. Они старались сообразно своим средствам дать хорошее образование своему сыну, одаренному быстрым умом и пылким воображением. С этой целью они отдали его в семинарию св. Роха в Палермо. Он, однако, вскоре убежал оттуда, но был пойман, и его поместили в монастырь св. Бенедетто (Бенедикта) около Картаджироне. Здесь он, по склонности к ботанике, поступил на выучку к монастырскому аптекарю и в его лаборатории нашел первые элементы для своего бу-

дущего шарлатанства в качестве медика. За произведенный им соблазн он был наказан отцами-бенедиктинцами, убежал от них и явился в Палермо, где вскоре ознаменовал свое пребывание различными плутовскими проделками, и, между прочим, при пособии одного из родственников — нотариуса, он подделал завещание в пользу маркиза Мориджи. Другой, более ухищренный поступок Бальзамо, и притом соединенный уже с мистицизмом, заключался в том, что он обобрал дочиста золотых дел мастера Марано, которому обещал найти в окрестностях Палермо богатейший клад. Обманув легковерного искателя кладов, Бальзамо уехал в Мессину и там принял фамилию тетки своей — Калиостро, прибавив к этой фамилии графский титул, о котором, однако, впоследствии сам Калиостро говорил, что он не принадлежит ему по рождению, но имеет особое таинственное значение. В Мессине, по рассказам самого Калиостро, он встретился с таинственным армянином Алтотасом, которому и был обязан всеми своими познаниями. По новейшим изысканиям, этот Алтотас был, однако, не кто иной, как Кольмер — лицо, происхождение которого остается неизвестным до сих пор. Кольмер долгое время жил в Египте, где познакомился с чудесами древней магии и с 1771 года стал посвящать других в тайны своего учения. Вместе с алтотасом Калиостро посетил Египет, был в Мемфисе и Каире; из Египта они проехали на остров Родос, откуда снова хотели пуститься в Египет, но противные ветры пригнали их к острову Мальта. В это время великим магистром Мальтийского ордена был Пинто, имевший большую склонность к таинственным наукам. Он предоставил свою лабораторию Алтотасу и его молодому спутнику. Из них первый после своего пребывания на Мальте совершенно исчезает, или, вероятнее, начинает действовать под другим именем, а Калиостро отправляется в Неаполь, снабженный рекомендательным письмом великого магистра, к рыцарю Аквино де-Караманика, жившему в то время в Неаполе. Из Неаполя Калиостро хотел пробраться в Палермо, но побаивался, что с появлением его там поднимется дело о прежних его плутнях. Между тем он свел знакомство с одним сицилийским князем, страстным охотником до химии, и по приглашению князя поехал в его поместье, находившееся около Мессины. После различных проделок с князем-алхимиком в свою пользу Калиостро явился в Неаполь с целью открыть там игорный дом, но заподозренный неаполитанскою полицией перебрался в Рим, где пустился в ханжество, а вместе с тем и влюбился в молодую девушку — Лоренцу Феличиани

(или Феликиани). Кроме любви Калиостро при этой женитьбе руководился и другими соображениями: он имел в виду обратить красавицу Лоренцу в помощницу всех своих корыстных затей. Внушения, делаемые Калиостро молодой женщине в том смысле, что преданная жена не должна для выгод мужа останавливаться даже перед собственным позором, расстроили на первых же порах добрые отношения между ним и его тестем, отцом Лоренцы. В Риме Калиостро сошелся с двумя личностями: с Оттавио Никастро, окончившим потом свою жизнь на виселице, и с маркизом Альято, умевшим подделывать всякие почерки и составившим при помощи этого искусства для Калиостро патент на имя полковника испанской службы, каким чином он впоследствии и именовал себя в бытность свою в Петербурге. Никастро, повздорив с Альято, донес на него, и маркиз поспешил скрыться из Рима, увлекши за собою и Калиостро, и Лоренцу. В Бергамо маркиз, которому угрожал арест, бросив Калиостро, захватил с собой все деньги. Оставшись вследствие этого в самом бедственном положении, молодая чета под видом пилигримов, идущих на поклонение св. Иакову Кампостельскому, отправилась в Антиб, и здесь началась скитальческая жизнь Калиостро и Лоренцы. Достигнув Мадрида и поторговав там прелестями своей жены, Калиостро приехал с ней в Лиссабон, а оттуда в 1772 году пустился прямо в Лондон, но первый приезд Калиостро в столицу Англии был не блестящ; он явился там только в качестве эмпирика, успел посидеть в тюрьме и, выкупленный Лоренцею, перебрался с ней в Париж. С ними туда приехал некто Дюплезир, человек весьма богатый. Калиостро пользовался его кошельком, а, со своей стороны, когда Дюплезир увидел, что он, благодаря своему спутнику, сильно разорился, то убедил Лоренцу бросить мужа. Она действительно бежала от него, но Калиостро успел выхлопотать королевское повеление, в силу которого Лоренца была посажена в крепость Сен-Пелажи, откуда была выпущена 21 декабря 1772 года. В Париже Калиостро до некоторой степени повезло, так как он начал там пользоваться известностью алхимика, заставив многих французов верить, что у него есть и философский камень и жизненный эликсир, т. е. таких два блага, которые могли составить и упрочить земное блаженство каждого человека.

В Париже Калиостро собрал со своих легковерных адептов порядочную деньгу. Но в это время его начали беспокоить успехи Месмера, открывшего животный магнетизм, и Калиостро отправился из Парижа в Брюссель, оттуда пус-

тился странствовать по Германии, вступая в сношения с тамошними масонскими ложами. В Германии Калиостро был посвящен в масоны, и тогда он увидел возможность применить свои знания и опытность к более обширной деятельности. Странствования Калиостро продолжались: из Германии он проехал в Палермо, но был там арестован по делу Марано. Кроме того, там угрожала ему и другая еще беда: хотели поднять затихнувшее дело о подложном завещании в пользу маркиза Мориджи. Калиостро удалось, однако, обмануть бдительность палермской полиции, и вскоре он очутился на острове Мальта, где был принят с большим почетом своим прежним знакомым, великим магистром Пинто. Оставив Мальту, Калиостро перебрался в Неаполь и отсюда собирался ехать в Рим, но, убоявшись бдительности папской инквизиции, пустился в Испанию, где он, впрочем, не имел никакого успеха. Из Испании Калиостро уехал в Лондон, и с этого приезда в столицу Англии началась его громкая слава.

III

Так как главная наша задача заключается не в подробном жизнеописании Калиостро, но в том, чтоб объяснить, почему он, пользовавшийся таким видным и выгодным положением и в Париже, и в Лондоне, обманулся в своих расчетах на Петербург, то для объяснения этого нужно сказать несколько слов, чем обусловливались его необыкновенные успехи в Лондоне и в Париже.

Вступив в орден масонов, Калиостро открыл себе в Лондоне доступ в такие кружки общества, где он не мог бы иметь особого значения как эмпирик, духовидец и алхимик. Было бы неуместно рассказывать здесь всю историю масонства, и потому мы заметим только, что оно не представляет ничего особенного до его преобразования, т. е. до конца XVII и начала XVIII столетия, когда с упадком мистического значения зодчества стали выделяться из правил древнего масонского братства, или каменщиков, правила чисто нравственные с применением их и к политическому строю общества. В таком направлении масонство явилось впервые в Англии, где политическая свобода давала возможность возникать всевозможным обществам и братствам, не навлекая на них преследования со стороны правительства. В Англии масоны были приверженцами Стюартов, почему Калиостро, явившись в Лондон последователем масонства, при

своей решительности, твердости воли и умении обольщать людей мог найти для себя обширный круг адептов. Особенной надобности в шарлатанстве при этом не встречалось, так как вообще английские масоны не гонялись за осуществлением несбыточных вещей; презирали пустые внешние обряды, пышность церемоний, тщеславные титулы и не допускали высоких степеней масонства. По всему этому, образ действий Калиостро среди английских масонов заметно отличается от того, как он поступал среди французских масонов, которые по обстановке своего ордена составляли как бы совершенную противоположность английскому масонству. Применяясь в своих действиях, смотря по надобности, и к обстановке английского, и к обстановке французского масонства, Калиостро был вообще одним из самых усердных и полезных членов этого братства, а его таинственные знания служили ему средством для приобретения себе известности вне масонских кружков, для которых такой человек, как Калиостро, имевший большое влияние на массы, был весьма пригодной находкой. Все денежные средства, которые он мог употребить на свою роскошную жизнь, а отчасти и на дела благотворительные, доставлялись ему масонскими ложами, а между тем богатство Калиостро, почерпавшееся из неведомых никому источников, заставляло многих верить, что он владеет философским камнем.

С целью увеличить свое влияние Калиостро явился в Лондоне основателем египетского масонства, допускавшего применение таинственных сил природы. Впрочем, во время своего второго пребывания в Лондоне Калиостро значительно изменился против прежнего: из пройдохи, искателя приключений он обратился в человека необыкновенного, изумившего вскоре всю Европу. Нельзя, однако, не сказать, что и здесь в нем бьется прежняя его жилка — шарлатанство, но оно уже далеко не мелочное. Из пустого говоруна Калиостро сделался человеком молчаливым, говорил исключительно о своих путешествиях по Востоку, о приобретенных им там глубоких знаниях, открывших перед ним тайны природы, но даже и такие серьезные разговоры он вел не очень охотно. Большей же частью после долгих настояний собеседников объяснить им что-нибудь таинственное или загадочное, Калиостро ограничивался начертанием усвоенной им эмблемы, которая представляла змею, державшую во рту яблоко, что указывало на мудреца, обязанного хранить свои знания в тайне, никому не доступной. В свою очередь изменилась и Лоренца, переименованная в то время Серафимою, она, оставив прежнюю не-

целомудренную жизнь, стала теперь вращаться в среде почтенных квакеров, ведя между ними пропаганду в пользу своего мужа.

Что касается египетского масонства, то Калиостро не был собственно его основателем. Оно до него еще было изложено в рукописи какого-то Джорджа Гостона. Калиостро купил случайно эту рукопись у одного лондонского букиниста и воспользовался ею, хотя и говорил, что мысль о таком масонстве была почерпнута им в папирусах египетских пирамид. Как бы то ни было, но со времени своей вторичной поездки в Лондон Калиостро явился деятельным масоном, понимая ту выгоду, какую он может извлекать из своих познаний, приобретенных им на Востоке, находясь в составе таинственного общества, имевшего ложи во всех частях Европы. От масонства той поры стало веять сильным мистицизмом. Папа Климент XII объявил о нем как о дьявольской секте. Европейские государи, в свою очередь, побаивались козней и скрытной силы масонов. Понятно, что в добавок ко всему этому, такая личность, как Калиостро, сделавшись заметной в подобном обществе, обращала на себя внимание своих многочисленных собратий.

Устроив хорошо дела свои в Лондоне, Калиостро поехал на время в Венецию и там явился он под именем маркиза Пелегрини, но, не поладив с тамошней слишком зоркой полицией, перебрался в среду германских масонов. Из Германии Калиостро, посетив предварительно Вену, проехал в Голштинию, где свиделся с жившим там на покое знаменитым графом Сен-Жерменом. От него он отправился в Курляндию с целью проехать в Петербург. Легко могло быть, что поездку в Россию посоветовал ему граф Сен-Жермен, который, по свидетельству барона Глейхена, был в Петербурге в июне 1762 года и сохранил дружеские отношения к князю Григорию Орлову, называвшему Сен-Жермена «дорогой отец».

IV

Весьма подробные известия о пребывании в Курляндии Калиостро содержатся в книге, напечатанной в 1787 году в Петербурге. Книга эта довольно объемистая под заглавием «Описание пребывания в Митаве известного Калиостро на 1779 год и произведенных им там магических действий» была переведена с немецкого Тимофеем Захарьиным. Оригинал же написан Шарлоттой-Елизаветой-Констанцией фон-дер-Рекке, «урожденной графиней Ме-

демской», родная сестра которой, Доротея, была замужем за Петром Бироном, герцогом курляндским. Так как собственно о пребывании Калиостро в Петербурге имеется немного, да при том и слишком сомнительных сведений, то известия, сообщаемые о Калиостро Шарлоттой фон-дер-Рекке, представляют для нас особый интерес, потому что Митава была прямым его переходом в Петербург. Кроме того, в Митаве Калиостро подготовлялся к тому, чтобы подействовать на Екатерину II.

В столице Курляндии Калиостро нашел хорошую для себя работу: там были и масоны, и алхимики, впрочем, плохие, и люди легковерные, принадлежавшие к высшему тамошнему кругу. Калиостро впоследствии был до того уверен в добром к нему расположении своих курляндских адептов, что в оправдательной своей записке, изданной им в 1786 году, ссылался на них как на свидетелей, готовых показать в его пользу. На первых же порах, в феврале 1779 года, Калиостро встретил самый радушный прием в семействе графов Медемов, где занимались и магией, и алхимией. Тогдашний курляндский обер-бург-граф Ховен считал себя алхимиком, как и майор барон Корф. В Митаве Калиостро выдал себя за испанского полковника, сообщая под рукой тамошним масонам, что он отправлен своими начальниками на север по делам весьма важным и что в Митаве ему поручено явиться к Ховену как к великому мастеру местной масонской ложи. Он говорил, что в основанную им, Калиостро, ложу будут допущены и женщины. Лоренца со своей стороны весьма много способствовала мужу. В Митаве Калиостро явился проповедником строгой нравственности в отношении женщин, неловкость же свою в обществе он объяснял долговременным житьем в Медине и Египте. Он на первый раз не обещал ничего такого, чего бы, по-видимому, не мог сделать. Относительно своих врачебных знаний Калиостро сообщил, что, изучив медицину в Медине, он дал обет странствовать некоторое время по целому свету для пользы человечества и без мзды отдать обратно людям то, что он получил от них. Лечил Калиостро взварами и эссенциями, а своей самоуверенностью придавал больным надежду и бодрость. По мнению его, все болезни происходят от крови.

Но одновременно с этим он, мало-помалу, стал пускаться в таинственность. Так, он обещал Шарлотте фон-дер-Рекке, сначала сильно уверовавшей в него, что она будет иметь наслаждение в беседе с мертвыми, что со временем она будет употреблена для духовных путешествий по планетам,

будет возведена на степень защитницы земного шара, а потом, как испытанная в магии ученица, вознесется еще выше. Калиостро уверял легковерных, что Моисей, Илия и Христос были создателями множества миров и что это же самое в состоянии будут сделать его верные последователи и последовательницы, доставив людям вечное блаженство. Как первый к тому шаг, он заповедовал, что те, которые желают иметь сообщение с духами, должны постоянно противоборствовать всему вещественному.

Но, освоившись несколько с курляндскими немцами и увидев, что и их можно морочить по части магии и алхимии, Калиостро принялся и за это. Так, он своим ученикам высших степеней стал преподавать магические науки и демонологию, избрав объяснительным для того текстом книги Моисея и допуская при этом, по словам Шарлотты фон-дер-Рекке, самые безнравственные толкования. Людей положительных с точки зрения материальных выгод, но в то же время и легковерных Калиостро привлекал к себе обещанием обращать все металлы в золото, увеличивать объем жемчуга и драгоценных камней. Говорил, что может плавить янтарь, как олово, для чего и прописал состав, который, однако, был не что иное, как смесь для курительного порошка, и когда нашлись смельчаки, объявившие об этом Калиостро, то он, не растерявшись нисколько, заявил, что такой выдумкой он хотел только выведать склонности учеников и что теперь, к крайнему своему сожалению, видит, что в них более охоты к торговле, нежели стремления к высшему благу. Вероятность добывания Калиостро золота поддерживалась тем, что он во время своего пребывания не получал ниоткуда денег, не предъявлял банкирам никаких векселей, а между тем жил роскошно и платил щедро не только в сроки, но и вперед, так что вследствие этого исчезла всякая мысль о его корыстных расчетах. Производил же в Митаве Калиостро разные чудеса, между прочим, показывая в графине воды то, что делалось на больших расстояниях, он обещал также открыть в окрестностях Митавы необъятный клад. Заговаривая о предстоящей своей поездке в Петербург, Калиостро входил в роль политического агента, обещая сделать многое в пользу Курляндии у императрицы Екатерины II. Он подзывал с собою в Петербург девицу Рекке, и как отец, так и члены ее семейства в качестве истинных курляндских патриотов старались склонить ее к поездке в Россию. Для самого же Калиостро было небезвыгодно явиться в Петербург в сопровождении девицы одной из лучших курляндских дворянских фамилий и притом по-

ехавшей с ним по желанию ее родителей, пользовавшихся в Курляндии большим почетом. Со своей стороны, девица фон-дер-Рекке — как она сама пишет — соглашалась отправиться в Петербург с Калиостро только тогда, когда императрица Екатерина II сделается защитницей «ложи союза» в своем государстве и «позволит себя посвятить магии», и если она прикажет Шарлотте Рекке приехать в свою столицу и быть там основательницей этой ложи. Но и эту поездку она хотела предпринять не иначе как в сопровождении отца, «надзирателя», брата и сестры.

Вообще расположение курляндцев к Калиостро было так велико, что, по некоторым известиям, они хотели избрать его своим герцогом, вместо Петра Бирона, которым были недовольны. Трудно, впрочем, поверить, чтобы курляндцы в своем увлечении Калиостро дошли до такой степени, тем не менее подобного рода известие намекает на то, что Калиостро вел в Митаве небезуспешно какую-то политическую интригу, развязка которой должна была произойти в Петербурге.

Сочинительница книги, о которой мы упомянули, называет Калиостро обманщиком, «произведшим о себе великое мнение» в Петербурге, Варшаве, Страсбурге и Париже. По рассказам ее, Калиостро говорил худым итальянским языком и ломаным французским, хвалился, что знает по-арабски, но проезжавший в то время через Митаву профессор упсальского университета Норберг, долго живший на Востоке, обнаружил полное неведение Калиостро по части арабского языка. Когда заходила речь о таком предмете, на который Калиостро не мог дать толкового ответа, то он или засыпал своих собеседников нескончаемой, непонятной речью или отделывался коротким уклончивым ответом. Иногда он приходил в бешенство, махал во все стороны шпагой, произнося какие-то заклинания и угрозы, а между тем Лоренца просила присутствующих не приближаться в это время к Калиостро, так как в противном случае им может угрожать страшная опасность от злых духов, окружавших в это время ее мужа.

Не совсем сходный с этим отзыв о Калиостро находится в записках барона Глейхена (Воспоминания Шарля Анри барона Глейхена. Париж. 1868.). «О Калиостро,— пишет Глейхен,— говорили много дурного, я же хочу сказать о нем хорошее. Правда, что его тон, ухватки, манеры обнаруживали в нем шарлатана, преисполненного заносчивости, претензий и наглости, но надобно принять в соображение, что он был итальянец, врач, великий мастер масонской ложи

и профессор тайных наук. Обыкновенно же разговор его был приятный и поучительный, поступки его отличались благотворительностью и благородством, лечение его никому не делало никакого вреда, но, напротив бывали случаи удивительного исцеления. Платы с больных он не брал никогда». Другой современный отзыв о Калиостро, несходный также с отзывом Шарлотты фон-дер-Рекке, был напечатан в «Газетт де Санте». Там, между прочим, заметно, что Калиостро «говорил почти на всех европейских языках с удивительным, всеувлекающим красноречием».

При тогдашних довольно близких сношениях между Митавой и Петербургом пребывание Калиостро в первом из этих городов должно было легче всего подготовить ему известность в последнем. Употребляя все хитрости, для того чтобы девица Рекке поехала с ним, Калиостро говорил ей, что он примет в число своих последовательниц императрицу Екатерину как защитницу масонской ложи, учредительницей которой должна была быть Шарлотта. В Митаве Калиостро в семействе фон-дер-Рекке открылся, что он не испанец, не граф Калиостро, но что он служил великому Кофту под именем Фридриха Гвалдо, и заявлял при этом, что должен таить свое настоящее звание, но что, быть может, он сложит в Петербурге непринадлежащее ему имя и явится во всем величии. При этом он намекал, что право свое на графский титул он основывал не на породе, но что титул этот имеет таинственное значение. Все это делал он, как замечает девица Рекке, для того, что если бы в Петербурге обнаружилось его самозванство, то это не произвело бы в Митаве никакого впечатления, так как он заранее предупреждал, что скрывает настоящие свои звание и имя.

V

Отправляясь из Митавы в Петербург, Калиостро как проповедник, в качестве масона, филантропо-политических доктрин, мог, по-видимому, рассчитывать на благосклонный прием со стороны императрицы Екатерины II, успевшей составить себе в образованной Европе известность смелой мыслительницы и либеральной государыни. Как врач, эмпирик и алхимик, обладатель и философского камня и жизненного эликсира, Калиостро мог рассчитывать на то, что в высшем петербургском кругу у него найдется и пациентов и адептов не менее, чем было и тех и других в Париже или в Лондоне. Наконец, как маг, кудесник и чародей, он, каза-

лось, скорее всего мог найти для себя поклонников и поклонниц в громадных невежественных массах русского населения. Наконец, ограничиваясь только деятельностью масона, Калиостро мог предполагать, что он встретит в Петербурге много сочувствующих ему лиц.

Из исследования покойного Лонгинова «Новиков и мартинисты» видно, что масонство введено было в Россию Петром Великим, который, как рассказывают, основал в Кронштадте масонскую ложу и имя которого пользовалось у масонов большим почетом. Положительное же свидетельство о существовании у нас, в России, масонов относится к 1738 году. В 1751 году их немало уже было в Петербурге. В Москве они появились в 1760 году. Из столиц масонство распространилось в провинции, и масонские ложи были заведены в Казани, а с 1779 года в Ярославле. Учредителем тамошней ложи был известный екатерининский сановник Алексей Петрович Мельгунов. Петербургские масоны горели желанием быть посвященными в высшие степени масонства, и потому надобно было полагать, что появление среди них такого человека, каким был Калиостро, не останется без сильного влияния на русское масонство.

При таких условиях явился в Петербург Калиостро в сопровождении Лоренцы. Здесь он главным образом метил на то, чтоб обратить на себя внимание самой императрицы; но, как видно из писем Екатерины к Циммерману, он не успел не только побеседовать, но даже и видеться с ней. Шарлотта Рекке, которая, как надобно предполагать, весьма старательно следила за поездкой Калиостро в Петербург, пишет: «О Калиострове пребывании в Петербурге я ничего верного сказать не знаю. По слуху же, однако, известно, что хотя он там разными чудесными выдумками мог на несколько времени обмануть некоторых особ, но в главном своем намерении ошибся». В предисловии же к книге Шарлотты Рекке говорится: «Всякому известно, сколь великое мнение произвел о себе во многих людях обманщик сей в Петербурге». В сделанной же при этом неизвестно кем сноске,— по всей, однако вероятности переводчиком,— добавляется: «Между тем не удалось Калиостро исполнить в Петербурге своего главного намерения, а именно уверить Екатерину Великую о истине искусства своего. Сия несравненная государыня тотчас проникла обман. А то, что в так называемых записках Калиостровых («Мемуары Калиостро») упоминается о его делах в Петербурге, не имеет никакого основания. Ежели нужно на это доказательство, что Екатерина Великая, явная неприятельница всякой сумасбродной меч-

ты, то могут в том уверить две искусным ее пером написанные комедии: «Обманщик» и «Обольщенный». В первой выводится на театре Калиостро под именем Калифалкжерстона. Новое тиснение сих двух по сочинительнице и по содержанию славных комедий сделает их еще известнее в Германии».

Далее в «Введении» к той же книге, когда в помещенном в нем письме из Страсбурга к сочинительнице «Описания» упоминается, что Калиостро разглашает о своем знакомстве с императрицей Екатериной II, сделана также сноска, в которой говорится следующее: «у сей великой Монархини, которую Калиостро столь жестоко желалось обмануть, намерение его осталось втуне. А что в рассуждении сего писано в записках Калиостровых, все это вымышлено и таким-то образом одно из главнейших его предприятий, для коих он своих старейшин отправлен, ему не удалось; от этого-то, может быть, он принужден был и в Варшаве в деньгах терпеть недостаток, и разными обманами для своего содержания доставать деньги».

Из других сведений, заимствуемых из иностранных сочинений о Калиостро, оказывается, что он явился в Петербург под именем графа Феникса. Могущественный в то время князь Потемкин вследствие распространенной молвы о Калиостро оказал ему особое внимание, а со своей стороны Калиостро успел до некоторой степени отуманить князя своими рассказами и возбудить в нем любопытство к тайнам алхимии и магии. По словам г-на Хотинского («Очерки чародейства». С.-Петербург, 1866 г.), «обаяние этого рода продолжалось недолго, так как направление того времени было самое скептическое, и потому,— говорит Хотинский,— мистические и спиритические идеи не могли иметь большого хода между петербургской знатью. Роль магика оказалась неблагодарною, и Калиостро решился ограничить свое чародейство одними только исцелениями, но исцелениями, чудесность и таинственность которых должны были возбудить изумление и говор».

С замечанием г-на Хотинского о неблагоприятном для Калиостро умственном настроении тогдашней петербургской знати согласиться вполне нельзя. Сильных умов среди нее почти не было, да при том один из самых заметных в этом отношении людей той поры статс-секретарь императрицы Елагин явился ревностным сторонником Калиостро, который, по словам г-на Лонгинова, кажется даже и жил в доме Елагина. Скептицизм же тогдашнего петербургского общества был напускной, и, по всей вероятности, он скоро

исчез, если бы Калиостро удалось подолее пожить в Петербурге, пользуясь вниманием императрицы. Нельзя не принять в соображение, что скептицизм гораздо сильнее господствовал в Париже, но и там он не мешал громадным успехам Калиостро, и, без всякого сомнения, неудачи Калиостро в Петербурге зависели от других, более влиятельных причин.

Калиостро не явился в Петербург и шарлатаном-врачом, наподобие других заезжих туда иностранцев, промышлявших медицинской профессией и печатавших о себе самые громкие рекламы в «С.-Петербургских Ведомостях». Так, во время пребывания его в нашей столице жившие в Большой Морской у его сиятельства графа Остермана братья Пелье, «французские глазные лекари», объявили, что они «искусство свое ежедневно подтверждают, возвращая зрение множеству слепых». Они рекомендовали петербургским жителям предохранительные от глазных болезней капли, которые «тако же вполне приличны особам, в письменных делах и мелких работах упражняющимся». В то же время прибывший в Петербург из Парижа зубной врач Шоберт, объявляя о чудесных средствах к излечению зубов от разных болезней, а, между прочим, и «от удара воздуха», таким подходом старался распространить свои рекламы. Он писал: «господин Шоберт в заключение ласкает себя надеждой, что податливые и о бедных соболезнующие особы, читая сие уведомление, благоволят споспешенствовать его намерениям (т. е. оказывать больным помощь безвозмездно), сообщая сие уведомление своим знакомым, дабы через то привесть бедным в способность пользоваться оным». Калиостро не нисходил до таких реклам, хотя и, как видно из других источников, он не только лечил бедных безвозмездно, но даже и оказывал им с своей стороны денежное пособие. Вообще от Калиостро не было в Петербурге никаких частных объявлений, и он, без сомнения, держал себя врачом высокого полета, считая унизительным для своего достоинства прибегать к газетным объявлениям и рекламам.

Между тем время для этого было благоприятное. В ту пору верили в возможность самых невероятных открытий по части всевозможных исцелений. Так, во время бытности Калиостро в Петербурге в существовавшем тогда в «С.-Петербургских Ведомостях» отделе «Разные известия» сообщалось, что «славный дамский парижский портной, именуемый Дофемон, выдумал делать корпусы (корсеты) для женских платьев отменно выгодные и нашел средство

уничтожать горбы у людей, а парижская академия наук, медицинский факультет, хирургическая академия и общество портных в Париже одобрили сие новое изобретение».

По рассказу г-на Хотинского, Калиостро не долго ждал случая показать «самый разительный пример своего трансцедентного искусства и дьявольского нахальства и смелости».

У князя Г., знатного барина двора Екатерины II, опасно заболел единственный сын, младенец еще грудной, имевший около 10 месяцев. Все лучшие тогдашние петербургские врачи признали этого ребенка безнадежным. Родители были в отчаянии, как вдруг кому-то пришло на мысль посоветовать им, чтоб они обратились к Калиостро, о котором тогда начинали рассказывать в Петербурге разные чудеса. Калиостро был приглашен и объявил князю и княгине, что берется вылечить умирающего младенца, но с тем непременным условием, чтобы дитя было отвезено к нему на квартиру и предоставлено в полное и безотчетное его распоряжение, так, чтобы никто посторонний не мог навещать его и чтобы даже сами родители отказались от свидания с больным сыном до его выздоровления. Как ни тяжелы были эти условия, но крайность заставила согласиться на них, и ребенка, едва живого, отвезли в квартиру Калиостро. На посылаемые о больном ребенке справки Калиостро в течение двух недель отвечал постоянно, что ребенку делается день ото дня все лучше и, наконец, объявил, что так как сильная опасность миновала, то князь может взглянуть на малютку, лежавшего еще в постели. Свидание продолжалось не более двух минут, радости князя не было пределов, и он — как передает Хотинский на основании некоторых рукописных сведений того времени — предложил Калиостро тысячу империалов золотом. Калиостро отказался наотрез от такого подарка, объявив, что он лечит безвозмездно, из одного только человеколюбия.

Затем Калиостро потребовал от князя взамен всякого вознаграждения только строгого исполнения прежнего условия, т. е. непосещения ребенка никем из посторонних, уверяя, что всякий взгляд, брошенный на него другим лицом, исключая лишь тех, которые ходят теперь за ним, причиняет ему вред и замедляет выздоровление. Князь согласился на это, и весть об изумительном искусстве Калиостро как врача быстро разнеслась по всему Петербургу. Имя графа Феникса было у всех на языке, и больные из числа самых знатных и богатых жителей столицы начали обращаться к нему, а он своими бескорыстными поступками с

больными успел снискать себе уважение в высших классах петербургского общества.

Ребенок оставался у Калиостро более месяца, и только в последнее время отцу и матери было дозволено видеть его сперва мельком, потом подолее и, наконец, без всяких ограничений. Наконец, он был возвращен родителям совершенно здоровый. Готовность князя отблагодарить Калиостро самым щедрым образом увеличилась еще против прежнего. Теперь он предложил ему уже не тысячу, но, как тогда говорили, пять тысяч империалов. Долго, но постепенно все слабее и слабее, отказывался Калиостро от этой весьма значительной суммы. Князь, с своей стороны, замечал графу, что если он не хочет принять денег собственно для себя, то может взять их для того, чтобы употребить по своему усмотрению для благотворительных целей. Калиостро отказывался от этого любезного предложения, и тогда князь Г. оставил эту сумму в его квартире, как будто по забывчивости, а Калиостро, с своей стороны, не возвратил ему ее.

Прошло несколько дней после отдачи родителям их ребенка, как вдруг в душу его матери запало страшное подозрение: ей показалось, что ребенок был подменен. Г-н Хотинский, который, как мы заметили, имел по этому делу какую-то секретную рукопись, замечает: «Конечно, подозрение это имело довольно шаткие основания, но тем не менее оно существовало, и слух об этом распространился при дворе; он возбудил в очень многих прежнее недоверие к странному выходцу».

В книге, составленной будто бы по рукописи камердинера Калиостро, сын знатного петербургского вельможи заменен двухлетнею дочерью, которую будто бы Калиостро действительно подменил чужим ребенком, и весь Петербург заговорил об этом. Когда же началось по поводу этого говора следствие, то Калиостро не отпирался от сделанного им подмена, заявляя, что, так как отданный ему на излечение ребенок действительно умер, то он решился на обман для того только, чтобы хотя на некоторое время замедлить отчаяние матери. Когда же его спросили, что он сделал с трупом умершего ребенка, то Калиостро отвечал, что, желая сделать опыт возрождения (палингенезиса), он сжег его.

В заключение рассказа о пребывании Калиостро в Петербурге г-н Хотинский говорит, что Калиостро, не будучи ревнивым к Лоренце, заметив, что князь Потемкин теряет прежнее к нему доверие, вздумал действовать на князя посредством красавицы-жены. Потемкин сблизился с нею, но на такое сближение посмотрели очень неблагосклонно

свыше, а к тому времени подоспела история о подмене младенца. Тогда графу Фениксу и его жене приказано было немедленно выехать из Петербурга, причем он был снабжен на путевые издержки довольно крупной суммой.

VI

В небольшой книжке, изданной в 1855 г. в Париже под заглавием «Приключения Калиостро», встречается несколько более подробных сведений о пребывании Калиостро в Петербурге. Так, там рассказывается, что при приезде в Петербург Калиостро заметил, что известность его в России вовсе не была так громка, как он полагал прежде, и он, как человек чрезвычайно сметливый, понял, что при подобном условии ему невыгодно было выставлять себя напоказ с первого же раза. Он повел себя чрезвычайно скромно, без всякого шума, выдавая себя не за чудотворца, не за пророка, а только за медика и химика. Жизнь он вел уединенную, а между тем это самое еще более обращало на него внимание в Петербурге, где известные почему-либо иностранцы являлись постоянно на первом плане не только в высшем обществе, но и при дворе. В то же время он распускал слух о чудесных исцелениях, совершенных им в Германии никому еще не известными способами, и вскоре в Петербурге заговорили о нем как о необыкновенном враче. Со своей стороны, и красавица Лоренца успела привлечь к себе мужскую половину петербургской знати и, пользуясь этим, рассказывала удивительные вещи о своем муже, а также об его почти четырехтысячелетнем существовании на земле.

В книге, составленной по рукописи камердинера, упоминается и о другом еще способе, пущенном Калиостро в Петербурге в ход для наживы денег. Красивая и молодая Лоренца говорила посетительницам графа, что ей более сорока лет и что старший ее сын уже давно находится капитаном в голландской службе. Когда же русские дамы изумлялись необыкновенной моложавости прекрасной графини, то она замечала, что против действия старости изобретено ее мужем верное средство, и не желавшие стариться барыни спешили покупать за громадные деньги склянки чудодейственной воды, продаваемой Калиостро.

Многие, если и не верили ни в это средство, ни в жизненный эликсир Калиостро, зато верили в умение его превращать всякий металл в золото, а и это одно искусство

должно было доставлять ему в Петербурге немало адептов, в числе которых, как оказывается, был и статс-секретарь Елагин. В отношении петербургских врачей Калиостро действовал весьма политично, он отказывался лечить являвшихся к нему разных лиц, ссылаясь на то, что им не нужна помощь, так как в Петербурге и без него находятся знаменитые врачи. Но такие, по-видимому, слишком добросовестные отказы еще более усиливали настойчивость являвшихся к Калиостро пациентов. Кроме того, на первых порах он не только отказывался от всякого вознаграждения, но даже сам помогал деньгами бедным больным.

Затем в названной выше книжке «Приключения Калиостро» рассказывается весьма подробно о любовных похождениях князя Потемкина с женой Калиостро и к этому добавляется, что такие похождения были причиной быстрой высылки Калиостро из Петербурга. О подмене ребенка упоминается также и в этой книжке, причем Г. заменен графом***. О такой подмене стала ходить молва в Петербурге, и императрица Екатерина II тотчас воспользовалась ею для того, чтобы побудить Калиостро к безотлагательному отъезду из Петербурга, тогда как настоящим к тому поводом была будто бы любовь Потемкина к Лоренце.

Надобно, впрочем, предполагать, что неудаче Калиостро содействовали главным образом другие причины.

Одно то обстоятельство, что Калиостро явился в Петербург не просто врачом или алхимиком, но вместе с тем и таинственным политическим деятелем, как глава новой масонской ложи, должно было предвещать ему, что он ошибется в своих смелых расчетах. В то время императрица Екатерина II не слишком благосклонно посматривала на тайные общества, и приезд такой личности, как Калиостро, не мог не увеличить ее подозрений. Во время приезда Калиостро в Петербург масонство было здесь в сильном развитии, и он с первого же раза нашел себе самый радушный прием в доме статс-секретаря императрицы А. П. Елагина.

В одной, ныне весьма редкой книжке, «Тайные истории России», нам встретились касательно отношения Калиостро к Елагину довольно подробные сведения. Из этого источника, за достоверность которого, конечно, никак нельзя ручаться, мы узнаем, что, познакомившись с Елагиным, Калиостро сообщил ему о возможности делать золото. Несмотря на то, что Елагин был одним из самых образованных русских людей того времени, он поверил выдумке Калиостро, который обещал научить Елагина этому искусству в короткое время и при небольших издержках. Елагин поддался

выдумке Калиостро, но один из его секретарей — фамилия его не упоминается,— человек чрезвычайно умный и сведущий, обнаружил плутни алхимика. «Достаточно раз побеседовать с графом Фениксом,— говорил секретарь Елагину,— для полного убеждения в том, что он наглый шарлатан». Елагин продолжал, однако, доверяться Калиостро, который, пользуясь этим, успел уже обобрать его на несколько тысяч рублей. Однажды Калиостро приехал обедать к Елагину, последнего не было дома, и потому он в ожидании Елагина принялся болтать с бывшим в столовой секретарем. Разговор Калиостро был очень занимателен, но с явными ошибками и по истории, и по географии. Собеседник Калиостро, заметив это, попросил прекратить вздорную болтовню, но расходившийся рассказчик не унимался. Тогда секретарь, взбешенный тем, что его так нагло дурачат, дал Калиостро пощечину и вышел из столовой. Дождавшись приезда Елагина, Калиостро пожаловался ему, и вследствие этого начальник сделал строгий выговор своему подчиненному. Тогда этот последний стал пускать в ход по Петербургу рассказы о шарлатанских проделках Калиостро в разных местах и тем самым сильно подорвал его кредит в петербургском обществе, в котором Калиостро нашел кроме Елагина и других легковерных людей, а в числе их был и граф Александр Сергеевич Строганов, один из самых видных вельмож екатерининского двора.

Чрезвычайно неблагоприятно на положение Калиостро в Петербурге подействовало также напечатанное в русских газетах тогдашним испанским резидентом Нормандецом заявление, что никакой граф Феникс в испанской службе полковником никогда не состоял. Этим официальным объявлением было обнаружено его самозванство и фальшивость патента, составленного для него маркизом Альято.

Рассказ об этом, встречающийся в разных сочинениях о Калиостро, не подтверждается нашими розысканиями. В единственной в то время русской газете — в «С.-Петербургских Ведомостях» — никакого объявления со стороны дона Нормандеца не встречается, и, по всей вероятности, рассказ этот выдуман уже после отъезда Калиостро из Петербурга, куда молва об его самозванстве дошла до Митавы. Подтверждением тому служит следующий факт. По существовавшим в то время правилам, отмененным не далее как только лет пятнадцать тому назад, каждый уезжавший из России за границу должен был три раза публиковать в «С.-Петербургских Ведомостях» о своем отъезде, и вот в «Прибавлениях» к 79 номеру этих «Ведомостей», вышедше-

му 1 октября, между двумя извещениями об отъезде за границу: одним — мясника Иоганна Готлиба Бунта и другим — башмачника Габриеля Шмита — показан отъезжающим «г-н граф Каллиострос, гишпанский полковник, живущий на дворцовой набережной в доме г-на генерал-поручика Виллера». Очевидно, однако, что он не мог бы присваивать себе этот чин, если бы о самозванстве его было уже заявлено испанским посланником в Петербурге. Найденное нами объявление, повторяющееся в 80 и 81 номерах «Прибавлений», опровергает также рассказ о том, будто Калиостро жил в Петербурге под именем графа Феникса и будто бы он был выслан оттуда внезапно по особому распоряжению императрицы, между тем как он выехал оттуда в общем порядке, хотя, быть может, и не без некоторого понуждения. Судя по времени отъезда Калиостро из Митавы и первой публикации об его отъезде из России, надобно придти к тому заключению, что Калиостро прожил в Петербурге около 9-ти месяцев. В продолжение этого времени испанский посланник, находившийся в Петербурге, мог затребовать и получить нужные ему о Калиостро сведения. В ту пору известия из Мадрида шли в Петербург около полутора месяца, как это видно из печатавшихся в «С.-Петербургских Ведомостях» политических известий. Но дело в том, что никакого объявления со стороны Нормандеца против Калиостро в русских газетах не встречается.

Другие обстоятельства не были также в пользу дальнейшего пребывания Калиостро в Петербурге. Независимо от того, что он, как масон, не мог встретить благосклонного приема со стороны императрицы, она должна была не слишком доверчиво относиться к нему и как к последователю графа Сен-Жермена, который, как мы заметили, находился в Петербурге в 1762 году и которого Екатерина считала шарлатаном.

Не достигнув блестящих успехов в высшем петербургском кругу как масон, врач и алхимик, Калиостро не мог уже рассчитывать на внимание к нему толпы в Петербурге, подобно тому, как это было в многолюдных городах Западной Европы. Для русского простонародья Калиостро как знахарь и колдун должен был казаться неподходящим. Он, по отзывам современников, отличался прекрасной и величественной наружностью. По словам барона Глейхена, Калиостро был небольшого роста, но имел такую наружность, что она могла служить образцом для изображения личности вдохновенного поэта. В тогдашней «Газетт де Санте» писали, что фигура Калиостро носит на себе отпечаток

не только ума, но даже гения. Одевался Калиостро пышно и странно и большей частью носил восточный костюм. В важных случаях он являлся в одежде великого Кофта, которая состояла из длинного шелкового платья, схожего по покрою с священнической рясой, вышитого от плеч и до пяток иероглифами красного цвета. При такой одежде он надевал на голову убор из сложенных египетских повязок, концы которых падали вниз. Повязки эти были из золотой парчи и на голове придерживались цветочным венком, осыпанным драгоценными камнями. По груди через плечо шла лента изумрудного цвета с нашитыми на ней буквами и изображениями жуков. На поясе, сотканном из красного шелка, висел широкий рыцарский меч, рукоять которого имела форму креста. В своих пышных нарядах и при своей величавой внешности Калиостро должен был казаться простому русскому люду скорее всего важным барином-генералом, но никак не колдуном. Известно также, что наш народ всегда предпочитал, да и теперь еще предпочитает в качестве колдуна «ледащего мужичонку», и чем более он бывает неказист и неряшлив, тем более может рассчитывать на общее к нему доверие. Притом для приобретения славы знахаря необходимо было уметь говорить с русским человеком особым складом, чего, конечно, не в состоянии был сделать Калиостро, несмотря на всю свою чудодейственную силу.

Как заморский врач Калиостро в Петербурге мог найти для себя весьма ограниченную практику, и опасным для него соперником был даже знаменитый около того времени Ерофеич, с успехом лечивший не только простолюдинов, но и екатерининских царедворцев и тоже открывший своего рода жизненный эликсир и доныне удержавший за собой прозвище изобретателя.

Несмотря на все свое старание избежать столкновения с петербургскими врачами, Калиостро все-таки подвергся преследованию с их стороны. Барон Глейхен рассказывает, что придворный врач великого князя Павла Петровича вызвал Калиостро на дуэль. «Так как вызванный на поединок имеет право выбрать оружие,— сказал Калиостро,— и так как теперь дело идет о превосходстве противников по части медицины, то я вместо оружия предлагаю яд. Каждый из нас даст друг другу по пилюле, и тот из нас, у кого окажется лучшее противоядие, будет считаться победителем». К сожалению, барон Глейхен не говорит ничего о развязке такого оригинального поединка.

В другом рассказе о жизни Калиостро повествуется, что

перед самым выездом его из Петербурга знаменитый врач императрицы англичанин Роджерсон окончил записку, которую он был намерен пустить в печать и в которой обнаруживал начисто все невежество «великого химика» и все наглые его обманы.

Кроме тех причин, скорее всего политического, а не романтического свойства, вследствие которых Калиостро не счел удобным оставаться долго в Петербурге, можно привести и следующую еще причину. Опасным противником его врачебного шарлатанства был Месмер, который сильно подрывал его прежние успехи. Между тем оказывается, что сведения о месмеризме — этой новой чудодейственной силе — стали проникать в Петербург именно в то время, когда находился здесь Калиостро. Так, в ту пору в «С.-Петербургских Ведомостях» рассказывалось «о чудных целениях, производимых посредством магнита славным врачом господином Месмером». «А ныне,— прибавлялось в «Ведомостях»,— другой врач, женевский доктор в медицине Гарею, упражняясь особо в изысканиях разных действий магнита, издает о том книгу». При том увлечении магнетизмом, какое обнаруживалось на первых порах его появления, при безграничном веровании в его таинственную и целительную силу эликсир Калиостро и его магия могли казаться пустяками, не выдерживающими никакого сравнения с новой, открытой Месмером сверхъестественной силой. Калиостро мог предвидеть, что при таких неблагоприятных для него условиях, он не будет иметь в Петербурге успеха, почему и предпочел выехать поскорее оттуда, чтобы не загубить вконец своей прежней репутации.

VII

Вынужденный наскоро выехать из России, Калиостро не успел побывать в Москве; но, по всей вероятности, он и там не встретил бы особенного успеха. Так надобно полагать потому, что московские масоны оставались совершенно равнодушными к приезду Калиостро в Россию. Событие это не прошло, однако, без неблагоприятного влияния на русское масонство, так как Калиостро вселил в Екатерину II еще большее нерасположение к масонам. В 1780 году императрица напечатала книжку под заглавием: «Тайна противонелепого общества». Книга эта для мистификации значилась изданной в Кельне в 1750 году; в ней было осмеяно

вообще масонство и его тайны. С целью же изгладить окончательно те зловредные следы масонства, которые, по мнению Екатерины II, мог оставить после себя Калиостро в русском обществе, она написала комедию под заглавием «Обманщик», которая была представлена в эрмитажном театре в первый раз 4 января 1786 года. В ней выведены нелепость и вред стремления к духовидению, к толкованию необъяснимого, к герметическим опытам и т. д. В этой комедии в лице Калифалкжерстона был выведен Калиостро, затеи которого были приурочены к учению мартинистов, названных в комедии «мартышками». С той же самой целью была в том же году написана императрицей и другая комедия под названием «Обольщенный». Обе эти комедии были переведены на немецкий язык.

Из Петербурга, проехав тайком через Митаву, Калиостро явился в Варшаве, а отсюда через Германию направился в Страсбург. Здесь он сумел приобрести себе расположение со стороны католического духовенства — и дела его пошли великолепно: жил он роскошно и здесь же познакомился с кардиналом Луи Роганом, тогдашним страсбургским епископом, сделавшимся впоследствии столь известным по так называемой «истории с ожерельем». Прожив довольно долго в Страсбурге, Калиостро побывал потом в Лионе и Бордо и, наконец, очутился в Париже, где слава Калиостро как алхимика, врача и прорицателя возрастала все более и более. Лоренца тоже, и притом с большим успехом, начала подражать занятиям своего мужа, открыла магические сеансы для дам, а Калиостро публично объявил об учреждении им в Париже ложи египетского масонства. Число мастеров ложи ограничивалось тринадцатью, а поступление в это звание было трудновато, так как кроме полной веры в главу ложи от поступающих в нее требовалось иметь видное положение в обществе, пользоваться безукоризненной репутацией, получать по крайней мере 50.000 ливров годового дохода и не быть стесненным никакими семейными и общественными отношениями. Все это сделало ложу египетского масонства чрезвычайно привлекательной для людей богатых и знатных и доставило Калиостро самую сильную поддержку в парижском обществе.

Среди таких успехов Калиостро разыгралась упомянутая и слишком хорошо известная история с ожерельем. Калиостро и жена его были замешаны в эту историю, но суд оправдал их, что и подало повод к шумным манифестациям, быть может, не столько из расположения к самому Калиостро, сколько из ненависти ко двору, для которого эта

скандальная история была жестоким ударом. Тем не менее Калиостро стал подумывать об отъезде из Франции и через Булонь уехал в Англию. Здесь в 1787 году он напечатал свое знаменитое послание к французскому народу, враждебное королевской власти, предсказывая в нем довольно ясно грядущую революцию и предстоящее разрушение ненавистной ему Бастилии. Но в Лондоне счастье ненадолго улыбнулось Калиостро. Бойкий журналист Моранд, с которым он вступил в полемику, разоблачил всю его прошлую жизнь. Тогда прежнее обаяние его исчезло, а вместе с тем явились кредиторы, и Калиостро стало так плохо в Лондоне, что он счел нужным убежать в Голландию; отсюда перебрался сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Ему, однако, помнилась его некогда блестящая жизнь в Париже, но попытка вернуться во Францию ему не удалась. Он поехал в Рим и, по убеждению Лоренцы, жил там некоторое время спокойно; но мало-помалу он вошел в сношения с римскими масонами и успел даже учредить в папской столице ложу египетского масонства. Один из его адептов донес на него, за ним стали следить внимательно и вскоре открыли его переписку с якобинцами, почему он в сентябре 1789 года был заключен в крепость св. Ангела. Римская инквизиция собрала самые подробные сведения об его жизни, и Калиостро 21-го марта 1791 года был под настоящим своим именем, Джузеппе Бальзамо, приговорен к смертной казни — как еретик, ересеначальник, маг-обманщик и франкмасон. Но папа Пий VI заменил смертную казнь вечным заточением в крепости св. Ангела, где Калиостро и умер спустя два года после произнесения над ним этого приговора.

(Печатается по изданию Е. П. Карнович «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий». Издание А. С. Суворина, С.-Петербург, 1884 г.)

Один из первых масонов в России, граф Н. Н. Головин. В 1747 году по возвращении из Германии был вынужден давать объяснения по своим связям с зарубежными масонами.



Граф З. Г. Чернышев. В середине XVIII века русская знать видела в масонстве большей частью лишь модную заграничную забаву.





Граф И. Г. Чернышев. Увлекся масонством в одно время с братом.





Масонские кресты из собрания П. И. Щукина.

И. П. Елагин. Стал масоном в 1750 г. Основатель так называемой Елагинской системы. Провинциальный Великий Мастер всех и для всех русских.



Граф Калиостро.



Лоренца, жена Калиостро.

Франкмасонское собрание для принятия Мастера. Вступающий лежит на ковре, на котором изображен гроб. Его лицо покрыто окрашенным кровью полотенцем. Все присутствующие приставляют к его телу шпаги. (Франц. грав. XVIII в.)







Масонские печати дворянина Симбирской губ. И. П. Тургенева (масоном стал в 1776 г.).



Павел I, Великий Магистр Державного ордена Иоанна Иерусалимского.

Масонские символические принадлежности.

Содержание

Магия и любовь

Сборник

Издательско-торговая фирма «Т-Око».

125130, Москва, ул. Зои и Ал. Космодемьянских, д. 19. Телефон для контактов 450-22-46.

«Информреклама «Центросоюза».

125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 46.

Подписано в печать 21.12.92. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Объем 8,5 п. л. Тираж 50 тыс. экз. Изд. № 51. Печать офсетная, бумага офсетная. Заказ № 309. Цена договорная.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

Издательско-торговая фирма «Т Око»
подготовила и выпустила в свет
в 1991—1992 гг:

Серия «Исторические портреты»

Сборник «История династии Романовых».
М. Евгеньева «Департамент фаворитов».

Серия «Аномалия»

М. Дмитрук «Как дожить до третьего тысячелетия».
Т. и А. Саргунас «Аква. Беседы с Игорем Чарковским. Рассказы о родах в воде».
Е. Блаватская «Тайная доктрина».
В. Ильин «Механика Ньютона — основа единой физики».

Серия «Детектив»

А. Кристи «Смерть в «странном доме».

Серия «Духовно-просветительная литература»

Сборник «Воскресная школа. Наставление в Законе Божием». В 3-х частях.
И. Кронштадтский «Великий пост».
«Земная жизнь Царицы Небесной».
В. Никифоров-Волгин «Дорожный посох».

Справочная литература

Справочник «Интербизнес-91».
«Как читать финансовый отчет западной компании».
Сборник документов «Как приватизировать государственное и муниципальное предприятие».




МАГИЯ И ЛЮБОВЬ